АЗБУКА ВЕРЫ

Лондон Джек

Время-не-ждет

Художественная литература · azbyka.ru

Время-не-ждет – электронная книга православного портала «Азбука веры».

Читайте эту и тысячи других книг бесплатно: azbyka.ru/fiction/vremya-ne-zhdet

«Азбука веры» – некоммерческий просветительский проект. Мы бесплатно открываем людям сокровищницу православной веры и лучшие книги русской и мировой литературы. Если книга оказалась для вас полезной, поддержите портал: azbyka.ru/kak-pomoch

Время-не-ждет

Лондон Джек

Человек наделен способностью рассуждать, поэтому он смотрит вперед и назад.

Часть первая

Глава первая

Скучно было в тот вечер в салуне Тиволи. У длинной стойки, тянувшейся вдоль бревенчатой стены просторного помещения, сидело всего пять-шесть посетителей; двое из них спорили о том, какое средство вернее предохраняет от цинги: настой хвои или лимонный сок. Спорили они нехотя, лениво цедя слова. Остальные едва слушали их. У противоположной стены выстроился ряд столов для азартных игр. Никто не бросал кости. За карточным столом одинокий игрок сам с собой играл в «фараон». Колесо рулетки даже не вертелось, а хозяин ее стоял возле громко гудящей, докрасна раскаленной печки и разговаривал с черноглазой миловидной женщиной, известной от Джуно до Форт-Юкона под прозвищем Мадонна. За одним из столиков шла вялая партия в покер — играли втроем, по маленькой, и никто не толпился вокруг и не следил за игрой. В соседней комнате, отведенной для танцев, под рояль и скрипку уныло вальсировали три пары.

Приисковый поселок Серкл не обезлюдел, и денег у его жителей было вволю. Здесь собрались золотоискатели, проработавшие лето на Лосиной реке и других месторождениях к западу от Серкла; они вернулись с богатой добычей — кожаные мешочки, висевшие у них на поясе, были полны самородков и золотого песку. Месторождения на Клондайке еще не были открыты, и старатели Юкона еще не знали способа глубоких разработок и не умели прогревать промерзлую землю при помощи костров. Поэтому с наступлением морозов все прекращали поиски, уходили на зимовку в такие крупные поселки, как Серкл, и там пережидали долгую полярную ночь. Делать им было нечего, денег — девать некуда, а развлечений никаких, кроме кабаков и трактиров. Но в тот вечер салун Тиволи почти пустовал, и Мадонна, гревшаяся у печки, зевнула, не прикрывая рта, а потом сказала стоявшему рядом с ней Чарли Бэйтсу:

— Если здесь веселей не станет, я лучше спать пойду. Что случилось? Весь город вымер, что ли?

Бэйтс даже не ответил и молча продолжал скручивать цигарку. Дэн Макдональд, один из первых кабатчиков и содержателей игорных домов на Юконе, владелец Тиволи и всех его азартных игр, побродил, как неприкаянный, между столами и опять подошел к печке.

— Кто-нибудь умер? — спросила Мадонна.

— Похоже на то, — ответил хозяин.

— Должно быть, все умерли, — заключила Мадонна и опять зевнула.

Макдональд, усмехаясь, кивнул головой и уже открыл было рот, чтобы ответить, как вдруг входная дверь распахнулась настежь и на пороге показалась человеческая фигура. Струя морозного воздуха, ворвавшаяся вместе с пришельцем в теплую комнату и мгновенно превратившаяся в пар, заклубилась вокруг его коленей, потом протянулась по полу, все утончаясь, и в трех шагах от печки рассеялась. Вошедший снял веник, висевший на гвозде

возле двери, и принялся сметать снег со своих мокасин и длинных шерстяных носков. Роста он был немалого, но сейчас казался невысоким по сравнению: огромным канадцем, который подскочил к нему и потряс за руку.

— Здорово, друг! — кричал он. — Рад видеть тебя!

— Здорово, Луи! — ответил новый посетитель. — Давно ли явился? Идем, идем, выпьем. И расскажешь нам, как там, на Костяном ручье. Ну, давай лапу еще раз, черт тебя возьми! А где же твой товарищ? Я что-то его не вижу.

Другой старатель, тоже огромного роста, отделился от стойки и подошел поздороваться. Вторых таких великанов, как Гендерсон и Луи-француз — совладельцы участка на Костяном ручье, — не нашлось бы во всей округе, и хотя они были только на полголовы выше нового гостя, рядом с ними он казался низкорослым.

— Здорово, Олаф, тебя-то мне и нужно, — сказал он. — Завтра мой день рождения, и я хочу положить тебя на обе лопатки. Понял? И тебя, Луи. Я могу всех вас повалить, недаром завтра мой день рождения. Понятно? Идем выпьем, Олаф, я тебе сейчас все объясню.

С приходом нового посетителя по салуну словно живое тепло разлилось.

— Да это Время-не-ждет! — воскликнула Мадонна, первой узнавшая его, когда он вышел на середину комнаты.

Чарли Бэйтс уже не хмурился, а Макдональд поспешил к стойке, где расположились трое приятелей. От одного присутствия нового гостя все сразу повеселели и оживились. Забегали официанты, голоса зазвучали громче, раздался смех. Скрипач, заглянув в открытую дверь, сказал пианисту: «Время-не-ждет пришел», — и тотчас музыка заиграла громче и танцующие пары, словно проснувшись, с увлечением закружились по комнате. Всем было известно, что раз появился Время-не-ждет, скуку как рукой снимет.

Он повернулся спиной к стойке и, оглядев салун, заметил женщину у печки, смотревшую на него с радостным ожиданием.

— Здравствуй, Мадонна, здравствуй, милая! — крикнул он. — Привет, Чарли! Что с вами такое? Чего приуныли? Гроб-то стоит всего три унции! Идите сюда, выпьем. Эй вы, покойнички! Подходите, выбирайте себе отраву по вкусу. Все, все подходите. Сегодня мой день, всю ночь гулять буду. Завтра мне стукнет тридцать лет — значит, прощай молодость! А сегодня погуляю напоследок. Ну как? Принимаете? Тогда вали сюда, вали!

— Постой минутку, Дэвис! — крикнул он игроку в «фараон», который уже встал было из-за стола. — Раскинь карты — посмотрим, кто кого будет угощать: я тебя или ты нас.

Вытащив из кармана тяжелый мешочек с золотым песком, он бросил его на карту.

— Пятьдесят, — объявил он.

Дэвис сдал две карты. Выиграл Время-не-ждет. Дэвис записал сумму на листке бумаги, весовщик за стойкой отвесил на пятьдесят долларов золотого песку и высыпал его в мешочек выигравшего. В соседней комнате звуки вальса умолкли, и все три пары в сопровождении скрипача и пианиста направились к стойке.

— Вали, вали сюда! — приветствовал их Время-неждет. — Заказывайте, что кому по душе.

Сегодня мой вечер. Пользуйтесь, такое не часто бывает. Ну, подходи, все, сиваши, лососинники. Мой вечер, говорят вам...

— Тоскливый вечер, хоть волком вой, — прервал его Чарли Бэйтс.

— Верно, Друг» — весело подхватил Время-неждет. — Но это мой вечер, я и есть старый, матерый волк. Вот послушай!

И он завыл глухо, протяжно, как воет одинокий таежный волк, так что Мадонна вся задрожала и заткнула уши тоненькими пальчиками. Минуту спустя она уже кружилась в его объятиях в соседней комнате вместе с тремя другими парами, а скрипач с пианистом нажаривали забористую виргинскую кадриль. Все быстрей мелькали обутые в мокасины ноги мужчин и женщин, и вскоре всех обуяло бурное веселье. Средоточием его был Время-не-ждет; его разгульное удальство, остроты и шутки рассеяли уныние, царившее в салуне до его прихода.

Казалось, самый воздух стал другим, вобрав в себя его бьющую через край жизненную энергию. Посетители, входя с улицы, сразу чувствовали это, и в ответ на их вопросы официанты кивали на соседнюю комнату и многозначительно говорили: «Время-не-ждет гуляет». И посетители не спешили уходить, располагались надолго, заказывали виски. Игроки тоже пробудились от спячки, и вскоре все столы были заняты непрерывный перестук фишек и неумолчное жужжание шарика в колесе рулетки сливались с гулом мужских голосов, хриплым смехом и грубой бранью.

Мало кто знал Элама Харниша под другим именем, чем Время-не-ждет; это прозвище ему дали давно, в дни освоения новой страны, потому что этим возгласом он всегда подымал с постели своих товарищей. В арктической пустыне, где все жители были первооткрывателями, он по праву считался одним из старожилов. Правда, Эл Мэйо и Джек Мак-Квещен опередили его; но они пришли с востока, с Гудзонова залива, перевалив через Скалистые горы. Он же был первым из тех, кто проник на Аляску через перевалы Чилкут и Чилкат. Двенадцать лет тому назад, весной 1883 года, восемнадцатилетним юнцом он перевалил через Чилкут с пятью товарищами. Осенью он проделал обратный путь с одним: четверо погибли в неизведанных безлюдных просторах. И все двенадцать лет Элам Харниш искал золото в сумрачном краю у Полярного круга.

Никто не искал с таким упорством и долготерпением, как Харниш. Он вырос вместе со страной. Другой страны он не знал. Цивилизация была для него смутным сновидением, оставшимся позади, в далекой прежней жизни. Приисковые поселки Сороковая Миля и Серкл казались ему столицами. Он не только рос вместе со страной, — какова бы она ни была, он помог ее созиданию. Он создавал ее историю, ее географию; и те, кто пришел после него, описывали его переходы и наносили на карту проложенные им тропы.

Герои обычно не склонны превозносить геройство, но даже отважные пионеры этой молодой страны, несмотря на юный возраст Элама Харниша, признавали за ним право старшинства. Никто из них не ступал на эту землю до него; никто не совершал таких подвигов; никто, даже самые выносливые, не мог тягаться с ним в выдержке и стойкости. А сверх того он слыл человеком храбрым, прямодушным и честным.

Повсюду, где легко рискуют жизнью, словно это всего-навсего ставка игрока, люди в поисках развлечений и отдыха неизбежно обращаются к азартным играм. Золотоискатели Юкона ставили на карту свою жизнь ради золота, а добыв его, проигрывали друг другу. Так же поступал и Элам Харниш. Он по натуре был игрок, и жизнь представлялась ему увлекательнейшей игрой. Среда, в которой он вырос, определила характер этой игры. Он

родился в штате Айова, в семье фермера, вскоре переселившегося в Восточный Орегон, и там, на золотом прииске, Элам провел свое отрочество. Он рано узнал, что такое риск и крупные ставки. В этой игре отвага и выдержка увеличивали шансы, но карты сдавал всемогущий Случай. Честный труд, верный, хоть и скудный заработок в счет не шли: Игра велась крупная. Настоящий мужчина рисковал всем ради всего, и если ему доставалось не все, — считалось, что он в проигрыше. Элам Харниш оставался в проигрыше целых двенадцать лет, проведенных на Юконе. Правда, прошлым летом на Лосиной реке он добыл золота на двадцать тысяч долларов, и столько же золота еще скрывалось под землей на его участке. Но, как он сам говорил, этим он только вернул свою ставку. В течение двенадцати лет он втемную ставил на карту свою жизнь — ставка немалая! А что получил обратно? На сорок тысяч только и можно, что выпить и поплясать в Тиволи, проболтаться зиму в Серкле да запастись продовольствием и снаряжением на будущий год.

Старатели на Юконе переиначили старую поговорку, и вместо: «Легка пожива — была, да сплыла» — у них она гласила: «Трудна пожива — была, да сплыла». Когда виргинская кадриль кончилась, Элам Харниш опять угостил всех вином. Стакан виски стоил доллар, за унцию золота давали шестнадцать долларов; на приглашение Харниша откликнулось тридцать человек, и в каждом перерыве между танцами он угощал их. Это был его вечер, и никому не дозволялось пить за свой счет. Сам Элам Харниш не питал пристрастия к спиртному, на виски его не тянуло. Слишком много сил и энергии отпустила ему природа, слишком здоров он был душой и телом, чтобы стать рабом пагубной привычки к пьянству. Зимой и летом, на снежной тропе или в лодке, он месяцами не пил ничего крепче кофе, а однажды целый год и кофе не видел. Но он любил людей, а на Юконе общаться с ними можно было только в салунах, поэтому и он заходил туда выпить. На приисках Запада, где он вырос, все старатели так делали. Он считал это естественным. Как иначе можно встречаться с людьми, он просто не знал.

Внешность Элама Харниша была приметная, хотя наряд его мало чем отличался от одежды других завсегдатаев Тиволи: мокасины из дубленой лосиной кожи с индейской вышивкой бисером, обыкновенный рабочий комбинезон, а поверх него — куртка, сшитая из одеяла, длинные кожаные рукавицы, подбитые мехом, болтались у него на боку, — по юконскому обычаю, они висели на ремешке, надетом на шею; меховая шапка с поднятыми, но не завязанными наушниками. Лицо худое, удлиненное; слегка выступающие скулы, смуглая кожа и острые темные глаза придавали ему сходство с индейцем, хотя по оттенку загара и разрезу глаз сразу можно было признать в нем белого. Он казался одновременно и старше и моложе своих лет: по гладко выбритому, без единой морщинки лицу ему нельзя было дать тридцати лет, и вместе с тем что-то неуловимое в нем выдавало зрелого мужчину. Это были незримые следы тех испытаний, через которые он прошел и которые мало кому оказались бы под силу. Он жил жизнью первобытной и напряженной, — и об этом говорили его глаза, в которых словно тлел скрытый огонь, это слышалось в звуке его голоса, об этом, казалось, непрерывно шептали его губы.

А губы у него были тонкие и почти всегда крепко сжатые; зубы — ровные и белые; приподнятые уголки губ, смягчая жесткую линию рта, свидетельствовали о природной доброте, а в крохотных складочках вокруг глаз таился веселый смех. Эти спасительные свойства умеряли необузданный нрав Элама Харниша, — без них он легко мог стать существом жестоким и злобным. Точеный нос с тонкими ноздрями был правильной формы; лоб узкий, но высокий и выпуклый, красиво очерченный; волосы тоже напоминали волосы индейца — очень прямые, очень черные и такие блестящие, какие бывают только у здоровых людей.

— Время-не-ждет времени не теряет, — усмехаясь, сказал Дэн Макдональд, прислушиваясь к хохоту и громким крикам, доносившимся из соседней комнаты.

— Погулять он умеет! Правда, Луи? — отозвался Олаф Гендерсон.

— И еще как! — подхватил Луи-француз. — Этот парень — чистое золото!

— Когда Господь Бог в день великой промывки призовет его душу, — продолжал Макдональд, — вот увидите, он самого Господа Бога заставит кидать землю в желоба.

— Вот это здорово! — проговорил Олаф Гендерсон, с искренним восхищением глядя на Макдональда.

— Очень даже, — подтвердил Луи-француз. — Выпьем, что ли, по этому случаю?

Глава вторая

К двум часам ночи все проголодались, и танцы решили прервать на полчаса. И тут-то Джек Керне, высокий, плотный мужчина с грубыми чертами лица, предложил сыграть в покер. После того как Джек вместе с Беттлзом предпринял неудачную попытку обосноваться далеко за Полярным кругом, в верховьях реки Койокук, он вернулся к своим факториям на Сороковой и Шестидесятой Миле и пустился в новое предприятие — выписал из Соединенных Штатов небольшую лесопилку и речной пароход. Лесопилка была уже в пути: погонщики-индейцы везли ее на собаках через Чилкутский перевал; в начале лета, после ледохода, ее доставят по Юкону в Серкл. А в середине лета, когда Берингово море и устье Юкона очистятся от льда, пароход, собранный в Сент-Майкле, двинется вверх по реке с полным грузом продовольствия.

Итак, Джек Керне предложил сразиться в покер. Луи-француз, Дэн Макдональд и Хэл Кэмбл (которому сильно повезло на Лосиной реке), за нехваткой дам не танцевавшие, охотно согласились. Стали искать пятого партнера; как раз в это время из задней комнаты появился Элам Харниш под руку с Мадонной, а за ними, пара за парой, шли остальные танцоры. Игроки окликнули его, и он подошел к карточному столу.

— Садись с нами, — сказал Кэмбл. — Тебе сегодня как — везет?

— Малость везет! — весело ответил Харниш. Но Мадонна украдкой сжала его локоть: ей хотелось еще потанцевать с ним. — А все-таки я лучше потанцую. Не хочется мне вас грабить.

Никто не стал настаивать, считая его отказ окончательным. Мадонна потянула его за руку, спеша присоединиться к компании ужинающих гостей, но Время-нежет вдруг передумал. У него не пропала охота танцевать, и обидеть свою даму он тоже не» хотел, но его свободолюбие восстало против настойчивости, с какой она тянула его за собой. Он давно уже твердо решил, что ни одна женщина не будет командовать им. Хотя он и пользовался большим успехом у женщин, сам он не слишком увлекался ими. Для него они были просто забавой, развлечением, отдыхом от большой игры, от настоящей жизни. Он не делал разницы между женщинами и выпивкой или игрой в карты и видел немало примеров тому, что куда легче отвыкнуть от виски и покера, нежели выпутаться из сетей, расставленных женщиной.

Харниш всегда подчинялся самому себе, и это было естественно для человека со столь здоровыми инстинктами; но при малейшей опасности оказаться в подчинении у кого-нибудь другого он либо давал сокрушительный отпор, либо обращался в бегство. Сладостные цепи, налагаемые любовью, не прельщали его. Ему случалось видеть влюбленных мужчин, — он считал их помешанными, а душевные болезни нисколько не интересовали его. Но мужская дружба — это совсем не то, что любовь между мужчиной и женщиной. В дружбе с товарищем нет рабского подчинения. Это деловой уговор, честная сделка между людьми, которые не

пытаются взять верх друг над другом, но плечо к плечу преодолевают и снежную тропу, и реки, и горы, рискуя жизнью в погоне за богатством. А мужчина и женщина гоняются друг за другом, и либо он, либо она непременно возьмет верх. Иное дело — дружба между двумя товарищами: тут нет места рабству. И хотя Харниш, обладавший богатырской силой, всегда давал больше, чем получал взамен, он давал не по принуждению, а добровольно, с царской щедростью расточая и труды свои и сверхчеловеческие усилия. Вместе идти день за днем по горным ущельям, борясь со встречным ветром, или пробираться по тундре, отбиваясь от налетающих тучами комаров, нести поклажу вдвое тяжелей, чем поклажа товарища, — в этом нет ни неравенства, ни подчинения. Каждый отдает все свои силы. Это — главное условие честной сделки между товарищами. Конечно, бывает, что у одного больше сил, а у другого меньше; но если и тот и другой делают все, что могут, — значит, уговор не нарушен, главное условие соблюдено, справедливое соглашение действует к взаимной выгоде.

А с женщинами не то! Женщины поступаются малым, а требуют всего. Только глянь на них лишний раз, и опутают тебя, привяжут к своей юбке. Вот Мадонна: зевала во весь рот, когда он пришел, а как только позвал танцевать — вся загорелась. Почему не потанцевать с ней; но он не один раз, а много раз приглашал ее, — и вот уж она сжимает его локоть, когда ему предлагают сыграть в покер, она уже предъявляет права на него; и если он уступит, конца этому не будет. Ничего не скажешь, женщина она славная — цветущая, хороша собой и танцует отлично; но только есть в ней это чисто женское желание заарканить его и связать по рукам и ногам, чтобы выжечь на нем тавро. Нет, уж лучше покер! К тому же Харниш любил покер ничуть не меньше, чем танцы.

Он не двинулся с места, сколько Мадонна ни тянула его за руку, и сказал:

— Пожалуй, я не прочь малость встряхнуть вас.

Она опять, еще более настойчиво, сжала его локоть. Вот они — путы, она уже пытается затянуть узелок. На какую-то долю секунды в Харнише проснулся дикарь: он весь был во власти смертельного страха и жажды крови; в одно мгновение он превратился в тигра, который, чуя капкан, себя не помнит от испуга и ярости. Будь он в самом деле дикарь, он опрометью бросился бы вон или кинулся на женщину и растерзал ее. Но к нему тотчас же вернулась выдержка, накопленная поколениями, та способность обуздывать себя, благодаря которой человек стал животным общественным, — правда, несовершенным. Он подавил поднявшуюся в нем злобу и сказал, ласково глядя Мадонне в глаза:

— Ты пойди поужинай. Я не голоден. А потом мы еще потанцуем. До утра далеко. Ступай, милая.

Он высвободил свою руку, дружески потрепал Мадонну по плечу и повернулся к игрокам:

— Если без лимита, я сяду с вами.

— Лимит большой, — сказал Джек Керне.

— Никаких лимитов.

Игроки переглянулись, потом Керне объявил:

— Ладно, без лимита.

Элам Харниш уселся на свободный стул и начал было вытаскивать мешочек с золотом, но передумал. Мадонна постояла немного, обиженно надув губы, потом присоединилась к

ужинающим танцорам.

— Я принесу тебе сандвич! — крикнула она Харнишу через плечо.

Он кивнул головой. Улыбка ее говорила о том, что она больше не сердится. Итак, он избежал опасности и вместе с тем не нанес слишком горькой обиды.

— Давайте на марки, — предложил он. — А то фишки весь стол занимают. Согласны?

— Я согласен, — ответил Хэл Кэмбл. — Мои марки пойдут по пятьсот.

— И мои, — сказал Харниш.

Остальные тоже назвали стоимость марок; самым скромным оказался Луи-француз: он пустил свои по сто долларов.

В те времена на Аляске не водилось ни мошенников, ни шулеров. Игра велась честно, и люди доверяли Друг другу. Слово было все равно что золото. Плоские продолговатые марки, на которые они играли, делались из латуни и стоили не дороже цента за штуку. Но когда игрок ставил такую марку и объявлял, что стоимость ее равна пятистам долларам, это ни в ком не вызывало сомнений. Выигравший знал, что каждый из партнеров оплатит свои марки тут же на месте, отвесив золотого песку на ту сумму, которую сам назначил. Марки изготовлялись разных цветов, и определить владельца было нетрудно. Выкладывать же золото на стол — такая мысль и в голову не приходила первым юконским старателям. Каждый отвечал за свою ставку всем своим достоянием, где бы оно ни хранилось и в чем бы ни заключалось.

Харниш срезал колоду — сдавать выпало ему. Это была хорошая примета, и, тасуя карты, он крикнул официантам, чтобы всех поили за его счет. Потом он сдал карты, начав с Дэна Макдональда, своего соседа слева, весело покрикивая на своих партнеров:

— А ну, поехали! Эй вы, лохматые, хвостатые, лопоухие! Натягивайте постромки! Налегайте на упряжь, да так, чтобы шлея лопнула. Но-о, но-о! Поехали к нашей красотке! И уж будьте покойны, порастрясет нас дорогой, пока мы доберемся к ней! А кое-кто и отобьет себе одно место, да еще как!

Сперва игра шла тихо и мирно, партнеры почти не разговаривали между собой; зато вокруг них стоял содом, — виновником этого был Элам Харниш. Все больше и больше старателей, заглянув в салун, застревали на весь вечер. Когда Время-не-ждет устраивал кутеж, никому не хотелось оставаться в стороне. Помещение для танцев было переполнено. Женщин не хватало, поэтому кое-кто из мужчин, обвязав руку повыше локтя носовым платком, — чтобы не вышло ошибки, — танцевал за даму. Вокруг всех игорных столов толпились игроки, стучали фишки, то пронзительно, то глухо жужжал шарик рулетки, громко переговаривались мужчины, выпивая у стойки или греясь возле печки. Словом, все было как полагается в разгульную ночь на Юконе.

Игра в покер тянулась вяло, с переменным счастьем, большой карты никому не выпадало. Поэтому ставили много и на мелкую карту, но торговались недолго. Луи-француз взял пять тысяч на свой флеш против троек Кэмбла и Кернса. Одному из партнеров достался котел в восемьсот долларов, а было у него всего-то две фоски. Керне, блефуя, поставил две тысячи. Не сморгнув, Харниш ответил. Когда открыли карты, у Кернса оказался неполный флеш, а Харниш с торжеством предъявил две десятки.

Но вот наконец в три часа ночи игрокам пошла карта. Настал вожделенный миг, которого неделями ждут любители покера. Весть об этом молнией разнеслась по Тиволи. Зрители

затаили дыхание. Говор у стойки и вокруг печки умолк. И все стали подвигаться к карточному столу. Игроки за другими столами поднялись со своих мест и тоже подошли. Соседняя комната опустела, и вскоре человек сто с лишним в глубоком молчании тесно обступили покеристов. Торговаться начали втемную, — ставки росли и росли, а о прикупе никто еще и не думал. Карты сдал Керне. Луи-француз поставил свою марку в сто долларов. Кэмбл только ответил, но следующий партнер — Элам Харниш — бросил в котел пятьсот долларов, заметив Макдональду, что надо бы больше, да уж ладно, пусть входит в игру по дешевке.

Макдональд еще раз заглянул в свои карты и выложил тысячу. Керне после длительного раздумья ответил. Луи-француз тоже долго колебался, но все-таки решил не выходить из игры и добавил девятьсот долларов. Столько же нужно было выложить и Кэмблу, чтобы не выйти из игры, но, к удивлению партнеров, он этим не ограничился, а поставил еще тысячу.

— Ну, наконец-то дело в гору пошло, — сказал Харниш, ставя тысячу пятьсот долларов и, в свою очередь, добавляя тысячу, — красотка ждет нас за первым перевалом. Смотрите, не лопнули бы постромки!

— Уж я-то не отстану, — ответил Макдональд и положил в котел на две тысячи своих марок да сверх того добавил тысячу.

Теперь партнеры уже не сомневались, что у всех большая карта на руках. Хотя лица их не выдавали волнения, каждый внутренне подобрался. Все старались держаться естественно, непринужденно, но каждый делал это по-своему: Хэл Кэмбл подчеркивал присущую ему осторожность; Луи-француз выказывал живейший интерес к игре; Макдональд по-прежнему добродушно улыбался всем, хотя улыбка казалась чуть натянутой; Керне был невозмутимо хладнокровен, а Элам Харниш, как всегда, весело смеялся и шутил. Посредине карточного стола беспорядочной грудой лежали марки — в котле уже было одиннадцать тысяч.

— У меня все марки вышли, — пожаловался Керне. — Давайте на запись.

— Очень рад, что ты не сдаешься, — одобрительно заметил Макдональд.

— Погоди, я еще не решил. Тысячу я уже проставил. А теперь как?

— Теперь либо бросай карты, либо ставь три тысячи. А можешь и выше поднять, пожалуйста!

— Нет уж, спасибо! Это у тебя, может, четыре туза на руках, а у меня слабовато. — Керне еще раз заглянул в свои карты. — Вот что я тебе скажу. Мак: я все-таки попытаю счастья — выложу три тысячи.

Он пометил сумму на клочке бумаги, подписался и положил бумажку на середину стола.

Слово было за Луи-французом. Все взоры обратились на него.

С минуту он дрожащими пальцами перебирал свои карты, потом сказал:

— Чует мое сердце, что ничего не выйдет. Черт с ним! — и со вздохом отбросил карты в сторону.

Тогда глаза всех присутствующих — свыше сотни пар — впились в Кэмбла.

— Ну, Джек, жалко мне тебя», я только отвечу, — сказал Кэмбл и выложил две тысячи, но ставки не перекрыл.

Теперь все взгляды устремились на Харниша; он нацарапал что-то на бумажке и пододвинул ее к котлу.

— Имейте в виду, — сказал он. — Здесь не воскресная школа и не благотворительное общество. Я отвечаю и добавляю еще тысячу. Слово за тобой. Мак. Как там твои четыре туза?

— За мной дело не станет, — ответил Макдональд. — Вот вам тысяча и ставлю еще одну. Ну, а ты, Джек? Надеешься на свое счастье?

— Очень даже надеюсь. — Керне долго перебирал и разглядывал свои карты. — Из игры я не выйду. Но я хочу, чтобы вы знали: у меня имеется пароход «Белла», он стоит полных двадцать тысяч, ни на унцию меньше. В моей лавке на Шестидесятой Миле лежит товару на пять тысяч. И вам известно, что скоро доставят мою лесопилку. Она сейчас на озере Линдерман, и для Нее уже вяжут плот. Ну как? В долг поверите?

— Поверим, — ответил Харниш. — Валяй ставь! Кстати, уж и я скажу: двадцать тысяч лежат здесь, у Мака в сейфе, и двадцать тысяч у меня под землей на Лосиной реке. Ты, Кэмбл, мой участок знаешь. Есть там на двадцать тысяч?

— Есть.

— Сколько надо ставить? — спросил Керне.

— Две тысячи.

— Смотри, Джек, не зарывайся, этим дело не кончится, — предостерег его Харниш.

— Я в свое счастье верю. Так вот и вижу, как оно мне улыбается, — сказал Керне и положил новую расписку на две тысячи поверх кучки бумажек.

— Счастья я никакого не вижу, зато вижу, что у меня неплохая карта, — заявил Кэмбл, пододвигая свою расписку, — но перекрывать не хочу.

— А я хочу, — сказал Харниш, принимаясь писать. — Отвечаю тысячу и подымаю на тысячу.

Тут Мадонна, которая стояла за стулом Элама Харниша, сделала то, на что не решился бы даже лучший друг игрока в покер. Протянув руку через его плечо, она подняла со стола лежавшие перед ним пять карт и заглянула в них, почти вплотную прижимая их к его груди. Она увидела, что у него три дамы и две восьмерки, но ни одна душа не могла бы догадаться, большая ли у него карта. Глаза всех партнеров так и сверлили ее, однако она ничем себя не выдала. Лицо Мадонны, словно высеченное из льда, было невозмутимо и выражало одно лишь равнодушие. Даже бровь у нее не шевельнулась, не дрогнули ноздри, не блеснули глаза. Она опять положила карты на стол рубашкой вверх, и взоры игроков нехотя отвернулись от ее лица, не прочтя на нем ничего.

Макдональд приветливо улыбнулся.

— Отвечаю тебе, Время-не-ждет, и перекрываю двумя тысячами. Как твое счастье, Джек?

— Все улыбается. Мак. Да так, что просто устоять не могу. Вот три тысячи. Чует мое сердце, что выиграю. И знаешь, что еще мое сердце чует? Время-не-ждет тоже ответит.

— Можешь не сомневаться, — подтвердил Харниш, после того как Кэмбл бросил свои карты. —

Элам Харниш знает, что и когда ему нужно делать. Отвечаю две тысячи. А теперь будем прикупать.

Прикуп состоялся в гробовой тишине, прерываемой только тихими голосами играющих. В котле набралось уже тридцать четыре тысячи, а до конца игры еще было далеко. Мадонна чуть не вскрикнула, когда Харниш отбросил восьмерки и, оставив себе только трех дам, прикупил две карты. И на этот раз даже она не посмела заглянуть в его прикуп. Она знала, что и ее выдержке есть предел. Харниш тоже не поднял карты со стола.

— Тебе? — спросил Керне Макдональда.

— С меня хватит, — последовал ответ.

— А ты подумай, может, все-таки дать карточку?

— Спасибо, не нуждаюсь.

Сам Керне взял себе две карты, но не стал смотреть их. Карты Харниша тоже по-прежнему лежали на столе рубашкой вверх.

— Никогда не надо лезть вперед, когда у партнера готовая карта на руках, — медленно проговорил он, глядя на Макдональда. Я — пас. За тобой слово. Мак.

Макдональд тщательно пересчитал свои карты, чтобы лишний раз удостовериться, что их пять, записал сумму на клочке бумаги, положил его в котел и сказал:

— Пять тысяч.

Керне под огнем сотни глаз посмотрел свой прикуп, пересчитал три остальные карты, убедился, что всех карт у него пять, и взялся за карандаш.

— Отвечаю, Мак, — сказал он, — и набавлю только тысчонку, не то Время-не-ждет испугается.

Все взоры опять обратились на Харниша. Он тоже посмотрел прикуп и пересчитал карты.

— Отвечаю шесть тысяч и набавляю пять. Может, теперь ты, Джек, испугаешься?

— А я набавлю еще пять тысяч, хочу помочь тебе пугнуть Джека, — сказал Макдональд.

Голос его звучал хрипловато и напряженно, а уголок рта слегка дергался.

Керне был бледен, и рука, в которой он, сжимал карандаш, заметно дрожала. Но голос его не изменился.

— Набавляю пять тысяч, — сказал он.

Теперь центром внимания был Харниш. Выступивший у него на лбу пот поблескивал в свете керосиновых ламп. Смуглые щеки покрылись темным румянцем, черные глаза горели, ноздри раздувались — широкие ноздри, унаследованные от диких предков, которые выжили благодаря богатырской грудной клетке и могучим легким. Но голос у него не срывался, как у Макдональда, и рука, взявшаяся за карандаш, не дрожала, как у Кернса.

— Отвечаю десять тысяч, — сказал он. — Тебя я не боюсь. Мак. А вот счастье Джека меня беспокоит.

— Я все-таки наддам пять тысяч, — сказал Макдональд. — До прикупа я был сильнее всех, и сдается мне, и сейчас моя карта не будет бита.

— Бывает так, что счастье после прикупа вернее, чем до прикупа, — заметил Керне. — Так и шепчет мне: «Наддай, Джек, наддай!» Придется поставить еще пять тысяч.

Харниш откинулся на спинку стула, поднял глаза к потолку и стал подсчитывать вслух:

— До прикупа я проставил девять тысяч, потом отвечал, потом набавлял... одиннадцать тысяч... потом еще... итого — тридцать тысяч. У меня остается еще десять тысяч. — Он выпрямился и посмотрел на Кернса. — Вот десять тысяч я и отвечу.

— Можешь набавить, — ответил Керне. — Твои собаки пяти тысяч стоят.

— Ну, уж нет! Вы можете забрать весь мой песок и все, что есть в моей земле, но собак моих вам не видать. Я только отвечу.

Макдональд долго раздумывал. Никто не шевелился, никто не говорил даже шепотом. Ни один мускул не дрогнул на лицах зрителей. Никто даже не переступил с ноги на ногу. Все замерли в благоговейном молчании. Слышался только рев пламени в огромной печке, да из-за бревенчатой стены доносился приглушенный вой собак. Не каждый вечер на Юконе шла крупная игра, а такой игры еще не бывало за всю историю этого края. Наконец Макдональд заговорил:

— Если я проиграю, я могу только взять закладную под Тиволи.

Оба партнера кивнули в знак согласия.

— Тогда я тоже отвечу.

Макдональд положил на стол расписку на пять тысяч.

Ни один из игроков не потянулся за котлом, ни один не объявил своей карты. Все трое одновременно молча положили карты на стол; зрители бесшумно обступили их еще теснее, вытягивая шеи, чтобы лучше видеть. Харниш открыл четырех дам и туза; Макдональд — четырех валетов и туза; Керне — четырех королей и тройку. Он наклонился вперед и, весь дрожа, обеими руками сгреб котел и потащил его к себе.

Харниш выхватил своего туза и бросил его через стол на туза Макдональда.

— Вот из-за чего я лез. Мак. Я знал, что только короли могут побить мою карту. Так оно и вышло. — Потом он повернулся к Кэмблу. — А у тебя что было? — спросил он с искренним интересом.

— Неполный флеш, с обеих сторон открытый. Хорошая карта для прикупа.

— Еще бы! Мог быть флеш или даже ройял-флеш.

— Вот в том-то и дело, — с грустью сказал Кэмбл. — Потому я и проставил шесть тысяч.

— Вся беда в том, что только трое прикупали, — засмеялся Харниш. — А то я не подхватил бы четвертой крали. Ну теперь мне придется идти в погонщики к Билли Роулинсу и везти почту в Дайю. А сколько ты сорвал, Джек?

Керне стал было подсчитывать выигрыш, но от волнения ничего не мог сообразить. Харниш потянул к себе груду марок и расписок, спокойно рассортировал их и быстро подсчитал итог.

— Сто двадцать семь тысяч, — объявил он. — Теперь, Джек, ты можешь все распродать и ехать домой.

Счастливый игрок, улыбаясь, кивнул головой, но не мог выговорить ни слова.

— Я поставил бы выпивку, — сказал Макдональд, — но только я здесь уже не хозяин.

— Неправда, — хрипло ответил Керне, предварительно облизнув губы.

— Отдашь долг» когда захочешь. Но выпивку поставлю я.

— Эй, налетайте, заказывайте, кому что, — победитель платит! — крикнул Элам Харниш, расталкивая толпу зрителей, и схватил Мадонну за руку. — Пошли танцевать! До утра еще далеко, а завтра мне катить в Дайю. Слушай, Роулинс, я согласен доставить почту, выезжаю в девять утра к Соленой Воде, ладно? Ну, идем, идем. Куда же это скрипач девался?

Глава третья

Это была ночь Элама Харниша. Он был душой кутежа, и буйное веселье било из него ключом и заражало всех. Он превзошел самого себя, и никто не хотел отстать от него. Что бы он ни придумал, все с увлечением подхватывали его затею, кроме тех, кто уже ничего не понимал и, горланя какую-то бессмыслицу, валился под стол. Но драк и пьяных скандалов не было. На, Юконе хорошо знали, что, когда кутит Времяне-ждет, допускается только мирное веселье. Ссоры в такие дни запрещались. Раньше бывали стычки между подгулявшими гостями, но они на своей шкуре убедились, что такое истинный гнев, ибо Харниш укрощал скандалистов, как он один умел это делать. Он требовал, чтобы все смеялись и плясали, а кто не хочет — пусть отправляется домой.

Сам он был неутомим. Между двумя турами вальса он уплатил Кернсу двадцать тысяч золотым песком и передал ему свою заявку на Лосиной реке. Кроме того, он условился с Билли Роулинсом о доставке почты и сделал все необходимые приготовления. Он послал гонца разыскивать Каму — погонщика-индейца из племени Танана, который покинул далекое кочевье своих родичей ради службы белым пришельцам. Кама, высокий, худощавый, мускулистый, одетый в звериные Шкуры, вошел в Тиволи со спокойным достоинством истого дикаря; не обращая внимания на шумевших вокруг него гуляк, он молча выслушал распоряжения Харниша.

— У-ум, — произнес Кама, когда тот кончил, и стал по пальцам перечислять полученные поручения. — Взять письма у Роулинса. Погрузить на нарты. Продовольствие до Селкерка. А в Селкерке много корму для собак?

— Много, Кама.

— У-ум. Привести сюда нарты к девяти. Захватить лыжи. Палатку не надо. А может, взять полог? Маленький?

— Не надо, — решительно заявил Харниш.

— Холодно будет.

— Мы пойдем налегке, понятно? И так уж будет много писем туда и много писем обратно. Ты сильный. Ничего, что холодно, что далеко.

— Ничего так ничего, — со вздохом пробормотал Кама. — Пусть холодно, все равно. Приду в девять.

Он повернулся и вышел, бесшумно ступая обутыми в мокасины ногами, невозмутимый, непроницаемый, не глядя по сторонам и ни с кем не прощаясь, — так же, как он вошел, не здороваясь и не встреченный приветствиями. Мадонна увела Харниша в уголок.

— Послушай, Время-не-ждет, — сказала она вполголоса, — ты продулся?

— В пух и прах.

— У меня восемь тысяч в сейфе Макдональда… — начала она.

Но Харниш не дал ей договорить. Почуяв опасность, он шарахнулся, как необъезженный жеребец.

— Пустяки, — сказал он. — Нищим пришел я в этот мир, нищим и уйду, и, можно сказать, с самого прихода не вылезал из нищеты. Идем вальс танцевать.

— Но ты послушай, — настаивала она. — Мои деньги зря лежат. Я одолжу их тебе… Ну, ссуду дам и в долю войду, — торопливо добавила она, заметив его настороженный взгляд.

— Я ни у кого ссуды не беру, — ответил он. — Я сам себя ссужаю, и, когда повезет, все мое. Спасибо тебе, дорогая. Премного благодарен. Вот свезу почту, и опять деньги будут.

— Элам… — прошептала она с нежным упреком.

Но он с умело разыгранной беспечностью проворно увлек ее в комнату для танцев, и они закружились в вальсе, а Мадонна думала о том, что хоть он и держит ее в объятиях, но сердце у него из железа и не поддается ни на какие ее уловки.

В шесть часов утра, пропьянствовав всю ночь, Харниш как ни в чем не бывало стоял у стойки и состязался в силе со всеми мужчинами подряд. Делалось это так: два противника становились лицом Друг, к другу по обе стороны угла, упершись правым локтем в стойку и переплетя пальцы правой руки; задача заключалась в том, чтобы прижать руку противника к стойке. Один за другим выходили мужчины против Харниша, но ни разу никому не удалось побить его; осрамились даже такие великаны, как Олаф Гендерсон и Луи-француз. Когда же они заявили, что Харниш берет не силой, а каким-то ему одному известным приемом, он вызвал их на новое соревнование.

— Эй, слушайте! — объявил он. — Вот что я сделаю: во-первых, я сейчас взвешу мри мешочек, а потом побьюсь об заклад на всю сумму, что после того, как вы подымете столько мешков с мукой, сколько осилите, я подкину еще два мешка и подыму всю махину.

— А ну, давай! — крикнул Луи-француз под одобрительный гул толпы.

— Стой! — закричал Олаф Гендерсон. — А я что же? Половина ставки моя!

В мешочке Харниша оказалось песку ровно на четыреста долларов, и он заключил пари на эту сумму с Олафом и Луи-французом. Со склада салуна принесли пятидесятифунтовые мешки с

мукой. Сначала другие попробовали свои силы. Они становились на два стула, а мешки, связанные веревкой, лежали под ними на полу. Многим удавалось таким образом поднять четыреста или пятьсот фунтов, а кое-кто дотянул даже до шестисот. Потом оба великана выжали по семьсот фунтов. Луифранцуз прибавил еще мешок и осилил семьсот пятьдесят фунтов. Олаф не отстал от него, но восемьсот ни тот, ни другой не могли выжать. Снова и снова брались они за веревку, пот лил с них ручьем, все кости трещали от усилий, — но хотя им и удавалось сдвинуть груз с места, все попытки оторвать его от пола были тщетны.

— Помяни мое слово, — сказал Харнишу Луифранцуз, выпрямляясь и слезая со стульев. — На этот раз ты влип. Только человек из железа может это осилить. Еще сто фунтов накинешь? И десяти не накинешь, приятель.

Мешки развязали, притащили еще два; но тут вмешался Керне:

— Не два, а один.

— Два! — крикнул кто-то. — Уговор был — два.

— Они ведь не выжали восемьсот фунтов, а только семьсот пятьдесят,

— возразил Керне.

Но Харниш, величественно махнув рукой, положил конец спорам:

— Чего вы всполошились? Эка важность — мешком больше, мешком меньше. Не выжму — так не выжму. Увязывайте.

Он влез на стулья, присел на корточки, потом медленно наклонился и взялся за веревку. Слегка изменив положение ног, он напряг мышцы, потянул мешки, снова отпустил, ища полного равновесия и наилучших точек опоры для своего тела.

Луи-француз, насмешливо глядя на его приготовления, крикнул:

— Жми, Время-не-ждет! Жми, как дьявол! Харниш начал не спеша напрягать мускулы — на этот раз уже не примеряясь, а готовый к жиму, — пока не собрал все силы своего великолепно развитого тела; и вот едва заметно огромная груда мешков весом в девятьсот фунтов медленно и плавно отделилась от пола и закачалась, как маятник, между его ногами.

Олаф Гендерсон шумно выдохнул воздух. Мадонна, невольно до боли напрягшая мышцы, глубоко перевела дыхание. Луи-француз сказал смиренно и почтительно:

— Браво! Я просто младенец перед тобой. Ты настоящий мужчина.

Харниш бросил мешки, спрыгнул на пол и шагнул к стойке.

— Отвешивай! — крикнул он, кидая весовщику свой мешочек с золотом, и тот пересыпал в него на четыреста долларов песку из мешочков Гендерсона и Луифранцуза.

— Идите все сюда! — обернулся Харниш к гостям. — Заказывайте выпивку! Платит победитель!

— Сегодня мой день! — кричал он десять минут спустя. — Я одинокий волк, волк-бродяга, и я пережил тридцать зим. Сегодня мне стукнуло тридцать лет, — сегодня мой праздник, и я любого положу на лопатки. А ну, подходите! Всех окуну в снег. Подходите, желторотые чечако и вы, бывалые старики, — все получите крещение!

Гости гурьбой повалили на улицу. В Тиволи остались только официанты и пьяные, во все горло распевавшие песни. У Макдональда, видимо, мелькнула смутная мысль, что не мешало бы поддержать свое достоинство, — он подошел к Харнишу и протянул ему руку.

— Что-о? Ты первый? — засмеялся тот и схватил кабатчика за руку, словно здороваясь с ним.

— Нет, нет, — поспешил заверить Макдональд, — я просто хочу поздравить тебя с днем рождения. Конечно, ты можешь повалить меня в снег. Что я такое для человека, который поднимает девятьсот фунтов!

Макдональд весил сто восемьдесят фунтов, и Харниш только держал его за руку, но достаточно было одного внезапного рывка, чтобы он потерял равновесие и ткнулся носом в снег. В несколько мгновений Харниш одного за другим повалил с десяток мужчин, стоявших подле него. Всякое сопротивление было бесполезно. Он швырял их направо и налево, они кубарем летели в глубокий мягкий снег и оставались лежать в самых нелепых позах. Звезды едва мерцали, и вскоре Харнишу трудно стало разбираться, кто уже побывал в его руках, а кто нет, и, раньше чем хвататься за очередную жертву, он ощупывал ей плечи и спину, проверяя, запорошены ли они снегом.

— Крещеный или некрещеный? — спрашивал он каждого, протягивая свои грозные руки.

Одни лежали распростертые в снегу, другие, поднявшись на колени, с шутовской торжественностью посыпали себе голову снегом, заявляя, что обряд крещения совершен. Но пятеро еще стояли на ногах; это были люди, прорубавшие себе путь в дремучих лесах Запада, готовые потягаться с любым противником даже в день его рождения.

Эти люди прошли самую суровую школу кулачных расправ в бесчисленных ожесточенных стычках, знали цену крови и поту, лишениям и опасностям; и все же им не хватало одного свойства, которым природа щедро наделила Харниша: идеально налаженной связи между нервными центрами и мускулатурой. Ни особой премудрости, ни заслуги его тут не было. Таким он родился. Нервы Харниша быстрее посылали приказы, чем нервы его противников. Мысль, диктовавшая действия, работала быстрее, сами мышцы с молниеносной быстротой повиновались его воле. Таков он был от природы. Мускулы его действовали, как сильно взрывчатые вещества. Рычаги его тела работали безотказно, точно стальные створки капкана. И вдобавок ко всему он обладал сверхсилой, какая выпадает на долю одного смертного из миллиона, — той силой, которая исчисляется не объемом ее, а качеством и зависит от органического превосходства самого строения мышц. Так стремительны были его атаки, что, прежде чем противник мог опомниться и дать отпор, атака уже достигала цели. Но застать его самого врасплох никому не удавалось, и он всегда успевал отразить нападение или нанести сокрушительный контрудар.

— Зря вы тут стоите, — обратился Харниш к своим противникам. — Лучше ложитесь сразу в снег — и дело с концом. Вы могли бы одолеть меня в любой другой день, но только не нынче. Я же вам сказал: нынче мой день рождения, и потому лучше со мной не связывайтесь. Это Пат Хэнрехен так смотрит на меня, будто ему не терпится получить крещение? Ну, выходи. Пат.

Пат Хэнрехен, бывший боксер, состязавшийся без перчаток, известный драчун и задира, вышел вперед. Противники схватились, и прежде чем ирландец успел шевельнуться, он очутился в тисках могучего полунельсона и полетел головой вперед в сугроб. Джо Хайнс, бывший лесоруб, так грузно рухнул наземь, словно свалился с крыши двухэтажного дома; Харниш, повернувшись спиной к Джо, искусным приемом бросил его через бедро раньше, чем тот успел занять позицию, — по крайней мере так уверял Джо Хайнс.

Все это Харниш проделывал, не испытывая ни малейшей усталости. Он не изматывал себя долгим напряжением. Все происходило с быстротой молнии. Огромный запас сил, таившийся в его мощном теле, взрывался мгновенно и внезапно, а в следующую секунду его мышцы уже отдыхали. Док Уотсон, седобородый богатырь с никому не ведомым прошлым, выходивший победителем из любой драки, свалился в снег от первого толчка: не успел он подобраться, готовясь к прыжку, как Харниш обрушился на него так стремительно, что Уотсон упал навзничь. Тогда Олаф Гендерсон, в свою очередь, попытался застать Харниша врасплох и кинулся на него сбоку, пока тот стоял наклонившись, протягивая Уотсону руку, чтобы Помочь ему подняться. Но Харниш, тотчас согнув колени, упал на руки, и Олаф, налетев на него, перекувырнулся и грохнулся оземь. Не дав ему опомниться, Харниш подскочил к нему, перевернул его на спину и стал усердно натирать ему снегом лицо и уши, засовывать снег пригоршнями за воротник.

— Силой я бы еще с тобой потягался, — пробормотал Олаф, вставая и отряхиваясь. — Но, черт тебя побери, такой хватки я еще не видел.

Последним из соперников был Луи-француз; наглядевшись на подвиги Харниша, он решил действовать осмотрительно. С минуту он примерялся и увертывался и только после этого схватился с ним; прошла еще минута, но ни один из противников не сумел добиться преимущества. И вот, когда зрители уже приготовились полюбоваться интересной борьбой, Харниш сделал едва приметное движение, привел в действие все рычаги и пружины своего тела и обрушил на противника свою богатырскую силу. Луи держался до тех пор, пока не захрустели суставы его могучего костяка, но все же, хоть и медленно, Харниш пригнул его к земле и положил на обе лопатки.

— Победитель платит! — закричал он, вскочив на ноги и первым врываясь в салун. — Вали, ребята, вали за мной!

Все выстроились в три ряда у длинной стойки, стряхивая иней с мокасин, — на дворе стоял шестидесятиградусный мороз Беттлз, один из самых отчаянных и бесшабашных старожилов Юкона, и тот перестал горланить песню про «целебный напиток» и, спотыкаясь, протиснулся к стойке, чтобы поздравить Харниша. Мало того — его вдруг обуяло желание сказать тост, и он заговорил громогласно и торжественно, как заправский оратор:

— Вот что я вам скажу: Время-не-ждет — мой закадычный друг, и я горжусь этим. Не раз мы с ним бывали на тропе, и я могу поручиться, что весь он, от мокасин до макушки, — червонное золото высшей пробы, черт бы побрал его паршивую шкуру! Пришел он в эту страну мальчишкой, на восемнадцатом году. В такие годы все вы были просто молокососами. Но только не он. Он сразу родился взрослым мужчиной. А в те времена, скажу я вам, мужчине нужно было постоять за себя. Тогда мы не знали такого баловства, какое сейчас завелось. — Беттлз прервал свою речь, чтобы помедвежьи облапить Харниша за шею. — В доброе старое время, когда мы с ним пришли на Юкон, никто не выдавал нам похлебку и нигде нас не потчевали даром. Мы жгли костры там, где случалось подстрелить дичь, а по большей части кормили нас лососевые следы и заячьи хвосты.

Услышав дружный взрыв хохота, Беттлз понял, что оговорился, и, выпустив из своих объятий Харниша, устремил свирепый взор на толпу.

— Смейтесь, козлы безрогие, смейтесь! А я вам прямо в глаза скажу, что самые лучшие из вас недостойны завязать ремни его мокасин. Прав я или нет, Кэмбл? Прав я или нет. Мак? Время-не-ждет из старой гвардии, настоящий бывалый юконец. А в ту пору не было ни пароходов, ни факторий, и мы, грешные, надеялись только на лососевые хвосты и заячьи следы. По

Фаренгейту.

Оратор торжествующе посмотрел на своих слушателей, а те наградили его аплодисментами и стали требовать, чтобы Харниш тоже произнес речь. Харниш кивнул в знак согласия. Притащили стул и помогли ему вскарабкаться на него. Он был так же пьян, как и все в этой толпе — необузданной толпе в дикарском одеянии: на ногах — мокасины или моржовые эскимосские сапоги, на шее болтались рукавицы, а наушники торчали торчком, отчего меховые шапки напоминали крылатые шлемы норманнов. Черные глаза Харниша сверкали от выпитого вина, смуглые щеки потемнели. Его приветствовали восторженными криками и шумными изъявлениями чувств. Харниш был тронут почти до слез, невзирая на то, что многие его поклонники еле ворочали языком. Но так вели себя люди спокон веков — пировали, дрались, дурачились, — будь то в темной первобытной пещере, вокруг костра скваттеров, во дворцах императорского Рима, в горных твердынях бароновразбойников, в современных многоэтажных отелях или в кабачках портовых кварталов. Таковы были и эти люди — строители империи в полярной ночи: хвастливые, хмельные, горластые, они спешили урвать несколько часов буйного веселья, чтобы хоть отчасти вознаградить себя за непрерывный героический труд. То были герои новой эпохи, и они ничем не отличались от героев минувших времен.

— По правде говоря, ребята, я понятия не имею, что бы вам такое сказать, — начал Харниш несколько смущенно, стараясь собраться с мыслями. — Вот что: я, пожалуй, расскажу вам одну историю. Когда-то у меня был товарищ в городе Джуно. Он приехал из Северной Каролины. От него-то я и слышал эту историю. На его родине, в горах, справляли свадьбу. Собрались, как водится, все родные и знакомые. Священник уже кончал обряд венчания и вдруг и говорит:

— Стало быть, кого Бог сосчитал, того человек да не разлучает.

— Ваше преподобие, — заявляет новобрачный, — вы не больно грамотно выражаетесь. А я желаю обвенчаться по всем правилам.

Когда дым рассеялся, невеста поглядела кругом и видит: лежит священник, лежит жених, брат, двое дядьев и пятеро свадебных гостей — все покойнички. Невеста этак тяжко вздохнула и говорит:

— А все эти новомодные многозарядные пистолеты. Здорово они мне подгадили.

— То же могу сказать и я, — продолжал Харниш, когда утих оглушительный хохот, — здорово подгадили мне четыре короля Джека Кернса. Я остался на мели и отправляюсь в Дайю…

— Бежишь? — крикнул кто-то из толпы.

Лицо Харниша на мгновение исказилось гневом, но тотчас же опять повеселело.

— Я так понимаю, что это просто шутка, — ответил он, широко улыбаясь. — Вы все хорошо знаете, что никуда я не убегу.

— А ну, побожись! — крикнул тот же голос.

— Пожалуйста. Я пришел сюда через Чилкутский перевал в восемьдесят третьем. Осенью я вернулся тем же путем. Ветер выл, пурга, а у меня только и было, что рваная рубаха да с чашку непросеянной муки. Зиму я проработал в Джуно, снарядился, а весной опять перевалил через Чилкут. И опять голод выгнал меня. Но когда наступила весна, я опять пришел сюда и порешил, что не уйду, пока не разбогатею. Так вот, я еще не разбогател, значит, и не уйду

отсюда. Я поеду за почтой — и сейчас же обратно. Даже не переночую в Дайе. Как только получу продовольствие и почту, сменю собак — и марш на перевал. И клянусь вам вратами ада и головой Иоанна Крестителя, ни за что я не уйду отсюда, пока не найду богатство, настоящее богатство!

— А сколько это, к примеру, настоящее богатство? — спросил Беттлз, нежно обнимая колени Харниша.

— Да, да, скажи, сколько? — послышалось со всех сторон.

Харниш крепче уперся ногами в сиденье стула и задумался.

— Четыре или пять миллионов, — медленно проговорил он; в ответ раздался громкий хохот, насмешливые возгласы. Харниш поднял руку: — Ну, ладно, не стану зарываться. Пусть будет для начала миллион. Но уж ни унцией меньше. Без этого я не уйду отсюда.

Снова со всех сторон посыпались насмешки. Не только все золото, добытое на Юконе, не стоило пяти миллионов, но еще не было случая, чтобы кто-нибудь нашел золота не то что на миллион, а хотя бы на сто тысяч долларов.

— Слушайте, что я вам скажу. Вы видели сейчас, как повезло Джеку Кернсу. А ведь до прикупа у него была слабая карта. Всего-то три паршивых короля. Но он чуял, что придет четвертый, непременно придет,

— и пришел. Так вот и я чую: скоро, очень скоро на Юконе начнутся большие дела. Не какие-нибудь пустячки вроде Лосиной реки или Березового ручья. Уж на этот раз счастье привалит по-настоящему! Помяните мое слово — долго его ждать не придется. Ничто его не остановит, пожалует прямо вверх по течению. Если пойдете по следам моих мокасин, там вы меня и найдете — гденибудь на Индейской реке, или на Стюарте, или на Клондайке. Как привезу почту, сразу пущусь туда, да так, что не догоните, только снег столбом взовьется. Будет там золото прямо под ногами. С каждой промывки будем снимать на сто долларов. А народу набежит до пятидесяти тысяч. Такой содом подымется — только держись!

Харниш поднес стакан ко рту.

— За ваше здоровье, ребята, и надеюсь всех вас увидеть там.

Он выпил вино и, соскочив со стула, снова очутился в медвежьих объятиях Беттлза.

— На твоем месте, Время-не-ждет, я бы нынче не пускался в путь, — сказал Джо Хайнс, выходивший на двор взглянуть на термометр. — Мороз крепчает. Уже шестьдесят два градуса, и, наверно, еще упадет. Лучше подожди, пока мороз отпустит.

Харниш засмеялся; засмеялись и старики, стоявшие подле него.

— Вот я и говорю — молокососы! — закричал Беттлз. — Чуть подморозит, уже пугаются. Плохо лее ты его знаешь! Неужто он побоится мороза?

— Так можно и легкие застудить, — возразил Хайнс.

— Чепуха! Ты, Хайнс, всего только три года здесь, еще не обжился. Я видел, как Время-не-ждет прошел пятьдесят миль по Койокуку за один день, а градусник показывал семьдесят два.

Хайнс неодобрительно покачал головой.

— Вот так и отмораживают легкие, — сказал он. — Надо подождать, когда потеплеет. Иначе не добраться ему до места. Он же едет без палатки, даже без полога.

Беттлз влез на стул; ноги плохо держали его, и, чтобы не упасть, он обнял Харниша за шею.

— До Дайи тысяча миль, — сказал он. — И почти весь путь — неезженная тропа. Но я побьюсь об заклад на что угодно с любым чечако, что Время-не-ждет за тридцать дней доберется до Дайи.

— Это выходит в среднем по тридцать три мили в день, — предостерег доктор Уотсон. — Я знаю, что это такое. Случись пурга у Чилкута — застрянешь на неделю.

— Так вот, — продолжал Беттлз. — Время-не-ждет сразу повернет обратно и опять проделает тысячу миль в тридцать дней. Ставлю на него пятьсот долларов, и наплевать на пургу!

В подкрепление своих слов он выхватил из-за пояса мешочек с золотом величиной с колбасный круг и швырнул его на стойку. Док Уотсон последовал примеру Беттлза.

— Стойте! — крикнул Харниш. — Беттлз прав, я тоже хочу поддержать его. Ставлю пятьсот долларов, что ровно через шестьдесят дней я подкачу с почтой к дверям Тиволи.

Толпа недоверчиво загудела, и с десяток мужчин взялись за свое золото. Джек Керне протиснулся поближе к Харнишу.

— Спорим, Время-не-ждет! — крикнул он. — Ставлю два против одного, что ты и в семьдесят пять дней не обернешься.

— Пожалуйста, без подачек, — отрезал Харниш. — Условия одни для всех. Сказано — шестьдесят дней.

— Семьдесят пять, — настаивал Керне. — Держу два против одного. У Пятидесятой Мили река уже вскроется, припай будет ненадежен.

— Деньги, что я тебе проиграл, твои, — возразил Харниш. — И не думай отдавать их мне обратно таким манером. Не стану я спорить с тобой и денег твоих не возьму. Но вот что я тебе скажу, Джек: сегодня счастье тебе улыбнулось; ну, а скоро оно улыбнется мне, и я отыграюсь. Вот погоди, когда начнется горячка. Тогдато у нас с тобой пойдет игра крупная, под стать настоящим мужчинам. Согласен?

Они пожали друг Другу руки.

— Он наверняка обернется в срок, — шепнул Керне на ухо Беттлзу. — Ставлю пятьсот долларов, что Времяне-ждет будет здесь через шестьдесят дней, — прибавил он громко.

Билли Роулинс ответил на пари, и Беттлз в полном восторге бросился обнимать Кернса.

— Черт возьми, и я хочу поспорить, — сказал Олаф Гендерсон, оттаскивая Харниша от Беттлза и Кернса.

— Платит победитель! — закричал Харниш, отвечая на пари Олафу. — А так как я непременно выиграю и раньше чем через шестьдесят дней мне пить не придется, то я плачу сейчас. Ну, валяйте, кому что? Заказывайте!

Беттлз, зажав в руке стакан с виски, опять взгромоздился на стул и, пошатываясь, затянул единственную песню, которую знал:

Генри Бичер совместно

С учителем школы воскресной

Дуют целебный напиток,

Пьют из бутылки простой;

Но можно, друзья, поклясться:

Нас провести не удастся,

Ибо в бутылке этой

Отнюдь не невинный настой!

Толпа подхватила припев:

Но можно, друзья, поклясться:

Нас провести не удастся,

Ибо в бутылке этой

Отнюдь не невинный настой!

Кто-то отворил входную дверь. Тусклый предутренний свет проник в комнату.

— Время не ждет, время не ждет, — раздался предостерегающий голос.

Элам Харниш сорвался с места и кинулся к двери, на ходу опуская наушники меховой шапки. За дверью стоял индеец Кама с нартами; нарты были узкие и длинные — шестнадцать дюймов в ширину, семь с половиной футов в длину; дно, сколоченное из планок, было поднято на шесть дюймов над обитыми железом полозьями. На нартах, привязанные ремнями из лосиной кожи, лежали холщовые тюки с почтой, продовольствие и снаряжение для погонщиков и собак. Впереди нарт, вытянувшись в один ряд, лежали, свернувшись, пять лаек с заиндевевшей шерстью — все как на подбор, очень крупные, серой масти. Внешним видом — от свирепой морды до пушистого хвоста — они ничем не отличались от волков. Да они и были волки — ручные, правда, но все же волки по виду и повадкам. Две пары охотничьих лыж были засунуты под ремни на самом верху нарт.

Беттлз показал на один тюк, из которого выглядывал угол заячьей полости.

— Это его постель, — сказал он. — Шесть фунтов заячьих шкурок. Никогда ничем теплее не укрывается. Провалиться мне на этом месте, я бы замерз под таким одеялом, хоть и не считаю себя неженкой. Но Время-неждет такой горячий, прямо геенна огненная!

— Не завидую этому индейцу, — заметил доктор Уотсон.

— Он загонит его насмерть, будьте покойны, — радостно подтвердил Беттлз. — Я-то знаю. Я бывал с ним на тропе. Никогда-то он не устает. Он даже и не понимает, что такое усталость. Он

может проходить целый день в мокрых носках при сорока пяти градусах мороза. Кому еще это под силу, кроме него?

Элам Харниш между тем прощался с обступившими его друзьями. Мадонна непременно хотела поцеловать его, и хоть винные пары туманили ему мозг, он все же сумел избежать опасности, — правда, он поцеловал Мадонну, но тут же расцеловался с тремя остальными женщинами. Потом он натянул длинные рукавицы, поднял собак и взялся за поворотный шест.

— Марш, красавцы мои! — крикнул он.

Собаки с веселым визгом мгновенно налегли на постромки, низко пригнувшись к земле и быстро перебирая лапами. Не прошло и двух секунд, как и Харнишу и Каме пришлось пуститься бегом, чтобы не отстать. И так, бегом, люди и собаки перемахнули через берег, спустились на скованное льдом русло Юкона и скрылись из глаз в сером сумраке.

Глава четвертая

По Юкону вела утоптанная тропа, прокладывать путь в снегу не нужно было, и собаки шли со скоростью шести миль в час. Харниш и Кама, не отставая, бежали наравне с собаками. Они сменяли друг друга, по очереди берясь за шест, потому что это была самая трудная часть работы — мчаться впереди быстро несущихся нарт и направлять их. Тот, кто, сменившись, бежал за нартами, иногда вскакивал на них, чтобы немного передохнуть.

Это была нелегкая работа, но зато веселая.

Они мчались по утоптанному снегу с предельной скоростью, пользуясь, пока возможно, наезженной дорогой. Они знали, что ждет их впереди: когда начнется сплошной снег, три мили в час и то будет хорошо. Тогда уж не ляжешь отдыхать на нарты, но и бежать нельзя будет. И управлять шестом легко — все равно что отдых; зато трудно придется тому, кто будет шагать впереди на коротких широких лыжах и прокладывать собакам путь по нетронутому снегу. Эта работа тяжелая, и ничего веселого в ней нет. А еще их ждут такие места, где нужно переваливать через торосы и, в лучшем случае, можно делать две мили в час. Не миновать и очень каверзных перегонов, правда, коротких, но там и миля в час потребует нечеловеческих усилий.

Кама и Харниш молчали. Напряженный труд не располагал к разговорам, да они и вообще не любили болтать на тропе. Изредка они обменивались односложными замечаниями, причем Кама обычно довольствовался ворчанием. Иногда собака взвизгнет или зарычит, но по большей части нарты двигались в полном безмолвии. Слышался только громкий лязг железных полозьев, скользивших по насту, да скрип деревянных саней.

Без всякого промежутка — точно сквозь стену прошел — Харниш перенесся из шумного, разгульного Тиволи в другой мир — мир безмолвия и покоя. Все замерло кругом. Река Юкон спала под трехфутовым ледяным покровом. Воздух был недвижим. Справа и слева на лесистых берегах, словно окаменевшие, стояли высокие ели, и снег, плотным слоем покрывавший ветви, не осыпался. В этой торжественной тишине единственной живой движущейся точкой были нарты, и резкий визг полозьев еще сильнее подчеркивал царившее кругом безмолвие.

Это был мертвый мир, мертвый и серый. Погода стояла ясная, сухая — ни тумана, ни мглистой дымки; и все же небо серым пологом простиралось над головой. Не тучи омрачали его, не было солнечного света, и потому день казался ненастным. Солнце подымалось к зениту далеко на юге, но между ним и скованным льдом Юконом изогнулся горб земного шара. Река была

окутана вечерними тенями, и самый свет дневной походил на долгие сумерки. Когда до полудня оставалось пятнадцать минут, в широком изгибе Юкона, где открывался вид на юг, над горизонтом показался верхний край солнечного диска. Но солнце не подымалось отвесно, оно двигалось наискосок, и в двенадцать часов нижний край его едва оторвался от линии горизонта. Это было угрюмое солнце, тусклое, без блеска. Оно не излучало тепла, и можно было, не щурясь, глядеть на него. Едва достигнув зенита, оно снова начало уходить по косой за горизонт, и уже в четверть первого Юкон и берега его снова оделись сумраком.

Люди и собаки неустанно мчались вперед. И Харниш и Кама обладали способностью дикарей утолять голод чем и когда придется: они могли наесться до отвала в один присест, но могли и обходиться много часов подряд без пищи. Собак кормили только один раз в день, и редко на долю каждой приходилось больше, нежели фунт вяленой рыбы. Они были очень голодны и в то же время в превосходной форме. Подобно своему предку — волку, они привыкли довольствоваться скудной пищей и в совершенстве усваивать ее. Ничто не пропадало даром. Малейшая частица корма превращалась в жизненную энергию. Таковы же были Харниш и Кама. Потомки закаленных в лишениях, выносливых праотцев, они сами показывали чудеса выносливости. Питание их было сведено до необходимого минимума. Им требовалось очень немного пищи, чтобы поддерживать свои недюжинные силы. Организм усваивал все без остатка. Человек, изнеженный городской жизнью, проводящий дни за письменным столом, исхудал бы и захирел от такого поста, но Харнишу и Каме это только прибавляло сил. Не в пример горожанину, они постоянно испытывали потребность в пище, легкий голод и поэтому могли насыщаться во всякое время. Они жадно утоляли голод любой подвернувшейся под руку пищей и не знали, что такое несварение желудка.

К трем часам пополудни долгие сумерки сгустились в вечерний мрак. В низко нависшем небе зажглись звезды, очень яркие и колючие, а люди и собаки без устали продолжали свой путь. И это не был подвиг одного дня, а только первый из шестидесяти таких дней. Бессонная ночь, проведенная в салуне за танцами и вином, видимо, никак не отразилась на Харнише. Тому были две причины: во-первых, его неистощимая жизнеспособность, и, во-вторых, такие ночи повторялись не часто. Опять-таки — человеку за письменным столом чашка кофе, выпитая на сон грядущий, повредила бы больше, чем Харнишу виски и танцы всю ночь напролет.

Харниш путешествовал без часов, он «чувствовал» ход времени, угадывал течение дня и ночи. Решив, что уже шестой час, он стал подыскивать место для стоянки. Тропа у изгиба Юкона сворачивала к другому берегу. Не найдя подходящего места, они пересекли реку, — она была шириной с милю, — но на полдороге наткнулись на торосы и с добрый час преодолевали препятствие. Наконец они добрались до берега, и тут-то Харниш сразу нашел то, что нужно: сухостойную сосну у самого края. Около нее и остановили нарты. Кама одобрительно заворчал, и оба дружно принялись за работу.

Разделение труда строжайше соблюдалось. Каждый знал, что должен делать. Харниш, вооружившись топором, срубил сосну. Кама при помощи второго топора и одной лыжи расчистил снег, на два фута покрывавший реку, и наколол льду для стряпни. Куском бересты разожгли костер, и Харниш принялся готовить обед, а индеец разгрузил нарты и выдал собакам по куску вяленой рыбы. Мешки с провизией он подвесил на деревья, чтобы лайки не могли достать до них. Потом он повалил молодую елочку, обрубил ветки и, утоптав снег подле костра, положил еловые ветки на утоптанное место. Затем он принес мешки, в которых хранилось сухое белье, носки и меховые одеяла. У Камы было два одеяла, у Харниша только одно.

Они трудились размеренно, молча, не теряя ни минуты даром. Каждый делал свое дело, не пытаясь переложить на другого хотя бы часть необходимой работы. Увидев, что льду для

стряпни не хватает, Кама пошел наколоть еще, а Харниш, заметив, что собаки опрокинули лыжу, водворил ее на место. Пока закипал кофе и жарилось сало, он замесил тесто и поставил на огонь большой котел с бобами. Кама, вернувшись, сел на край подстилки из еловых веток и принялся чинить упряжь.

— Скукум и Буга драться хотят, — заметил Кама, когда они сели обедать.

— Гляди в оба за ними, — ответил Харниш.

На этом разговор сотрапезников кончился. Один раз Кама вскочил, чертыхаясь, и, размахивая суком, разогнал дерущихся собак. Харниш то и дело подбрасывал кусочки льда в котел, где варились бобы. После обеда Кама подложил хворосту в костер, приготовил топливо на утро и, усевшись на еловые ветки, опять взялся за починку упряжи. Харниш нарезал толстые ломти сала и заправил кипевшие бобы. Несмотря на сильный мороз, их мокасины промокли от пота, и так как уже незачем было покидать оазис из еловых веток, они разулись и стали сушить мокасины перед огнем, надев их на палки и время от времени поворачивая. Когда бобы наконец сварились, Харниш набил ими холщовый мешок в полтора фута длиной и три дюйма шириной и положил его на снег, чтобы бобы замерзли. То, что осталось в котле, он приберег для завтрака.

В десятом часу они стали устраиваться на ночь. Усталые собаки давно прекратили драку и грызню и спали, свернувшись клубком и прикрывшись пушистыми волчьими хвостами. Кама расстелил свое одеяло и раскурил трубку, Харниш скрутил цигарку, — и тут между путниками состоялся второй за весь вечер разговор.

— Миль шестьдесят отмахали, — сказал Харниш.

— У-ум, отмахали, — ответил Кама.

Сменив парки, в которых они шли днем, на клетчатые суконные куртки, они с головой завернулись в заячий мех и мгновенно уснули. Звезды плясали и кувыркались в морозном воздухе, и многоцветные сполохи сходились и расходились по небу, точно лучи прожектора.

Харниш проснулся до света и разбудил Каму. Северное сияние еще пламенело на небе, но для путников уже начался новый день. Они позавтракали в темноте поджаренным салом и кофе, разогретыми лепешками и бобами. Собакам не дали ничего, и они грустно смотрели издали, сидя на задних лапах и обвив хвостом передние. Иногда они поднимали то одну, то другую лапу, словно ее сводило от холода. Мороз стоял лютый — было не меньше шестидесяти пяти градусов ниже нуля, и когда Кама запрягал собак, скинув рукавицы, ему пришлось несколько раз отогревать онемевшие пальцы у костра. Вдвоем они нагрузили и увязали нарты. В последний раз отогрев пальцы, они натянули рукавицы и погнали собак с берега вниз на тропу, проложенную по льду Юкона. Харниш считал, что уже около семи часов, но звезды все так же ярко сверкали, и слабые зеленоватые отсветы еще трепетали в небе.

Два часа спустя вдруг стало темно, так темно, что путники только чутьем угадывали тропу; и Харниш понял, что правильно определил время. Это была предрассветная тьма, которая нигде не ощущается столь отчетливо, как на Аляске, когда идешь по зимней тропе. Медленно, едва приметно редела тьма, и путники почти с удивлением увидели смутные очертания тропы, засеревшей у них под ногами. Потом из мрака выступили сначала коренник, затем вся упряжка и снежный покров по обе стороны тропы. На мгновение показался ближний берег и снова исчез, опять показался и уже больше не исчезал. Несколько минут спустя вдали замаячил противоположный берег, и наконец впереди и позади нарт их взору открылась вся

скованная льдом река, слева окаймленная длинной грядой зубчатых гор, покрытых снегом. И все. Солнце не взошло. Дневной свет остался серым.

В это утро дорогу им перебежала рысь под самым носом у головной лайки и скрылась в заснеженном лесу. В собаках мгновенно заговорил инстинкт хищников. Они завыли, точно волчья стая, почуявшая добычу, и стали рваться из упряжи. Харниш закричал на них, приналег на шест и опрокинул нарты в рыхлый снег. Собаки успокоились, нарты выровняли, и пять минут спустя они уже опять мчались вперед по твердой, утоптанной тропе.

За два дня пути они не видели на единого живого существа, кроме этой рыси, да и она так бесшумно скользнула на бархатных лапах и так быстро исчезла, что ее легко можно было принять за призрак.

В полдень солнце выглянуло из-за горизонта; они сделали привал и разложили небольшой костер на льду. Харниш топором нарубил куски замороженных бобов и положил их на сковороду. Когда бобы оттаяли и согрелись, Харниш и Кама позавтракали. Кофе варить не стали: Харниш считал, что время не ждет и нечего тратить его на такие роскошества. Собаки перестали грызться и с тоской поглядывали на костер. Лишь вечером получили они по фунту вяленой рыбы, а весь день работали натощак.

Мороз не ослабевал. Только человек железного здоровья и выносливости отваживался идти по тропе в такую стужу. Харниш и Кама, белый и индеец, оба были люди незаурядные; но Кама неминуемо должен был потерпеть поражение, потому что знал, что его спутник сильнее. Не то чтобы он сознательно работал с меньшим рвением или охотой, но он заранее признал себя побежденным. Он преклонялся перед Харнишем. Сам выносливый, молчаливый, гордый своей физической силой и отвагой, он все эти достоинства находил в своем спутнике. Этот белый в совершенстве умел делать все то, что, по мнению Камы, стоило уметь делать, и Кама, видя в нем полубога, невольно поклонялся ему, хотя ничем не выказывал этого. Неудивительно, думал Кама, что белые побеждают, если среди них родятся такие люди. Как может индеец тягаться с такой упрямой, стойкой породой людей? Даже индейцы не пускаются в путь, когда стоит такой мороз, хотя они владеют мудростью, унаследованной от тысяч минувших поколений; а этот Харниш, пришелец с изнеженного Юга, — он и сильнее их и крепче; он смеется над их страхами и как ни в чем не бывало идет по тропе и десять и двенадцать часов в сутки. Но напрасно он думает, что можно делать по тридцать три мили в течение шестидесяти дней. Вот повалит снег, или придется прокладывать тропу, или они наткнутся на непрочный лед вокруг полыньи

— тогда увидит!

А пока что Кама трудился наравне с Харнишем, не жалуясь, не увиливая от дела. Когда градусник показывает шестьдесят пять ниже нуля, — это очень сильный мороз. Ведь точка замерзания воды по Фаренгейту — тридцать два градуса выше нуля; значит, шестьдесят пять градусов ниже нуля — это девяносто семь градусов мороза. Что это значит, можно понять, если вместо мороза вообразить себе жару. Сто двадцать девять выше нуля — это очень жаркая погода, но это всего только девяносто семь, а не сто двадцать девять градусов тепла. Если вникнуть в то, что при низкой температуре тридцать два градуса не вычитаются, а прибавляются, можно составить себе понятие о том, в какой трескучий мороз Кама и Харниш путешествовали от темна до темна и в самую тьму.

Кама отморозил щеки, сколько ни растирал их, и они покрылись черными язвами. К тому же ему морозом прихватило верхушки легких, что уже не шутка, — именно эта опасность прежде всего грозит тому, кто надрывается под открытым небом при шестидесяти пяти градусах ниже

нуля. Но Кама не жаловался, а Харниша никакой мороз не брал, и ночью ему было так же тепло под шестью фунтами заячьего меха, как Каме под двенадцатью.

На вторую ночь пути, покрыв за день пятьдесят миль, они расположились подле канадской границы. Весь остальной путь, за исключением последнего короткого перегона до Дайи, пролегал по территории Канады. Харниш рассчитывал достигнуть Сороковой Мили к вечеру четвертого дня, если тропа будет накатанная и не выпадет снег. Он так и сказал Каме. Но на третий день немного потеплело, и они поняли, что недолго ждать снегопада, потому что на Юконе снег идет только при потеплении. Вдобавок в этот день им пришлось одолевать десять миль торосов, сотни раз они на руках перетаскивали нагруженные нарты через огромные ледяные глыбы. Здесь собаки были почти бесполезны, они только зря замучились, замучились и люди. В этот вечер они прошли лишний час, чтобы хоть отчасти наверстать потерянное время.

Проснувшись наутро, они увидели, что их одеяла на десять дюймов засыпаны снегом. Собаки зарылись в снег и не проявляли ни малейшего желания вылезти из теплой норы. Свежевыпавший снег сулил тяжелую дорогу: нарты уже не будут скользить быстро и легко, а людям придется по очереди идти впереди упряжки и лыжами уминать снег, чтобы лайки не увязали в нем. Этот снег ничуть не похож на тот, который известен жителям Юга. Он твердый, мелкий и сухой, совсем как сахар. Если подбросить его ногой, он взлетает в воздух со свистом, точно песок. Из него нельзя лепить снежки, потому что он состоит не из хлопьев, которые можно плотно скатать, а из кристаллов — крохотных геометрически правильных кристалликов. В сущности, это вовсе и не снег, а иней.

Сильно потеплело, было всего лишь двадцать градусов ниже нуля, и путники обливались потом, несмотря на то, что подняли наушники и скинули рукавицы. До Сороковой Мили они добрались только на другой день, но и там Харниш не остановился передохнуть, — он забрал почту и продовольствие и немедленно отправился дальше. Назавтра, после полудня, они сделали привал в устье реки Клондайк. За последние сутки они не встретили ни души и сами прокладывали тропу по снегу. Никто еще в эту зиму не спускался южнее Сороковой Мили, и легко могло случиться, что Харниш и Кама окажутся единственными за весь год путниками на проложенной ими тропе. В те времена на Юконе было безлюдно. Между рекой Клондайк и поселком Дайя. У Соленой Воды на шестьсот миль раскинулась снежная пустыня, и было только два пункта, где Харниш мог надеяться увидеть живых людей: две фактории — Шестидесятая Миля и Форт-Селкерк. В летние месяцы можно было встретить индейцев в устьях рек Стюарт и Белой, у Большого и Малого Лосося и на берегах озера Ле-Барж; но теперь, среди зимы, индейцы, конечно, ушли в горы на охоту за лосями.

В тот вечер, когда они сделали привал в устье Клондайка, Харниш, закончив работу, не сразу лег спать. Если бы с ним был кто-нибудь из его белых приятелей, он сказал бы ему, что «нюхом чует» богатство. Оставив на стоянке Каму, который забылся тяжелым сном под двойным слоем заячьих шкур, и собак, свернувшихся в снегу, он надел лыжи и взобрался на высокий берег, за которым начиналась широкая терраса. Но ели росли здесь так густо, что мешали оглядеться по сторонам, и он пересек террасу и немного поднялся по крутому склону горы, замыкающей ее. Отсюда ему виден был Клондайк, впадающий под прямым углом с востока в Юкон, и величавый изгиб к югу самого Юкона. Слева» ниже по течению, в сторону Лосиной горы, под яркими звездами белела река, которую лейтенант Шватка назвав Белой. Но Харниш увидел ее задолго до того, как этот бесстрашный исследователь Арктики перевалил через Чилкут и поплыл на плоту вниз по Юкону.

Однако Харниш не глядел на горные склоны. Взор его привлекала обширная терраса: вдоль всего ее края река была достаточно глубока для причала судов.

— Подходящее местечко, ничего не скажешь, — пробормотал он. — Здесь можно построить город на сорок тысяч жителей. Дело за малым — найти золото. — С минуту он раздумывал. — Ежели выйдет десять долларов с каждой промывки, и то хорошо. Такая будет золотая горячка, какой Аляска еще не видала! А если здесь не найдется, то где-нибудь поблизости. Надо всю дорогу приглядываться к местности, выбирать — где можно заложить город.

Он еще постоял, глядя на пустынную террасу, и воображение рисовало ему заманчивые картины близкого будущего — если его надежды оправдаются. Он мысленно расставлял лесопильни, торговые помещения, салуны, кабаки, длинные ряды жилищ золотоискателей. По улицам взад и вперед снуют тысячи прохожих, а у дверей лавок стоят тяжелые сани с товаром и длинные упряжки собак. И еще он видел, как эти сани мчатся по главной улице и дальше, по замерзшему Клондайку, к воображаемому золотому прииску.

Харниш засмеялся, тряхнул головой, отгоняя видения, спустился под гору и вернулся к своей стоянке. Через пять минут после того, как он улегся, он открыл глаза и от удивления даже сел на постели: почему это он не спит? Он глянул на индейца, лежавшего рядом, на подернутые золой гаснущие угли, на пятерых собак, свернувшихся поодаль, прикрыв морду волчьим хвостом, и на четыре охотничьи лыжи, торчком стоявшие в снегу.

— Черт знает что! — проворчал он. — Покоя мне нет от моего нюха. — Ему вспомнился покер в Тиволи. — Четыре короля! — Он прищелкнул языком и усмехнулся. — Уж и нюх, ничего не скажешь!

Он опять улегся, натянул одеяло на голову поверх ушанки, подоткнул его вокруг шеи, закрыл глаза и тут же уснул.

Глава пятая

На Шестидесятой Миле они пополнили запас продовольствия, прихватили несколько фунтов почты и опять тронулись в путь. Начиная с Сороковой Мили они шли по неутоптанному снегу, и такая же дорога предстояла им до самой Дайи. Харниш чувствовал себя превосходно, но Кама явно терял силы. Гордость не позволяла ему жаловаться, однако он не мог скрыть своего состояния. Правда, у него омертвели только самые верхушки легких, прихваченные морозом, но Каму уже мучил сухой, лающий кашель. Каждое лишнее усилие вызывало приступ, доводивший его почти до обморока. Выпученные глаза наливались кровью, слезы текли по щекам. Достаточно было ему вдохнуть чад от жареного сала, чтобы на полчаса забиться в судорожном кашле, и он старался не становиться против ветра, когда Харниш стряпал.

Так они шли день за днем, без передышки, по рыхлому, неутоптанному снегу. Это был изнурительный, однообразный труд, — не то что весело мчаться по укатанной тропе. Сменяя друг друга, они по очереди расчищали собакам путь шириной в ярд, уминая снег короткими плетеными лыжами. Лыжи уходили в сухой сыпучий снег на добрых двенадцать дюймов. Тут требовалась совсем иная работа мышц, нежели при обыкновенной ходьбе: нельзя было, подымая ногу, в то же время переставлять ее вперед; приходилось вытаскивать лыжу вертикально. Когда лыжа вдавливалась в снег, перед ней вырастала отвесная стена высотой в двенадцать дюймов. Стоило, подымая ногу, задеть эту преграду передком лыжи, и он погружался в снег, а узкий задний конец лыжи ударял лыжника по икре. Весь долгий день пути перед каждым шагом нога подымалась под прямым углом на двенадцать дюймов, и только после этого можно было разогнуть колено и переставить ее вперед.

По этой более или менее протоптанной дорожке следовали собаки, Харниш (или Кама), держась за поворотный шест и нарты. Несмотря на всю свою исполинскую силу и

выносливость, они, как ни бились, в лучшем случае проходили три мили в час. Чтобы наверстать время и опасаясь непредвиденных препятствий, Харниш решил удлинить суточный переход — теперь они шли по двенадцать часов в день. Три часа требовалось на устройство ночлега и приготовление ужина, на утренний завтрак и сборы, на оттаивание бобов во время привала в полдень; девять часов оставалось для сна и восстановления сил. И ни люди, ни собаки не склонны были тратить впустую эти драгоценные часы отдыха.

Когда они добрались до фактории Селкерк близ реки Пелли, Харниш предложил Каме остаться там и подождать, пока он вернется из Дайи. Один индеец с озера Ле-Барж, случайно оказавшийся в фактории, соглашался заменить Каму. Но Кама был упрям. В ответ на предложение Харниша он только обиженно проворчал что-то. Зато упряжку Харниш сменил, оставив загнанных лаек до своего возвращения, и отправился дальше на шести свежих собаках.

Накануне они добрались до Селкерка только к десяти часам вечера, а уже в шесть утра тронулись в путь; почти пятьсот миль безлюдной пустыни отделяли Селкерк от Дайи. Мороз опять усилился, но это дела не меняло — тепло ли, холодно ли, идти предстояло по нехоженой тропе. При низкой температуре стало даже труднее, потому что кристаллики инея, словно крупинки песку, тормозили движения полозьев. При одной и той же глубине снега собакам тяжелее везти нарты в пятидесятиградусный мороз, чем в двадцати-тридцатиградусный. Харниш продлил дневные переходы до тринадцати часов. Он ревниво берег накопленный запас времени, ибо знал, что впереди еще много миль трудного пути.

Опасения его оправдались, когда они вышли к бурной речке Пятидесятой Мили: зима еще не устоялась, и во многих местах реку не затянуло льдом, а припай вдоль обоих берегов был ненадежен. Попадались и такие места, где ледяная кромка не могла образоваться из-за бурного течения у крутых берегов. Путники сворачивали и петляли, перебираясь то на одну, то на другую сторону; иногда им приходилось раз десять примеряться, пока они находили способ преодолеть особенно опасный кусок пути. Дело подвигалось медленно. Ледяные мосты надо было испытать, прежде чем пускаться по ним; либо Харниш, либо Кама выходил вперед, держа на весу длинный шест. Если лыжи проваливались, шест ложился на края полыньи, образовавшейся под тяжестью тела, и можно было удержаться на поверхности, цепляясь за него. На долю каждого пришлось по нескольку таких купаний. При пятидесяти градусах ниже нуля промокший до пояса человек не может продолжать путь без риска замерзнуть; поэтому каждое купание означало задержку. Выбравшись из воды, нужно было бегать взад и вперед, чтобы поддержать кровообращение, пока непромокший спутник раскладывал костер; потом, переодевшись во все сухое, мокрую одежду высушить перед огнем — на случай нового купания.

В довершение всех бед по этой беспокойной реке слишком опасно было идти в потемках и пришлось ограничиться шестью часами дневного сумрака. Дорога была каждая минута, и путники пуще всего берегли время. Задолго до тусклого рассвета они подымались, завтракали, нагружали нарты и впрягали собак, а потом дожидались первых проблесков дня, сидя на корточках перед гаснущим костром. Теперь они уже не останавливались в полдень, чтобы поесть. Они сильно отстали от своего расписания, и каждый новый день пути поглощал сбереженный ими запас времени. Бывали дни, когда они покрывали всего пятнадцать миль, а то и вовсе двенадцать. А однажды случилось так, что они за два дня едва сделали девять миль, потому что им пришлось три раза сворачивать с русла реки и перетаскивать нарты и поклажу через горы.

Наконец они покинули грозную реку Пятидесятой Мили и вышли к озеру Ле-Барж. Здесь не было ни открытой воды, ни торосов. На тридцать с лишним миль ровно, словно скатерть, лежал снег вышиной в три фута, мягкий и сыпучий, как мука. Больше трех миль в час им не удавалось

пройти, но Харниш на радостях, что Пятидесятая Миля осталась позади, шел в тот день до позднего вечера. Озера они достигли в одиннадцать утра; в три часа пополудни, когда начал сгущаться мрак полярной ночи, они завидели противоположный берег; зажглись первые звезды, и Харниш определил по ним направление; к восьми часам вечера, миновав озеро, они вошли в устье реки Льюис. Здесь они остановились на полчаса — ровно на столько, сколько понадобилось, чтобы разогреть мерзлые бобы и бросить собакам добавочную порцию рыбы. Потом они пошли дальше по реке и только в час ночи сделали привал и улеглись спать.

Шестнадцать часов подряд шли они по тропе в тот день; обессиленные собаки не грызлись между собой и даже не рычали, Кама заметно хромал последние мили пути, но Харниш в шесть утра уже снова был на тропе. К одиннадцати они достигли порогов Белой Лошади, а вечером расположились на ночлег уже за Ящичным ущельем; теперь все трудные речные переходы были позади, — впереди их ждала цепочка озер.

Харниш и не думал сбавлять скорость. Двенадцать часов — шесть в сумерках, шесть в потемках — надрывались они на тропе. Три часа уходило на стряпню, починку упряжи, на то, чтобы стать лагерем и сняться с лагеря; оставшиеся девять часов собаки и люди спали мертвым сном. Могучие силы Камы не выдержали. Изо дня в день нечеловеческое напряжение подтачивало их.

Изо дня в день истощался их запас. Мышцы его потеряли упругость, он двигался медленней, сильно прихрамывая. Но он не сдавался, стоически продолжал путь, не увиливая от дела, без единой жалобы. Усталость сказывалась и на Харнише; он похудел и осунулся, но по-прежнему в совершенстве владел своим безотказно, словно машина, действующим организмом и шел вперед, все вперед, не щадя ни себя, ни других. В эти последние дни их похода на юг измученный индеец уже не сомневался, что Харниш полубог: разве обыкновенный человек может обладать столь несокрушимым упорством?

Настал день, когда Кама уже не в состоянии был идти впереди нарт, прокладывая тропу; видимо, силы его истощились, если он позволил Харнишу одному нести этот тяжелый труд в течение всего дневного перехода. Озеро за озером прошли они всю цепь от Марша до Линдермана и начали подыматься на Чилкут. По всем правилам Харнишу следовало к концу дня сделать привал перед последним подъемом; но он, к счастью, не остановился и успел спуститься к Овечьему Лагерю, прежде чем на перевале разбушевалась пурга, которая задержала бы его на целые сутки.

Этот последний непосильный переход доконал Каму.

Наутро он уже не мог двигаться. Когда Харниш в пять часов разбудил его, он с трудом приподнялся и, застонав, опять повалился на еловые ветки. Харниш один сделал всю работу по лагерю, запряг лаек и, закончив сборы, завернул обессиленного индейца во все три одеяла, положил его поверх поклажи на нарты — и привязал ремнями. Дорога была легкая, цель близка, — Харниш быстро гнал собак по каньону Дайя и по наезженной тропе, ведущей к поселку. Кама стонал, лежа на нартах; Харниш бежал изо всех сил, держась за шест, делая огромные скачки, чтобы не попасть под полозья, собаки мчались во всю прыть — так они въехали в Дайю у Соленой Воды.

Верный данному слову, Харниш не остановился в Дайе. За один час он погрузил почту и продовольствие, запряг новых лаек и нашел нового спутника. Кама не произнес ни слова до той самой минуты, когда Харниш, готовый к отъезду, подошел к нему проститься. Они пожали друг другу руки.

— Ты убьешь этого несчастного индейца, — сказал Кама. — Ты это знаешь, Время-не-ждет? Убьешь его.

— Ничего, до Нелли продержится, — усмехнулся Харниш.

Кама с сомнением покачал головой и в знак прощания повернулся спиной к Харнишу.

Несмотря на темноту и густо поваливший снег, Харниш в тот же день перевалил через Чилкут и, спустившись на пятьсот футов к озеру Кратер, остановился на ночлег. Пришлось обойтись без костра, — лес еще был далеко внизу, а Харниш не пожелал нагружать нарты топливом. В эту ночь их на три фута засыпало снегом, и после того, как они в утреннем мраке выбрались из-под него, индеец попытался бежать. Он был сыт по горло, — кто же станет путешествовать с сумасшедшим? Но Харниш уговорил, вернее

— заставил его остаться на посту, и они отправились дальше, через Голубое озеро, через Длинное озеро, к озеру Линдермай.

Обратный путь Харниш проделал с той же убийственной скоростью, с какой добирался до цели, а его новый спутник не обладал выносливостью Камы. Но и он не жаловался и больше не делал попыток бежать. Он усердно трудился, стараясь изо всех сил, но про себя решил никогда» больше не связываться с Харнишем. Дни шли за днями, мрак сменялся сумерками, лютый мороз чередовался со снегопадом, а они неуклонно двигались вперед долгими переходами, оставляя позади мили и мили.

Но на Пятидесятой Миле приключилась беда. На ледяном мосту собаки провалились, и их унесло под лед. Постромки лопнули, и вся упряжка погибла, остался только коренник. Тогда Харниш вместе с индейцем впрягся в нарты. Но человек не может заменить собаку в упряжке, тем более двое людей — пятерых собак. Уже через час Харниш начал освобождаться от лишнего груза. Корм для собак, запасное снаряжение, второй топор полетели в снег. На другой день выбившаяся из сил собака растянула сухожилие. Харниш пристрелил ее и бросил нарты. Он взвалил себе на спину сто шестьдесят фунтов — почту и продовольствие, а индейца нагрузил ста двадцатью пятью. Все прочее было безжалостно оставлено на произвол судьбы. Индеец с ужасом смотрел на то, как Харниш бережно укладывал пачки никому не нужных писем и выбрасывал бобы, кружки, ведра, миски, белье и одежду. Оставлено было только каждому по одеялу, один топор, жестяное ведерко и скудный запас сала и муки. Сало в крайнем случае можно есть и сырым, а болтушка из муки и горячей воды тоже поддерживает силы. Даже с ружьем и патронами пришлось расстаться.

Так они покрыли расстояние в двести миль до Селкерка. Они шли с раннего утра до позднего вечера, — ведь теперь незачем было располагаться лагерем для стряпни и кормления собак. Перед сном, завернувшись в заячьи одеяла, они садились у маленького костра, хлебали болтушку и разогревали куски сала, нацепив их на палочки; а утром молча подымались в темноте, взваливали на спину поклажу, прилаживали головные ремни и трогались в путь. Последние мили до Селкерка Харниш шел позади своего спутника и подгонял его; от индейца одна тень осталась — щеки втянуло, глаза ввалились, и если бы не понукание Харниша, он лег бы на снег и уснул или сбросил свою ношу.

В Селкерке Харниша ждала его первая упряжка собак, отдохнувшая, в превосходной форме, и в тот же день он уже утаптывал снег и правил шестом, а сменял его тот самый индеец с озера Ле-Барж, который предлагал свои услуги, когда Харниш был на пути в Дайю. Харниш опаздывал против расписания на два дня, и до Сороковой Мили он не наверстал их, потому что валил снег и дорога была не укатана. Но дальше ему повезло. Наступала пора сильных

морозов, и Харниш пошел на риск: уменьшил запас продовольствия и корма для собак. Люди на Сороковой Миле неодобрительно качали головой и спрашивали, что он станет делать, если снегопад не прекратится.

— Будьте покойны, я чую мороз, — засмеялся Харниш и погнал собак по тропе.

За эту зиму уже много нарт прошло туда и обратно между Сороковой Милей и Серклом — тропа была хорошо наезжена. Надежды на мороз оправдались, а до Серкла оставалось всего двести миль. Индеец с озера Ле-Барж был молод, он еще не знал предела своих сил, и поэтому его переполняла гордая уверенность в себе. Он с радостью принял предложенный Харнишем темп и поначалу даже мечтал загнать своего белого спутника. Первые сто миль он зорко приглядывался к нему, ища признаков усталости, и с удивлением убедился, что их нет. Потом он стал замечать эти признаки в себе и, растиснув зубы, решил не сдаваться. А Харниш мчался и мчался вперед, то правя шестом, то отдыхая, растянувшись на нартах. Последний день выдался на редкость морозный и ясный, идти было легко, и они покрыли семьдесят миль. В десять часов вечера собаки вынесли нарты на берег и стрелой полетели по главной улице Серкла; а молодой индеец, хотя был его черед отдыхать, спрыгнул с нарт и побежал следом. Это было бахвальство, но бахвальство достойное, и хоть он уже знал, что есть предел его силам и они вот-вот изменят ему, бежал он бодро и весело.

Глава шестая

Салун Тиволи был переполнен; там собрались все те, кто провожал Харниша два месяца назад; настал вечер шестидесятого дня, и шли жаркие споры о том, выполнит он свое обещание или нет. В десять часов все еще заключались пари, хотя число желающих ставить на успех Харниша с каждой минутой уменьшалось. Мадонна, в глубине души уверенная, что игра проиграна, тем не менее поспорила с Чарли Бэйтсом — двадцать унций против сорока, — что Харниш явится еще до полуночи.

Она первая услышала тявканье собак.

— Слышите? — крикнула она. — Вот он!

Все бросились к выходу. Но когда широкая двухстворчатая дверь распахнулась, толпа отпрянула. Послышалось щелканье бича, окрики Харниша, и усталые собаки, собрав последние силы, радостно повизгивая, протащили нарты по деревянному полу. Упряжка ворвалась в комнату с хода, и вместе с ней ворвался клубящийся поток морозного воздуха, так плотно окутавший белым паром головы и спины собак, что казалось, они плывут по реке. Позади собак, держась за шест, вбежал в комнату Харниш в облаке крутящегося пара, закрывавшего его ноги до колен.

Харниш был такой же, как всегда, только похудевший и осунувшийся, а его черные глаза сверкали еще ярче обычного. Парка с капюшоном, падавшая прямыми складками ниже колен, придавала ему сходство с монахом вся в грязи, прокопченная и обгорелая у лагерного костра, она красноречиво свидетельствовала о трудности проделанного пути. За два месяца у него выросла густая борода, и сейчас ее покрывала ледяная корка, образовавшаяся от его дыхания за время последнего семидесятимильного перегона.

Появление Харниша произвело потрясающий эффект, и он отлично понимал это. Вот это жизнь! Такой он любил ее, такой она должна быть. Он чувствовал свое превосходство над товарищами, знал, что для них он подлинный герой Арктики. Он гордился этим, и ликующая радость охватывала его при мысли, что вот он, проделав две тысячи миль, прямо со снежной

тропы въехал в салун с лайками, нартами, почтой, индейцем, поклажей и прочим. Он совершил еще один подвиг. Он — Время-не-ждет, король всех путников и погонщиков собак, и имя его еще раз прогремит на весь Юкон.

Он с радостным изумлением слушал приветственные крики толпы и приглядывался к привычной картине, какую являл в этот вечер Тиволи: длинная стойка с рядами бутылок, игорные столы, пузатая печка, весовщик и весы для золотого песка, музыканты, посетители и среди них три женщины — Мадонна, Селия и Нелли; вот Макдональд, Беттлз, Билли Роулинс, Олаф Гендерсон, доктор Уотсон и остальные. Все было в точности так, как в тот вечер, когда он покинул их, словно он и не уезжал никуда. Шестьдесят дней непрерывного пути по белой пустыне вдруг выпали из его сознания, они сжались в одно-единственное краткое мгновение. Отсюда он ринулся в путь, пробив стену безмолвия, — и сквозь стену безмолвия, уже в следующий миг, опять ворвался в шумный, многолюдный салун.

Если бы не мешки с почтой, лежавшие на нартах, он, пожалуй, решил бы, что только во сне прошел две тысячи миль по льду в шестьдесят дней. Как в чаду, пожимал он протянутые к нему со всех сторон руки. Он был на верху блаженства. Жизнь прекрасна. Она всем хороша. Горячая любовь к людям переполняла его. Все здесь добрые друзья, братья по духу. Как это чудесно! Горло сжималось у него от волнения, сердце таяло в груди, и он страстно желал всем сразу пожать руку, заключить всех в одно могучее объятие.

Он глубоко перевел дыхание и крикнул:

— Победитель платит, а победитель — я! Валяйте вы, хвостатые, лопоухие, заказывайте зелье! Получайте свою почту из Дайи, прямехонько с Соленой Воды, без обмана! Беритесь за ремни, развязывайте!

С десяток пар рук одновременно схватились за ремни; молодой индеец с озера Ле-Барж, тоже нагнувшийся над нартами, вдруг выпрямился. Лицо его выражало крайнее удивление. Он растерянно озирался, недоумевая, что же с ним приключилось. Никогда еще не испытывал он ничего подобного и не подозревал, что такое может произойти с ним. Он весь дрожал, как в лихорадке, колени подгибались; он стал медленно опускаться, потом сразу рухнул и остался лежать поперек нарт, впервые в жизни узнав, что значит потерять сознание.

— Малость устал, вот и все, — сказал Харниш. — Эй, кто-нибудь, подымите его и уложите в постель. Он молодец, этот индеец.

— Так и есть, — сказал доктор Уотсон после минутного осмотра. — Полное истощение сил.

О почте позаботились, собак водворили на место и накормили. Беттлз затянул песню про «целебный напиток», и все столпились у стойки, чтобы выпить, поболтать и рассчитаться за пари.

Не прошло и пяти минут, как Харниш уже кружился в вальсе с Мадонной. Он сменил дорожную парку с капюшоном на меховую шапку и суконную куртку, сбросил мерзлые мокасины и отплясывал в одних носках. На исходе дня он промочил ноги до колен и так и не переобулся, и его длинные шерстяные носки покрылись ледяной коркой. Теперь, в теплой комнате, лед, понемногу оттаивая, начал осыпаться. Осколки льда гремели вокруг его быстро мелькающих ног, со стуком падали на пол, о них спотыкались другие танцующие. Но Харнишу все прощалось. Он принадлежал к числу тех немногих, кто устанавливал законы в этой девственной стране и вводил правила морали; его поведение служило здесь мерилом добра и зла; сам же он был выше всяких законов. Есть среди смертных такие общепризнанные

избранники судьбы, которые не могут ошибаться. Что бы он ни делал — все хорошо, независимо от того, разрешается ли так поступать другим. Конечно, эти избранники потому и завоевывают общее признание, что они — за редким исключением — поступают правильно, и притом лучше, благороднее, чем другие. Так, Харниш, один из старейших героев этой молодой страны и в то же время чуть ли не самый молодой из них, слыл существом особенным, единственным в своем роде, лучшим из лучших. И неудивительно, что Мадонна, тур за туром самозабвенно кружась в его объятиях, терзалась мыслью, что он явно не видит в ней ничего, кроме верного друга и превосходной партнерши для танцев. Не утешало ее и то, что он никогда не любил ни одной женщины. Она истомилась от любви к нему, а он танцевал с ней так же, как танцевал бы с любой другой женщиной или даже с мужчиной, лишь бы тот умел танцевать и обвязал руку повыше локтя носовым платком, чтобы все знали, что он изображает собой даму.

В тот вечер Харниш танцевал с одной из таких «дам».

Как издавна повелось на Диком Западе, и здесь среди прочих развлечений часто устраивалось своеобразное состязание на выдержку: кто кого перепляшет; и когда Бен Дэвис, банкомет игры в «фараон», повязав руку пестрым платком, обхватил Харниша и закружился с ним под звуки забористой кадрили, все поняли, что состязание началось. Площадка мгновенно опустела, все танцующие столпились вокруг, с напряженным вниманием следя глазами за Харнишем и Дэвисом, которые в обнимку неустанно кружились, еще и еще, все в том же направлении. Из соседней комнаты, побросав карты и оставив недопитые стаканы на стойке, повалила толпа посетителей и тесно обступила площадку. Музыканты нажаривали без устали, и без устали кружились танцоры. Дэвис был опытный противник, все знали, что на Юконе ему случалось побеждать в таком поединке и признанных силачей. Однако уже через несколько минут стало ясно, что именно он, а не Харниш потерпит поражение.

Они сделали еще два-три тура, потом Харниш внезапно остановился, выпустил своего партнера и попятился, шатаясь, беспомощно размахивая руками, словно ища опоры в воздухе. Дэвис, с застывшей, растерянной улыбкой, покачнулся, сделал полуоборот, тщетно пытаясь сохранить равновесие, и растянулся на полу. А Харниш, все еще шатаясь и хватая воздух руками, уцепился за стоявшую поблизости девушку и закружился с ней в вальсе. Опять он совершил подвиг: не отдохнув после двухмесячного путешествия по льду, покрыв в этот день семьдесят миль, он переплясал ничем не утомленного противника, и не кого-нибудь, а Бена Дэвиса.

Харниш любил занимать первое место, и хотя в его тесном мирке таких мест было немного, он, где только возможно, добивался наипервейшего. Большой мир никогда не слыхал его имени, но здесь, на безмолвном необозримом Севере, среди белых индейцев и эскимосов, оно гремело от Берингова моря до перевала Чилкут, от верховьев самых отдаленных рек до мыса Барроу на краю тундры. Страсть к господству постоянно владела им, с кем бы он ни вступал в единоборство — со стихиями ли, с людьми, или со счастьем в азартной игре. Все казалось ему игрой, сама жизнь, все проявления ее. А он был игрок до мозга костей. Без азарта и риска он не мог бы жить. Правда, он не полностью уповал на слепое счастье, он помогал ему, пуская в ход и свой ум, и ловкость, и силу; но превыше всего он все-таки чтил всемогущее Счастье — своенравное божество, что так часто обращается против своих самых горячих поклонников, поражает мудрых и благодетельствует глупцам, — Счастье, которого от века ищут люди, мечтая подчинить его своей воле. Мечтал и он. В глубине его сознания неумолчно звучал искушающий голое самой жизни, настойчиво твердившей ему о своем могуществе, о том, что он может достигнуть большего, нежели другие, что ему суждено победить там, где они терпят поражение, преуспеть там, где их ждет гибель. То была самовлюбленная жизнь, гордая избытком здоровья и сил, отрицающая бренность и тление, опьяненная святой верой в себя, зачарованная своей дерзновенной мечтой.

И неотступно, то неясным шепотом, то внятно и отчетливо, как звук трубы, этот голос внушал ему, что где-то, когда-то, как-то он настигнет Счастье, овладеет им, подчинит своей воле, наложит на него свою печать. Когда он играл в покер, голос сулил ему наивысшую карту; когда шел на разведку — золото под поверхностью или золото в недрах, но золото непременно. В самых страшных злоключениях — на льду, на воде, под угрозой голодной смерти — он чувствовал, что погибнуть могут только другие, а он восторжествует надо всем. Это была все та же извечная ложь, которой Жизнь обольщает самое себя, ибо верит в свое бессмертие и неуязвимость, в свое превосходство над другими жизнями, в свое неоспоримое право на победу.

Харниш сделал несколько туров вальса, меняя направление, и, когда перестала кружиться голова, повел зрителей к стойке. Но этому все единодушно воспротивились. Никто больше не желал признавать его правило — «платит победитель!» Это наперекор и обычаям и здравому смыслу, и хотя свидетельствует о дружеских чувствах, но как раз во имя дружбы пора прекратить такое расточительство. По всей справедливости выпивку должен ставить Бен Дэвис, так вот пусть и поставит. Мало того,

— все, что заказывает Харниш, должно бы оплачивать заведение, потому что, когда он кутит, салун торгует на славу. Все эти доводы весьма образно и, не стесняясь в выражениях, изложил Беттлз, за что и был награжден бурными аплодисментами.

Харниш засмеялся, подошел к рулетке и купил стопку желтых фишек. Десять минут спустя он уже стоял перед весами, и весовщик насыпал в его мешок золотого песку на две тысячи долларов, а что не поместилось

— в другой. Пустяк, безделица, счастье только мигнуло ему, — а все же это счастье. Успех за успехом! Это и есть жизнь, и нынче его день. Он повернулся к приятелям, из любви к нему осудившим его поведение.

— Ну, уж теперь дудки, — платит победитель! — сказал — он.

И они сдались. Кто мог устоять перед Эламом Харнишем, когда он, оседлав жизнь, натягивал поводья и пришпоривал ее, подымая в галоп?

В час ночи он заметил, что Элия Дэвис уводит из салуна Генри Финна и лесоруба Джо Хайнса. Харниш сдержал их.

— Куда это вы собрались? — спросил он, пытаясь повернуть их к стойке.

— На боковую, — ответил Дэвис.

Это был худой, вечно жующий табак уроженец Новой Англии, единственный из всей семьи смельчак, который откликнулся на зов Дикого Запада, услышанный им среди пастбищ и лесов штата Мэн.

— Нам пора, — виновато сказал Джо Хайнс. — Утром отправляемся.

Харниш все не отпускал их:

— Куда? Что за спешка?

— Никакой спешки, — объяснил Дэвис. — Просто решили проверить твой нюх и немного пошарить вверх по реке. Хочешь с нами?

— Хочу, — ответил Харниш.

Но вопрос был задан в шутку, и Элия пропустил ответ Харниша мимо ушей.

— Мы думаем разведать устье Стюарта, — продолжал Элия. — Эл Мэйо говорил, что видел там подходящие наносы, когда в первый раз спускался по реке. Надо там покопаться, пока лед не пошел. Знаешь, что я тебе скажу: помяни мое слово, скоро зимой-то и будет самая добыча золота. Над нашим летним копанием в земле только смеяться будут.

В те времена никто на Юконе и не помышлял о зимнем старательстве. Земля промерзала от растительного покрова до коренной породы, а промерзший гравий, твердый, как гранит, не брали ни кайло, ни заступ. Как только земля начинала оттаивать под летним солнцем, старатели срывали с нее покров. Тогда-то и наступала пора добычи. Зимой же они делали запасы продовольствия, охотились на лосей, готовились к летней работе, а самые унылые темные месяцы бездельничали в больших приисковых поселках вроде Серкла и Сороковой Мили.

— Непременно будет зимняя добыча, — поддакнул Харниш. — Погодите, вот откроют золото вверх по течению. Тогда увидите, как будем работать. Что нам мешает жечь дрова, пробивать шурфы и разведывать коренную породу? И крепления не нужно. Промерзший гравий будет стоять, пока ад не обледенеет, а пар от адских котлов не превратится в мороженое. На глубине в сто футов будут вестись разработки, и даже очень скоро. Ну, так вот, Элия, я иду с вами.

Элия засмеялся, взял своих спутников за плечи и подтолкнул к двери.

— Постой! — крикнул Харниш. — Я не шучу.

Все трое круто повернулись к нему; лица их выражали удивление, радость и недоверие.

— Да будет тебе, не дури, — сказал Финн, тоже лесоруб, спокойный, степенный уроженец Висконсина.

— Мои нарты и собаки здесь, — ответил Харниш. — На двух упряжках легче будет; поклажу разделим пополам. Но сперва придется ехать потише, собакито умаялись.

Элия, Финн и Хайнс с нескрываемой радостью слушали Харниша, хотя им все еще не верилось, что он говорит серьезно.

— Послушай, Время-не-ждет, — сказал Джо Хайнс. — Ты нас не морочишь? Говори прямо. Ты вправду хочешь с нами?

Харниш вместо ответа протянул руку и потряс руку Хайнса.

— Тогда ступай ложись, — посоветовал Элия. — Мы выйдем в шесть, спать-то осталось всего каких-нибудь четыре часа.

— Может, нам задержаться на день? — предложил Финн. — Пусть он отдохнет.

Но гордость не позволила Харнишу согласиться.

— Ничего подобного, — возмутился он. — Мы все выйдем в шесть часов. Когда вас подымать? В пять? Ладно, я вас разбужу.

— Лучше поспи, — предостерег его Элия. — Сколько же можно без передышки?

Харниш и в самом деле устал, смертельно устал. Даже его могучие силы иссякли. Каждый мускул требовал сна и покоя, восставал против попытки опять навязать ему работу, в страхе отшатывался от тропы. Рассудок Харниша не мог не внять этому ожесточенному бунту доведенного до изнеможения тела. Но где-то в глубинах его существа горел сокровенный огонь Жизни, и он слышал гневный голос, укоризненно нашептывающий ему, что на него смотрят все его друзья и приятели, что он может еще раз щегольнуть доблестью, блеснуть силой перед признанными силачами. Это был все тот же извечный самообман, которым тешит себя Жизнь; повинны были и виски, и удаль, и суетное тщеславие.

— Что я — младенец? — засмеялся Харниш. — Два месяца я не пил, не плясал, души живой не видел. Ступайте спать. В пять я вас подыму.

И весь остаток ночи он так и проплясал в одних носках, а в пять утра уже колотил изо всей мочи в дверь своих новых спутников и, верный своему прозвищу, выкрикивал нараспев:

— Время не ждет! Эй вы, искатели счастья на Стюарт-реке! Время не ждет! Время не ждет!

Глава седьмая

На этот раз путь оказался много легче. Дорога была лучше укатана, нарты шли налегке и не мчались с бешеной скоростью, дневные перегоны были короче. За свою поездку в Дайю Хариш загнал трех индейцев, но его новые спутники знали, что, когда они доберутся до устья Стюарта, им понадобятся силы, и поэтому старались не переутомляться. Для Харниша, более выносливого, чем они, это путешествие явилось просто отдыхом после двухмесячного тяжелого труда. На Сороковой Миле они задержались на два дня, чтобы дать передохнуть собакам, а на Шестидесятой пришлось оставить упряжку Харниша. В отличие от своего хозяина, собаки не сумели во время пути восстановить запас сил, исчерпанный в бешеной скачке от Селкерка до Серкла. И когда путники вышли из Шестидесятой Мили, нарты Харниша везла новая упряжка.

На следующий день они стали лагерем у группы островов в устье Стюарта. Харниш только и говорил, что о будущих приисковых городах и, не слушая насмешек собеседников; мысленно застолбил все окрестные, поросшие лесом острова.

— А что, если как раз на Стюарте и откроется золото? — говорил он.

— Тогда вам, может, кое-что достанется, а может, и нет. Ну, а я своего не упущу. Вы лучше подумайте и войдите со мной в долю.

Но те заупрямились.

— Ты такой же чудак, как Харпер и Джо Ледью, — сказал Хайнс. — Они тоже этим бредят. Знаешь большую террасу между Клондайком и Лосиной горой? Так вот, инспектор на Сороковой Миле говорил, что месяц назад они застолбили ее: «Поселок Харпера и Ледью». Ха! Ха!

Элия и Финн тоже захохотали, но Харниш не видел в этом ничего смешного.

— А что я говорил? — воскликнул он. — Что-то готовится, все это чуют. Чего ради стали бы они столбить террасу, если бы не чуяли? Эх, жаль, что не я это сделал.

Явное огорчение Харниша было встречено новым взрывом хохота.

— Смейтесь, смейтесь! Вот то-то и беда с вами. Вы все думаете, что разбогатеть можно, только

если найдешь золото. И вот когда начнутся большие дела, вы и приметесь скрести поверху да промывать — и наберете горсть-другую. По-вашему, ртуть — это одна глупость, а золотоносный песок создан Господом Богом нарочно для обмана дураков и чечако. Подавай вам жильное золото, а вы и наполовину не выбираете его из земли, да и этого еще половина остается в отвалах. А богатство достанется тем, кто будет строить поселки, устраивать коммерческие компании, открывать банки…

Громкий хохот заглушил его слова. Банки на Аляске!

Слыхали вы что-нибудь подобное?

— Да, да! И биржу…

Слушатели его просто помирали со смеху. Джо Хайнс, держась за бока, катался по расстеленному на снегу одеялу.

— А потом придут большие акулы, золотопромышленники; они скупят целиком русла ручьев, где вы скребли землю, будто какие-нибудь куры несчастные, и летом будут вести разработки напоров воды, а зимой станут прогревать почву паром…

Прогревать паром! Эка, куда хватил! Харниш явно уже не знал, что и придумать, чтобы рассмешить компанию. Паром! Когда еще огнем не пробовали, а только говорили об этом, как о несбыточной мечте!

— Смейтесь, дурачье, смейтесь! Вы же как слепые.

Точно писклявые котята. Если только на Клондайке заварится дело, да ведь Харпер и Ледью будут миллионерами! А если на Стюарте — увидите, как заживет поселок Элама Харниша. Вот тогда придете ко мне с голодухи… — Он вздохнул и развел руками. — Ну, что ж делать, придется мне ссудить вас деньгами или нанять на работу, а то и просто покормить.

Харниш умел заглядывать в будущее. Кругозор его был неширок, но то, что он видел, он видел в грандиозных масштабах. Ум у него был уравновешенный, воображение трезвое, беспредметных мечтаний он не знал. Когда ему рисовался оживленный город среди лесистой снежной пустыни, он предпосылал этому сенсационное открытие золота и затем выискивал удобные места для пристаней, лесопилок, торговых помещений и всего, что требуется приисковому центру на далеком Севере. Но и это, в свою очередь, было лишь подмостками, где он рассчитывал развернуться вовсю. В северной столице его грез успех и удача поджидали его на каждой улице, в каждом доме, во всех личных и деловых связях с людьми. Тот же карточный стол, но неизмеримо более обширный; ставки без лимита, подымай хоть до неба; поле деятельности — от южных перевалов до северного сияния. Игра пойдет крупная — такая, какая и не снилась ни одному юконцу; и он, Элам Харниш, уж позаботится, чтобы не обошлось без него.

А пока что еще не было — ничего, кроме предчувствия. Но счастье придет, в этом он не сомневался. И так же как, имея на руках сильную карту, он поставил бы последнюю унцию золота, — так и здесь он готов был поставить на карту все свои силы и самое жизнь ради предчувствия, что в среднем течении Юкона откроется золото. И вот он со своими тремя спутниками, с лайками, нартами, лыжами поднимался по замерзшему Стюарту, шел и шел по белой пустыне, где бескрайнюю тишину не нарушал ни человеческий голос, ни стук топора, ни далекий ружейный выстрел. Они одни двигались в необъятном ледяном безмолвии, крохотные земные твари, проползавшие за день положенные двадцать миль; питьевой водой им служил растопленный лед, ночевали они на снегу, подле собак, похожих на заиндевевшие клубки

шерсти, воткнув в снег около нарт четыре пары охотничьих лыж.

Ни единого признака пребывания человека не встретилось им в пути, лишь однажды они увидели грубо сколоченную лодку, припрятанную на помосте у берега. Кто бы ни оставил ее там, он не вернулся за ней, и путники, покачав головой, пошли дальше. В другой раз они набрели на индейскую деревню, но людей там не было: очевидно, жители ушли к верховьям реки охотиться на лося. В двухстах милях от Юкона они обнаружили наносы, и Элия решил, что это то самое место, о котором говорил Эл Мэйо. Тут они раскинули лагерь, сложили продовольствие на высокий помост, чтобы не дотянулись собаки, и принялись за работу, пробивая корку льда, покрывающую землю.

Жизнь они вели простую и суровую. Позавтракав, они с первыми проблесками тусклого рассвета выходили на работу, а когда темнело, стряпали, прибирали лагерь; потом курили и беседовали у костра, прежде чем улечься спать, завернувшись в заячий мех, а над ними полыхало северное сияние и звезды плясали и кувыркались в ледяном небе. Пища была однообразная: лепешки, сало, бобы, иногда рис, приправленный горстью сушеных слив. Свежего мяса им не удавалось добыть. Кругом — ни намека на дичь, лишь изредка попадались следы зайцев или горностаев. Казалось, все живое бежало из этого края. Это было им не в новинку; каждому из них уже случалось видеть, как местность, где дичь так и кишела, через год или два превращалась в пустыню.

Золота в наносах оказалось мало — игра не стоила свеч. Элия, охотясь на лося за пятьдесят миль от стоянки, промыл верхний слой гравия на широком ручье и получил хороший выход золота. Тогда они впрягли собак в нарты и налегке отправились к ручью. И здесь, быть может, впервые в истории Юкона, была сделана попытка пробить шурф среди зимы. Идея принадлежала Харнишу. Очистив землю от мха и травы, они развели костер из сухой елки. За шесть часов земля оттаяла на восемь дюймов в глубину. Пустив в ход кайла и заступы, они выбрали землю и опять разложили костер. Окрыленные успехом, они работали с раннего утра до позднего вечера. На глубине шести футов они наткнулись на гравий. Тут дело пошло медленней. Но они скоро научились лучше пользоваться огнем, и в один прием им удавалось отогреть слой гравия в пять-шесть дюймов. В пласте мощностью в два фута оказался мельчайший золотой песок, потом опять пошла земля. На глубине в семнадцать футов опять оказался пласт гравия, содержащий золото в крупицах; каждая промывка давала золота на шесть — восемь долларов. К несчастью, пласт был тонкий, всего-то в дюйм, а ниже опять обнажилась земля. Попадались стволы древних деревьев, кости каких-то вымерших животных. Однако золото они нашли — золото в крупицах! Скорей всего здесь должно быть и коренное месторождение. Они доберутся до него, как бы глубоко оно ни запряталось. Хоть на глубине в сорок футов! Они разделились на две смены и рыли одновременно два шурфа, работая круглые сутки: день и ночь дым от костров поднимался к небу.

Когда у них кончились бобы, они отрядили Элию на стоянку, чтобы пополнить запасы съестного. Элия был человек опытный, закаленный; он обещал вернуться на третий день, рассчитывая в первый день налегке проехать пятьдесят миль до стоянки, а за два дня проделать обратный путь с нагруженными нартами. Но Элия вернулся уже на другой день к вечеру. Спутники его как раз укладывались спать, когда услышали скрип полозьев.

— Что случилось? — спросил Генри Финн, разглядев при свете костра пустые нарты и заметив, что лицо Элии, и без того длинное и неулыбчивое, еще больше вытянулось и помрачнело.

Джо Хайнс подбросил дров в огонь, и все трое, завернувшись в одеяла, прикорнули у костра. Элия, закутанный в меха, с заиндевевшими бородой и бровями, сильно смахивал на рождественского деда, как его изображают в Новой Англии.

— Помните большую ель, которая подпирала нашу кладовку со стороны реки? — начал Элия.

Долго объяснять не пришлось. Могучее дерево, которое казалось столь прочным, что стоять ему века, подгнило изнутри, — по какой-то причине иссякла сила в корнях, и они не могли уже так крепко впиваться в землю. Тяжесть кладовки и плотной шапки снега довершили беду, — так долго поддерживаемое равновесие между мощью дерева и силами окружающей среды было нарушено: ель рухнула наземь, увлекая в своем падении кладовку, и этим, в свою очередь, нарушила равновесие сил между четырьмя людьми с одиннадцатью собаками и окружающей средой. Все запасы продовольствия погибли. Росомахи проникли в обвалившуюся кладовку и либо сожрали, либо испортили все, что там хранилось.

— Они слопали сало, и чернослив, и сахар, и корм для собак, — докладывал Элия. — И, черт бы их драл, перегрызли мешки и рассыпали всю муку, бобы и рис. Поверите ли, за четверть мили от стоянки валяются пустые мешки, — вон куда затащили.

Наступило долгое молчание. Остаться среди зимы без запасов в этом покинутом дичью краю означало верную гибель. Но молчали они не потому, что страх сковал им языки: трезво оценивая положение, не закрывая глаза на грозившую опасность, они прикидывали в уме, как бы предотвратить ее. Первым заговорил Джо Хайнс:

— Надо просеять снег и собрать бобы и рис…

Правда, рису-то и оставалось всего фунтов восемь — десять.

— Кто-нибудь из нас на одной упряжке поедет на Шестидесятую Милю,

— сказал Харниш.

— Я поеду, — вызвался Финн.

Они еще помолчали.

— А чем же мы будем кормить вторую упряжку, пока он вернется? — спросил Хайнс. — И сами что будем есть?

— Остается одно, — высказался, наконец, Элия. — Ты, Джо, возьмешь вторую упряжку, поднимешься вверх по Стюарту и разыщешь индейцев. У них добудешь мясо. Ты вернешься иного раньше, чем Генри съездит на Шестидесятую Милю и обратно. Нас здесь останется только двое, и мы как-нибудь прокормимся.

— Утром мы все пойдем на стоянку и выберем, что можно, из-под снега, — сказал Харниш, заворачиваясь в одеяло. — А теперь спать пора, завтра встанем пораньше. Хайнс и Финн пусть берут упряжки. А мы с Дэвисом пойдем в обход, один направо, другой налево, — может, по пути и вспугнем лося.

Глава восьмая

Утром, не мешкая, отправились в путь. Хайнс, Финн и собаки, ослабевшие на голодном пайке, целых два дня добирались до стоянки. На третий день, в полдень, пришел Элия, но с пустыми руками. К вечеру появился Харниш, тоже без дичи. Все четверо тщательно просеяли снег вокруг кладовки. Это была нелегкая работа — даже в ста ярдах от кладовки им еще попадались отдельные зерна бобов. Все они проработали целый день. Добыча оказалась жалкой, и в том, как они поделили эти скудные запасы пищи, сказались мужество и трезвый ум всех четверых.

Как ни мало набралось продовольствия, львиная доля была оставлена Дэвису и Харнишу. Ведь двое других поедут на собаках, один вверх, другой вниз по Стюарту, и скорей раздобудут съестное. А двоим остающимся предстояло ждать, пока те вернутся. Правда, получая по горсточке бобов в сутки, собаки быстро не побегут, но на худой конец они сами могут послужить пищей для людей. У Харниша и Дэвиса даже собак не останется. Поэтому выходило, что именно они брали на себя самое тяжкое испытание. Это само собой разумелось, — иного они и не хотели.

Зима близилась к концу. Как всегда на Севере, и эта весна, весна 1896 года, подкрадывалась незаметно, чтобы грянуть внезапно, словно гром среди ясного неба. С Каждым днем солнце вставало все ближе к востоку, дольше оставалось на небе и заходило дальше к западу. Кончился март, наступил апрель. Харниш и Элия, исхудалые, голодные, терялись в догадках: что же стряслось с их товарищами? Как ни считай, при всех непредвиденных задержках в пути они давно должны были вернуться. Несомненно, они погибли. Все знают, что с любым путником может случиться беда, — поэтомуто и было решено, что Хайнс и Финн поедут в разные стороны. Очевидно, погибли оба; для Харниша и Элии это был последний сокрушительный удар.

Но они не сдавались и, понимая безнадежность своего положения, все же кое-как поддерживали в себе жизнь. Оттепель еще не началась, и они собирали снег вокруг разоренной кладовки и распускали его в котелках, ведерках, тазах для промывки золота. Дав воде отстояться, они сливали ее, и тогда на дне сосуда обнаруживался тонкий слой слизистого осадка. Это была мука — микроскопические частицы ее, разбросанные среди тысяч кубических ярдов снега. Иногда в осадке попадались разбухшие от воды чаинки или кофейная гуща вперемешку с землей и мусором. Но чем дальше от кладовки они собирали снег, тем меньше оставалось следов муки, тем тоньше становился слизистый осадок.

Элия был старше Харниша, и поэтому первый потерял силы; он почти все время лежал, закутавшись в одеяло. От голодной смерти спасали их белки, которых изредка удавалось подстрелить Харнишу. Нелегкое это было дело. У него оставалось всего тридцать патронов, поэтому бить нужно было наверняка, а так как ружье было крупнокалиберное, он должен был угодить непременно в голову. Белок попадалось мало, иногда проходило несколько дней, и ни одна не показывалась. Когда Харниш замечал белку, он долго выжидал, прежде чем выстрелить. Он часами выслеживал дичь. Десятки раз, сжимая ружье в дрожащих от слабости руках, он прицеливался и снова отводил его, не рискуя спустить курок. Воля у него была железная, все его побуждения подчинялись ей. Стрелял он только в тех случаях, когда твердо знал, что не промахнется. Как ни мучил его голод, как ни жаждал он этого теплого, верещащего кусочка жизни, он запрещал себе малейший риск. Игрок по призванию, он и здесь вел азартнейшую игру. Ставка была — жизнь, карты — патроны, и он играл так, как может играть только завзятый игрок, — осторожно, обдуманно, никогда не теряя хладнокровия. Поэтому он бил без промаха. Каждый выстрел приносил добычу, и сколько дней ни приходилось выжидать, Харниш не менял своей системы игры.

Убитая белка шла в ход вся без остатка. Даже из шкурки делали отвар, а косточки мелко дробили, чтобы можно было жевать их и проглатывать. Харниш рылся в снегу, отыскивая ягоды клюквы. Спелая клюква и та состоит из одних семян, воды и плотной кожицы, но питательность прошлогодних ягод, сухих и сморщенных, которые находил Харниш, была равна нулю. Не лучше утоляла голод и кора молодых деревцев, которую они варили в течение часа, а потом кое-как глотали, предварительно долго и упорно прожевывая.

Апрель был на исходе, бурно наступала весна. Дни стали длиннее. Снег таял в лучах солнца, из-под него выбивались тонкие струйки воды. Сутками дул теплый и влажный юго-западный

ветер, и за одни сутки снег оседал на целый фут. К вечеру подтаявший снег замерзал, и по твердому насту можно было идти, не проваливаясь. С юга прилетала стайка белых пуночек и, побыв один день, опять улетала, держа путь на север. Однажды, еще до вскрытия реки, высоко в небе с громким гоготом пронесся на север клин диких гусей. На ивовом кусте у реки набухли почки. Харниш и Элия ели их вареными, — оказалось, что ими можно питаться. Элия даже приободрился немного, но, к несчастью, поблизости больше не нашлось ивняка.

Деревья наливались соками, с каждым днем громче пели незримые ручейки под снегом — жизнь возвращалась в обледенелую страну. Но река все еще была в оковах. Зима долгие месяцы ковала их, и не в один день можно было их сбросить, как ни стремительно наступала весна. Пришел май, и большие, но безвредные прошлогодние комары повылезали из прогнивших колод и трещин в камнях. Застрекотали кузнечики, гуси и утки пролетали над головой. А река все не вскрывалась. Десятого мая лед на Стюарте затрещал, вздулся и, оторвавшись от берегов, поднялся на три фута. Но он не пошел вниз по течению. Сначала должен был взломаться лед на Юконе, там, где в него впадает Стюарт. До этого лед на Стюарте мог только вздыматься все выше под напором прибывающей воды. Трудно было предсказать точно, когда начнется ледоход на Юконе. Через две тысячи миль после слияния со Стюартом он впадает в Берингово море, и от таяния морского льда зависели сроки, в которые Юкон мог освободиться от миллионов тонн льда, навалившихся ему на грудь.

Двенадцатого мая Харниш и Элия, захватив меховые одеяла, ведро, топор и драгоценное ружье, спустились на лед. Они решили разыскать припрятанную на берегу лодку, замеченную ими по дороге, и, как только река очистится, плыть вниз по течению до Шестидесятой Мили. Голодные, ослабевшие, они продвигались медленно, с трудом. Элия едва держался на ногах, и когда падал, уже не мог подняться и оставался лежать. Харниш, собрав последние силы, помогал ему встать, и Элия, спотыкаясь, пошатываясь, плелся дальше, пока снова не падал.

В тот день, когда они рассчитывали добраться до лодки, Элия совсем обессилел. Харниш поднял его, но он снова повалился. Харниш попытался вести его, поддерживая под руку, но сам был так слаб, что они оба упали. Тогда Харниш втащил Элию на берег, наскоро устроил стоянку и пошел охотиться на белок. Теперь уже и он то и дело падал. Вечером он выследил белку, но было слишком темно, он боялся промахнуться. С долготерпением дикаря он дождался рассвета и час спустя подстрелил белку.

Лучшие куски он отдал Элии, оставив себе одни жилы и кости. Но таково свойство жизненной энергии, что это крошечное создание, этот комочек мяса, который при жизни двигался, передал мышцам людей, поглотивших его, способность и силу двигаться. Белка уже не карабкалась на высокие ели, не прыгала с ветки на ветку, не цеплялась, вереща, за уходившие в небо верхушки. Однако та энергия, которая порождала все эти движения, влилась в дряблые мышцы и надломленную волю людей и заставила их двигаться — нет, сама двигала их, пока они тащились оставшиеся несколько миль до припрятанной лодки; добравшись наконец до цели, оба рухнули наземь и долго лежали неподвижно, словно мертвые.

Снять небольшую лодку с помоста было бы делом нетрудным для здорового мужчины, но Харниш так ослабел, что ему понадобилось на это много часов. И еще много часов, изо дня в день, потратил он, когда ползал вокруг лодки и, лежа на боку, конопатил мхом разошедшиеся швы. Наконец работа была окончена, но река все еще не очистилась. Лед поднялся на несколько футов, так и не тронувшись вниз по течению. А впереди Харниша ждало самое трудное: спустить лодку на воду, когда вскроется река. Тщетно бродил он, спотыкаясь, падая, двигаясь ползком

— днем по талому снегу, вечером по затвердевшему насту, — в поисках еще одной белки,

чтобы жизненная энергия проворного зверька перешла в силу его мышц и помогла ему перетащить лодку через ледяную стену у берега и столкнуть на воды реки.

Только двадцатого мая Стюарт наконец вскрылся. Ледоход начался в пять часов утра; день уже сильно прибавился, и Харниш, приподнявшись, мог видеть, как идет лед. Но Элия уже ко всему был безучастен; сознание едва теплилось в нем, и он лежал без движения. А лед несся мимо, огромные льдины наскакивали на берег, выворачивая корни деревьев, отваливая сотни тонн земли. От этих чудовищной силы толчков все кругом содрогалось и раскачивалось. Час спустя ледоход приостановился: где-то ниже по течению образовался затор. Тогда река стала вздуваться, все выше поднимался лед, пока он не поднялся над берегом. Вода с верховьев все прибывала, неся на себе все новые и новые тонны льда. Громадные глыбы с ужасающей силой сталкивались, лезли друг на друга, стремительно подскакивали вверх, словно арбузное семечко, зажатое ребенком между большим и указательным пальцем; вдоль обоих берегов выросла ледяная стена. Потом затор прорвало, и грохот сшибающихся и трущихся друг о друга льдин стал еще оглушительней. С час продолжался ледоход. Вода в реке быстро убывала. Но ледяная стена по-прежнему высилась над берегом.

Наконец прошли последние льдины, и впервые за полгода Харниш увидел чистую воду. Он знал, что ледоход не кончился, торосы в верховьях в любую минуту могли сорваться с места и двинуться вниз по реке, но положение было отчаянное, нужда заставляла действовать немедля. Элия так ослабел, что мог умереть с минуты на минуту, И сам он далеко не был уверен, хватит ли у него сил спустить лодку на воду. Оставалось одно — пойти на риск. Если дожидаться второго ледохода, Элия наверняка умрет, а скорее всего — они умрут оба. Если же он сумеет спустить лодку, если опередит второй ледоход, если их не затрет льдинами с верхнего течения Юкона, если ему повезет и в этом и еще во многом другом, тогда они доберутся до Шестидесятой Мили и будут спасены, если — опять-таки если — у него достанет сил причалить на Шестидесятой Миле.

Он принялся за дело. Ледяная стена возвышалась на пять футов над тем местом, где стояла лодка. Прежде всего он разыскал удобный спуск: пройдя несколько шагов, он увидел льдину, которая достигала до верха стены и отлого спускалась к реке. Промучившись целый час, он подтащил туда лодку. Его тошнило от слабости, и временами ему казалось, что он слепнет: он ничего не видел, в глазах плясали световые пятна и точки, словно их засыпало алмазной пылью; сердце колотилось у самого горла, дыхание перехватывало. Элия не подавал признаков жизни; он лежал не шевелясь, с закрытыми глазами. Харниш один сражался с судьбой. В конце концов после нечеловеческих усилий он прочно установил лодку на верху ледяной стены; не удержавшись на ногах, он упал на колени и ползком начал перетаскивать в лодку одеяло, ружье и ведерко. Топор он бросил. Ради него пришлось бы еще раз проползти двадцать футов туда и обратно, а Харниш хорошо знал, что если топор и понадобится, то некому будет действовать им.

Харниш и не подозревал, как трудно будет перетащить Элию в лодку. Дюйм за дюймом, с частыми передышками, он поволок его по земле и по осколкам льда к борту лодки. Но положить его в лодку ему не удалось. Будь это неподвижный груз такого же веса и объема, его куда легче было бы поднять, чем обмякшее тело, Элии. Харниш не мог справиться с этим живым грузом потому, что он провисал в середине, как полупустой мешок с зерном. Харниш, стоя в лодке, тщетно пытался втащить туда товарища. Все, чего он добился, — это приподнять над бортом голову и плечи Элии. Но когда он отпустил его, чтобы перехватить ниже, Элия опять соскользнул на лед.

С отчаяния Харниш прибег к крайнему средству. Он ударил Элию по лицу.

— Господи боже ты мой! Мужчина ты или нет? — закричал он. — На вот, черт тебя дери, на!

И он наотмашь бил его по щекам, по носу, по губам, надеясь, что боль от ударов разбудит дремлющее сознание и вернет исчезающую волю. Элия открыл глаза.

— Слушай! — прохрипел Харниш. — Я приподыму тебе голову, а ты держись. Слышишь? Зубами вцепись в борт и держись!

Дрожащие веки Элии опустились, но Харниш знал, что тот понял его. Он опять подтащил голову и плечи Элии к лодке.

— Держись, черт тебя возьми! Зубами хватай! — кричал он, пытаясь поднять неподвижное туловище.

Одна рука Элии соскользнула с борта лодки, пальцы другой разжались, но он послушно впился зубами в борт и удержался. Харниш приподнял его, потянул на себя, и Элия ткнулся лицом в дно лодки, в кровь ободрав нос, губы и подбородок о расщепленное дерево; тело его, согнувшись пополам, беспомощно повисло на борту лодки. Харниш перекинул ноги Элии через борт, потом, задыхаясь от усилий, перевернул его на спину и накрыл одеялом.

Оставалось последнее и самое трудное дело — спустить лодку на реку. Харнишу пришлось по необходимости положить Элию ближе к корме, а это означало, что для спуска потребуется еще большее напряжение. Собравшись с духом, он взялся за лодку, но в глазах у него потемнело, и когда он опомнился, оказалось, что он лежит, навалившись животом на острый край кормы. Видимо, впервые в жизни он потерял сознание. Мало того, он чувствовал, что силы его иссякли, что он пальцем шевельнуть не может, а главное — что ему это безразлично. Перед ним возникали видения, живые и отчетливые, мысль рассекала мир, словно стальное лезвие. Он, который с детства привык видеть жизнь во всей ее наготе, никогда еще так остро не ощущал этой наготы. Впервые пошатнулась его вера в свое победоносное «я». На какое-то время жизнь пришла в замешательство и не сумела солгать. В конечном счете он оказался таким же жалким червяком, как и все, ничуть не лучше съеденной им белки или людей, потерпевших поражение, погибших на его глазах, как, несомненно, погибли Джо Хайнс и Генри Финн, ничуть не лучше Элии, который лежал на дне лодки, весь в ссадинах, безучастный ко всему. Харнишу с кормы лодки хорошо была видна река до самого поворота, откуда рано или поздно нагрянут ледяные глыбы. И ему казалось, что взор его проникает в прошлое и видит те времена, когда в этой стране еще не было ни белых, ни индейцев, а река Стюарт год за годом, зимой прикрывала грудь ледяным панцирем, а весной взламывала его и вольно катилась к Юкону. И в туманной дали грядущего он провидел то время, когда последние поколения смертных исчезнут с лица Аляски и сам он исчезнет, а река по-прежнему, неизменно — то в зимнюю стужу, то бурной весной — будет течь, как текла от века.

Жизнь — лгунья, обманщица. Она обманывает все живущее. Она обманула его, Элама Харниша, одного из самых удачных, самых совершенных своих созданий. Он ничто — всего лишь уязвимый комок мышц и нервов, ползающий в грязи в погоне за золотом, мечтатель, честолюбец, игрок, который мелькнет — и нет его. Нетленна и неуязвима только мертвая природа, все, что не имеет ни мышц, ни нервов — песок, земля и гравий, горы и низины, и река, которая из года в год, из века в век покрывается льдом и вновь очищается от него. В сущности, какой это подлый обман! Игра краплеными картами. Те, кто умирает, не выигрывают, — а умирают все. Кто же остается в выигрыше? Даже и не Жизнь — великий шулер, заманивающий игроков, этот вечно цветущий погост, нескончаемое траурное шествие.

Он на минуту очнулся от раздумья и посмотрел вокруг: река по-прежнему была свободна ото

льда, а на носу лодки сидела пуночка, устремив на него дерзкий взгляд. Потом он снова погрузился в свои мысли.

Ничто уже не спасет его от проигрыша. Нет сомнений, что ему суждено выйти из игры. И что же? Он снова и снова задавал себе этот вопрос.

Общепризнанные религиозные догматы всегда были чужды ему. Он исповедовал свою религию, которая учила его не обманывать ближних, вести с ними честную игру, и никогда не предавался праздным размышлениям о загробной жизни. Для него со смертью все кончалось. Он всегда в это верил и не испытывал страха. И сейчас, когда пятнадцать футов отделяло лодку от реки, а он и пальцем не мог пошевелить, чтобы сдвинуть ее с места, он все так же твердо верил, что со смертью все кончается, и не испытывал страха. В его представлениях об окружающем мире было слишком много трезвой простоты, чтобы их могло опрокинуть первое — или последнее — содрогание жизни, убоявшейся смерти.

Он видел смерть, видел, как умирают люди и животные; память услужливо воскрешала перед ним десятки картин смерти. Он снова глядел на них, как глядел когда-то, и они не страшили его. Что ж, эти люди умерли, умерли давно. Мысль о смерти уже не тревожит их. Они не висят, перегнувшись пополам, на корме лодки в ожидании конца. Умереть легко, он никогда не думал, что это так легко; и, чувствуя приближение смерти, он даже радовался ей.

Но внезапно новая картина встала перед ним. Он увидел город своих грез — золотую столицу Севера, привольно раскинувшуюся на высоком берегу Юкона. Он увидел речные пароходы, в три ряда стоящие на якоре вдоль пристани; лесопилки на полном ходу; длинные упряжки лаек, везущие спаренные нарты с грузом продовольствия для приисков. И еще он видел игорные дома, банкирские конторы, биржу, крупные ставки, широкое поле для азартнейшей в мире игры. Обидно все-таки, подумал он, упустить свое счастье, когда нюхом чуешь все это и знаешь, что откроется золотое дно. От этой мысли Жизнь встрепенулась в нем и снова начала плести свою вековечную ложь.

Харниш перевернулся на бок, скатился с кормы и сел на лед, прислонясь спиной к лодке. Нет, он не хочет выбывать из игры. Да и с какой стати? Если собрать воедино все остатки сил, еще таящиеся в его ослабевших мышцах, он, без сомнения, сумеет приподнять лодку и столкнуть ее вниз. Вдруг ему пришло в голову, что хорошо бы войти в долю с Харпером и Ледью, застолбившими место под поселок на Клондайке. Дорого они не запросят за пай. Если золотым дном окажется Стюарт, он найдет счастье в «Поселке Элам Харниш»; а если Клондайк — то ему тоже кое-что перепадет.

А пока что надо собраться с силами. Он ничком растянулся на льду и пролежал так с полчаса. Потом встал, тряхнул головой, прогоняя искрящийся туман, застилавший ему глаза, и взялся за лодку. Он отлично понимал, чем он рискует. Если первая попытка сорвется, все дальнейшие усилия обречены на неудачу. Он должен пустить в ход все свои скудные силы до последней капли, вложить их целиком в первый же толчок» так как для второго уже не останется ничего.

Он начал подымать лодку; он подымал ее не только напряжением мышц, а всем существом своим, истощая до отказа в этой отчаянной попытке все силы тела и души. Лодка приподнялась. У него потемнело в глазах, но он не отступился. Почувствовав, что лодка сдвинулась с места и заскользила по льду, он последним усилием прыгнул в нее и повалился на ноги Элии. Он остался лежать, даже не пытаясь приподняться, но услышал плеск и ощутил движение лодки по воде. Взглянув на верхушки деревьев, он понял, что лодку крутит. Вдруг его крепко тряхнуло, и кругом полетели осколки льда — значит, она ударилась о берег. Еще раз десять лодку крутило и било о берег, потом она легко и свободно пошла вниз по течению.

Когда Харниш очнулся, он взглянул на солнце и решил, что, видимо, проспал несколько часов. Было уже за полдень. Он подполз к корме и приподнялся. Лодка шла серединой реки. Мимо проносились лесистые берега, окаймленные сверкающей ледяной кромкой. Рядом с лодкой плыла вывороченная с корнями гигантская сосна. По прихоти течения лодка и дерево столкнулись. Харниш дотащился до носа и прикрепил фалинь к корневищу. Сосна, глубже погруженная в воду, чем лодка, шла быстрее; фалинь натянулся, и дерево взяло лодку на буксир. Тогда он окинул мутным взглядом берега, которые кружились и пошатывались, солнце, словно маятник качавшееся в небе, завернулся в заячий мех, улегся на дно лодки и уснул.

Проснулся он среди ночи. Он лежал на спине; над ним сияли звезды. Слышался глухой рокот разлившейся реки. Лодку дернуло, и он понял, что ослабевший было фалинь, которым лодка была привязана к сосне, опять натянулся. Обломок льдины ударился о корму и проскреб по борту. «Ну что ж, второй ледоход покамест не настиг меня», — подумал Харниш, закрывая глаза и опять погружаясь в сон.

На этот раз, когда он проснулся, было светло. Солнце стояло высоко. Харниш бросил взгляд на далекие берега и понял, что это уже не Стюарт, а могучий Юкон. Скоро должна показаться Шестидесятая Миля. Он был удручающе слаб. Медленно, с неимоверными усилиями, задыхаясь и беспомощно шаря руками, он приподнялся и сел на корме, положив возле себя ружье. Он долго смотрел на Элию, стараясь разглядеть, дышит тот или нет; но в нем самом уже едва теплилась жизнь, и у него не было сил подползти поближе.

Он снова погрузился в свои мысли и мечты, но их часто прерывали минуты полного бездумия; он не засыпал, не терял сознания, он просто переставал думать, словно зубчатые колеса, не цепляясь друг за друга, вертелись у него в мозгу. Но мысль его хоть и бессвязно, все же работала. Итак, он еще жив и, вероятно, будет спасен; но как это случилось, что он не лежит мертвый, перегнувшись через край лодки на ледяной глыбе? Потом он вспомнил свое последнее нечеловеческое усилие. Что заставило его сделать это усилие? Только не страх смерти. Он не боялся умереть, это несомненно... Так что же? — спрашивал он себя. Наконец память подсказала ему, что в последнюю минуту он подумал о предстоящем открытии золота, в которое твердо верил. Значит; он сделал усилие потому, что непременно хотел участвовать в будущей крупной игре. Но опять-таки ради чего? Ну, пусть ему достанется миллион. Все равно он умрет, умрет, как те, кому всю жизнь только и удавалось, что отработать ссуду. Так ради чего же? Но нить его мыслей рвалась все чаще и чаще, и он безвольно отдался сладостной дремоте полного изнеможения.

Очнулся он вдруг, словно кто-то толкнул его. Какойто внутренний голос предостерег его, что пора проснуться. Он сразу увидел факторию Шестидесятой Мили, до нее оставалось футов сто. Течение привело его лодку прямо к самой цели, но то же течение могло унести ее дальше, в пустынные плесы Юкона. На берегу не видно было ни души. Если бы не дымок, поднимавшийся из печной трубы, он решил бы, что фактория опустела. Он хотел крикнуть, но оказалось, что у него пропал голос. Только какой-то звериный хрип и свист вырвался из его гортани. Нащупав ружье, он поднял его к плечу и спустил курок. Отдача сотрясла все его тело, пронизав жгучей болью. Он выронил ружье, оно упало ему на колени, и он больше не мог поднять его. Он знал, что нельзя терять ни секунды, что он сейчас лишится чувств, и снова выстрелил, держа ружье на коленях. Ружье подскочило и упало за борт. Но в последнее мгновение, прежде чем тьма поглотила его, он успел увидеть, что дверь фактории отворилась и какая-то женщина вышла на порог большого бревенчатого дома, который отплясывал неистовый танец среди высоких деревьев.

Глава девятая

Десять дней спустя на Шестидесятую Милю приехали Харпер и Ледыо. Силы еще не полностью вернулись к Харнишу, однако он уже настолько оправился, что немедля осуществил свое намерение: уступил третью часть своих прав на «Поселок Элам Харниш» в обмен на пай в их клондайкском поселке. Новые партнеры Харниша были полны радужных надежд, и Харпер, нагрузив плот съестными припасами, пустился вниз по течению, чтобы открыть небольшую факторию в устье Клондайка.

— Почему бы тебе не пошарить на Индейской реке? — сказал Харнишу на прощание Харпер. — Там пропасть ручьев и оврагов, и золото, небось, прямо под ногами валяется. Вот увидишь: когда откроется золотое дно. Индейская река в стороне не останется.

— И лосей там полным-полно, — добавил Ледью. — Боб Гендерсон забрался туда еще три года назад. Клянется, что скоро там такое откроется, что и во сне не снилось. Кормится свежей лосятиной и, как одержимый, землю роет.

Харниш решил «махнуть», как он выразился, на Индейскую реку, но ему не удалось уговорить Элию отправиться туда вместе. Перенесенный голод подорвал мужество Элии, и одна мысль о возможной нехватке пищи приводила его в ужас.

— Я просто не в силах расстаться с едой, — объяснил он. — Знаю, что это глупость, но ничего с собой поделать не могу. Тогда только и отвалюсь, когда чувствую, что еще кусок — и я лопну. Думаю вернуться в Серкл, буду сидеть там у кладовки с жратвой, пока не вылечусь.

Харниш переждал еще несколько дней, набираясь сил и потихоньку снаряжаясь в дорогу. Он решил идти налегке — так, чтобы его ноша не превышала семидесяти пяти фунтов, а остальную поклажу, по примеру индейцев, погрузить на собак по тридцать фунтов на каждую. Продовольствия он захватил очень немного, положившись на рассказ Ледью, что Боб Гендерсон питается лосятиной. Когда на Шестидесятой Миле остановилась баржа с лесопилкой Джона Кернса, шедшая с озера Линдерман, Харниш погрузил на нее свое снаряжение и пять собак, вручил Элии заявку на участок под поселок, чтобы он ее зарегистрировал, и в тот же день высадился в устье Индейской реки.

В сорока милях вверх по течению, на Кварцевом ручье, который он узнал по описаниям, и на Австралийском ручье, на тридцать миль дальше, Харниш нашел следы разработок Боба Гендерсона. Но дни шли за днями, а его самого нигде не было видно. Лосей действительно здесь водилось много, и не только Харниш, но и собаки вволю полакомились свежим мясом. В поверхностном слое наносов он находил золото, правда, немного, зато в земле и гравии по руслам ручьев было вдоволь золотого песку, и Харниш ничуть не сомневался, что где-то здесь должно открыться месторождение. Часто он всматривался в горный кряж, тянувшийся на север, и спрашивал себя, не там ли оно? Наконец он поднялся по ручью Доминион до его истоков, пересек водораздел и спустился по притоку Клондайка, впоследствии названному ручьем Ханкер. Если бы Харниш прошел немного дальше по водоразделу, то застал бы Боба Гендерсона на его участке, который он назвал «Золотое дно», за промывкой золота, впервые найденного на Клондайке в таком изобилии. Но Харниш продолжал путь по ручью Ханкер, по Клондайку и по Юкону, до летнего рыбачьего лагеря индейцев.

Здесь он остановился на один день у Кармака, женатого на индианке и жившего вместе со своим зятем индейцем по имени Скукум Джим; потом купил лодку, погрузил своих собак и поплыл вниз по Юкону до Сороковой Мили. Август уже был на исходе, дни становились короче, приближалась зима. Харниш все еще твердо верил, что счастье ждет его в среднем течении; он

хотел собрать партию из четырех-пяти старателей, а если это не выйдет, найти хотя бы одного спутника и, поднявшись водой по Юкону до того, как река станет, зимой вести разведку. Но никто из старателей на Сороковой Миле не разделял надежд Харниша. К тому же они на месте находили золото и вполне этим довольствовались.

В один прекрасный день к Сороковой Миле причалила лодка, из нее вышли Кармак, его зять Скукум Джим и еще один индеец по имени Култус Чарли и тут же отправились к приисковому инспектору, где и сделали заявку на три участка и еще на один — по праву первой находки — на ручье Бонаиза. Вечером того же дня в салуне Старожил они показали образцы добытого золота. Однако им плохо верили. Старатели, усмехаясь, с сомнением качали головой: их не проведешь, видали они и раньше такие фокусы. Ясное дело, Харпер и Ледью хотят заманить золотоискателей поближе к своему поселку и фактории. И кто этот Кармак? Женился на скво, живет с индейцами. Разве такие находят золото? А что такое ручей Бонанза? Да это просто лосиный выгон у самого устья Клондайка и всегда назывался Заячьим ручьем. Вот если бы заявку сделал Харниш или Боб Гендерсон, их бы образцы чего-нибудь да стоили. Но Кармак, женатый на скво! Скукум Джим! Култус Чарли! Нет уж, увольте.

Даже Харниш, как он ни верил в свое предчувствие, не был убежден, что тут нет обмана. Ведь он сам всего несколько дней назад видел, как Кармак лодырничал в своей индейской семье и даже не помышлял о разведке. Но вечером, уже в двенадцатом часу, сидя на краю койки и расшнуровывая мокасины, он вдруг задумался; потом оделся, взял шапку и пошел обратно в салун. Кармак все, еще был там и по-прежнему хвастал своим золотом перед толпой маловеров. Харниш подошел к нему, вытащил у него из-за пояса мешочек и, высыпав золотой песок в таз, долго разглядывал его. Потом в другой таз отсыпал из своего мешочка несколько унций песку, найденного в окрестностях Серкла и Сороковой Мили, и опять долго изучал и сравнивал содержимое обоих тазов. Наконец он вернул Кармаку его золото, спрятал свое и поднял руку, требуя внимания.

— Слушайте, ребята, что я вам скажу, — начал он. — Это оно и есть

— то самое золото. Будьте покойны, так и вышло, как я говорил. Такого золота еще никто не видел в этой стране. Это новое золото. В нем больше серебра. Поглядите, по цвету можно узнать. Кармак правду говорит. Кто хочет идти со мной за этим золотом?

Желающих не оказалось. Призыв Харниша встретили хохотом и насмешками.

— А нет ли у тебя там земли под поселок? — язвительно спросил кто-то.

— Малость есть, — ответил Харниш. — Да еще доля в поселке Харпера и Ледью. И вот увидите, любой из моих участков принесет мне больше, чем вы наскребли даже на Березовом ручье.

— Ну ладно, — примирительно заговорил старатель по кличке Кудрявый Поп. — Мы все знаем тебя, ты малый честный. Но зря ты этим людям веришь. Они же нас морочат. Ну скажи на милость, когда Кармак нашел это золото? Ты же сам говорил, что он торчит на стоянке со своей индейской родней и ловит лососей, а ведь и трех дней не прошло.

— Он правду говорит! — крикнул Кармак. — И я правду говорю, вот как перед Богом! Не ходил я на разведку. И в мыслях даже не было. Но только не успел он уехать, в тот же самый день явился Боб Гендерсон на плоту с продовольствием. Он ехал с Шестидесятой Мили и хотел подняться по Индейской реке, переправить продовольствие через водораздел между Кварцевым ручьем и Золотым дном...

— Какое такое Золотое дно? Где это? — спросил Кудрявый Поп.

— За ручьем Бонанза, который раньше Заячьим назывался, — ответил Кармак. — Он впадает в приток Клондайка. Я туда и прошел с Клондайка, а возвращался я по водоразделу, а потом вниз по Бонанзе. Вот Боб Гендерсон и говорит: «Поедем со мной, Кармак, застолбим участочек. Мне повезло на Золотом дне. Сорок пять унций уже добыл». Ну, мы и поехали, и я, и Скукум Джим, и Култус Чарли. И все застолбили участки на Золотом дне, Потом мы вернулись на Бонанзу пострелять лосей. По дороге остановились, разложили костер и поели. Потом я завалился спать, а Скукум Джим возьми да и начни копать, — научился, глядя на Гендерсона. Набрал земли под березой, промыл — да и снял золота на доллар с лишним. Разбудил меня. Я тоже берусь за дело. И что же? С первого разу намыл на два с половиной доллара. Ну, я окрестил ручей «Бонанза», застолбил участок и приехал сюда с заявкой.

Кончив свой рассказ, Кармак обвел робким взглядом слушателей, но все лица по-прежнему выражали недоверие — все, кроме лица Харниша, который не спускал глаз с Кармака.

— Сколько Харпер с Ледью посулили тебе за эту липу? — раздался голос из толпы.

— Харпер и Ледью ничего не знают про это, — ответил Кармак. — Я правду говорю, как Бог свят. За какой-нибудь час я намыл три унции.

— И вот оно — золото, перед вами, — сказал Харниш. — Говорят вам, такого золота мы еще не намывали. Поглядите на цвет.

— Верно, чуть отливает, — согласился Кудрявый Поп. — Должно быть, Кармак таскал в мошне серебряные доллары вместе с песком. И почему, если Кармак не врет. Боб Гендерсон не прискакал делать заявку?

— Он остался на Золотом дне, — объяснил Кармак. — Мы нашли золото на обратном пути.

В ответ раздался взрыв хохота.

— Кто хочет ехать со мной завтра на эту самую Бонанзу? — спросил Харниш.

Никто не отозвался.

— А кто хочет перевезти туда на лодке тысячу фунтов продовольствия? Деньги плачу вперед.

Кудрявый Поп и другой старатель. Пат Монехен, выразили согласие.

Харниш со свойственной ему решительностью тут же заплатил им вперед, потом условился о покупке продовольствия, нимало не смущаясь тем, что в его мешочке не оставалось ни унции. Он уже взялся было за ручку двери, но вдруг передумал и обернулся.

— Ну что? Еще что-нибудь учуял? — спросил кто-то.

— Малость учуял. Этой зимой на Клондайке за муку будут брать бешеную цену. Кто одолжит мне денег?

Те же люди, которые только что отказались участвовать в его сомнительной затее, тотчас окружили его, протягивая свои мешочки с золотом.

— А сколько тебе муки? — спросил управляющий складом Аляскинской торговой компании.

— Тонны две.

Никто не отдернул руку с мешочком, хотя стены салуна задрожали от оглушительного хохота.

— На что тебе две тонны муки? — спросил управляющий.

— Слушай, сынок, — наставительно ответил Харниш. — Ты здесь недавно и еще не знаешь, какие в этой стране бывают чудеса. Я тебе скажу, зачем мне мука: хочу открыть фабрику квашеной капусты и средства от перхоти.

Нахватав у всех денег, он нанял еще шесть человек и три лодки. Казна его опять опустела, и он по уши залез в долги.

Кудрявый Поп с комическим ужасом поглядел на Харниша и, словно сраженный горем, опустил голову на стойку.

— Боже мой! — простонал он. — Что же ты, несчастный, будешь делать с этой мукой?

— Сейчас я тебе все объясню по порядку. Гляди! — Харниш поднял руку и начал отсчитывать по пальцам. — Первое дело: я нюхом чуял, что выше по течению откроется золото. Второе: Кармак открыл его. Третье: тут и нюха не нужно, один расчет. Если первое и второе верно, цена на муку взлетит до небес. Если я прав в первом и втором, как же я могу отказаться от третьего — от верного дела? Вот увидишь, этой зимой мука будет на вес золота. Помните, ребята, когда счастье улыбнется вам, не зевайте, держитесь за него что есть мочи. На что и счастье, если упускать его? Хватайте его за хвост! Сколько лет я в этой стране — и все ждал, когда счастье привалит. Вот дождался, наконец. Теперь уж не выпущу из рук. Ну, покойной ночи вам, будьте здоровы!

Глава десятая

Никто еще не верил в будущее Клондайка. Когда Харниш со своим огромным запасом муки добрался до устья, он нашел прибрежную террасу такой же пустынной и безлюдной, как всегда. У самой воды, возле деревянных рам, на которых вялились лососи, находилось кочевье индейского вождя Исаака и его племени. Харниш застал здесь и нескольких золотоискателей из старожилов. Закончив летнюю разведку на ручье Десятой Мили, они возвращались в Серкл по Юкону, но, услышав на Шестидесятой Миле об открытии золота, решили сделать остановку и исследовать местность. Когда Харниш причалил, они сидели вокруг костра, неподалеку от своей лодки. Ничего утешительного они сказать не могли.

— Просто лосиный выгон, — сказал Джим Харни, дуя в жестяную кружку с чаем. — Не ввязывайся в это дело. Один обман. Они нарочно затеяли кутерьму. Это все Харпер и Ледью мутят, а Кармак у них вроде наживки. Какой дурак станет искать там золото, когда вся-то россыпь, от борта до борта, в полмилю. Где тут коренная порода? У черта на рогах?

Харниш понимающе кивнул и задумался.

— А промывку делали? — спросил он, помолчав.

— Еще чего! — негодующе ответил Джим. — Что я, маленький? Только чечако может копаться на таком месте. А у меня хватает смекалки — только раз глянул и уже вижу, что нечего тут делать. Завтра утром уедем в Серкл. Никогда я не верил толкам о верховьях Юкона. С меня довольно верховьев Тананы. А если откроется золото, то, помяни мое слово, оно откроется не выше, а ниже по Юкону. Вот Джонни застолбил участок мили за две от участка Кармака, но ведь он у нас с придурью.

Джонни смущенно улыбнулся.

— А я это просто для смеху, — объяснил он. — Я бы рад уступить заявку за фунт табачка.

— Идет! — живо отозвался Харниш. — Но только чур не хныкать, если я добуду там двадцать или тридцать тысяч.

Джонни весело засмеялся.

— Давай табак, — сказал он.

— Эх, жаль, что и я не застолбил участка, — с досадой проворчал Джим.

— Еще не поздно, — возразил Харниш.

— Да ведь туда и обратно двадцать миль.

— Хочешь, я завтра застолблю для тебя участок? — предложил Харниш.

— А ты сделаешь заявку вместе с Джонни. На регистрацию возьми деньги у Тима Логана. Он держит буфет в салуне Старожил. Скажи ему, что это для меня, он даст. А заявку сделай на свое имя, с передачей мне. Бумагу отдай Тиму.

— Я тоже хочу, — вмешался третий старатель.

Итак, за три фунта жевательного табаку Харниш, не сходя с места, приобрел три участка по пятьсот футов в длину на ручье Бонанза. И за ним еще оставалось право сделать заявку на свое имя.

— Что это ты швыряешься табаком? — усмехнулся Джим Харни. — Фабрика у тебя, что ли?

— Нет, фабрики у меня нет, зато нюх есть, — ответил Харниш. — Он мне и говорит, что три фунта табаку за три участка отдать можно.

А час спустя уже на стоянку Харниша явился Джо Ледью, прямо с Бонанзы. Сначала он проявил полное равнодушие к находке Кармака, потом выразил сомнение и наконец предложил Харнишу сто долларов за его пай в поселке Харпера и Ледью.

— Наличными? — спросил Харниш.

— Конечно. Вот бери.

И Ледью вытащил свой мешочек. Харниш с рассеянным видом подержал его в руке, словно прикидывая вес, потом все так же рассеянно развязал тесемки и высыпал щепотку песку на ладонь. Золото было необычного оттенка. Такого цвета золото он видел только у Кармака. Он всыпал песок обратно, завязал мешочек и вернул его Ледью.

— Держи при себе, пригодится, — сказал он.

— Ничего, не последнее, — успокоил его Ледью.

— Откуда это золото? Харниш задал вопрос с самым невинным видом, и Ледью отнесся к нему с невозмутимостью, которой позавидовал бы индеец. Но на какую-то долю секунды глаза их встретились, и в это короткое мгновение в них мелькнуло что-то неуловимое, словно искра

блеснула между ними. И Харниш понял, что Ледью хитрит и скрывает от него свои тайные планы.

— Ты знаешь Бонанзу лучше меня, — сказал он. — И если ты ценишь мой пай в сто долларов, то и я ценю его не дешевле, хоть и не знаю того, что знаешь ты.

— Возьми триста долларов, — просительно сказал Ледью.

— Нет, не возьму. Посуди сам: хоть я и не знаю ничего, все равно мой пай стоит столько, сколько ты согласен дать за него.

И тут-то Ледью позорно сдался. Он увел Харниша подальше от стоянки, от других старателей, и поговорил с ним по душам.

— Есть оно там, есть, — сказал он в заключение. — Это у меня не из желоба. Все, что здесь, в мешочке, я вчера намыл с борта. Прямо под ногами валяется. А что на дне ручья в коренной — породе, и сказать трудно. Но много, очень много. Ты, помалкивай и застолби, что только сможешь. Правда, оно идет не сплошь, а гнездами. Но есть места, где с каждого участка будет добыча тысяч на пятьдесят. Беда только в том, что поди угадай, где эти гнезда.

Прошел месяц; на ручье Бонанза все еще было тихо и безлюдно. Кое-где виднелись заявочные столбы, но большинство владельцев этих участков уехало — кто на Сороковую Милю, кто в Серкл. Немногие, не потерявшие веру старатели сколачивали бревенчатые хижины для зимовки. Кармак со своими родичами индейцами мастерил промывальный желоб и подводил к нему воду. Дело подвигалось медленно — приходилось валить деревья, а потом распиливать их вручную. Немного ниже по течению на Бонанзе обосновалось четверо людей, приехавших на лодке с верховьев, — Ден Макгилварй, Дэйв Маккей, Дэв Эдуарде и Гарии Уо. Они держались особняком, на расспросы отвечали скупо и сами никого ни о чем не спрашивали. Харниш, который уже обследовал почву на краю участка Кармака, где нашел золото под самой поверхностью, и брал пробу в сотне других мест, вверх и вниз по ручью, где не нашлось ничего, горел желанием узнать, что таилось в глубоких залеганиях. Он видел, как четверо молчаливых приезжих пробили шурф у самой воды, слышал, как они распиливали бревна на доски для желоба. Он не стал дожидаться приглашения и в первый же день, когда они начали промывку, пришел посмотреть на их работу. За пять часов непрерывной загрузки желоба они добыли тринадцать с половиной унций. Там были крупицы с булавочную головку, но попадались и самородки стоимостью в двенадцать долларов. А самое главное — это было золото из коренной породы. День стоял пасмурный, с серого неба падал первый осенний снег, надвигалась лютая полярная зима. Но Харниш не грустил об уходящем быстротечном лете. Мечты его сбывались, он снова видел золотой город своих грез, выросший на обширной террасе, среди пустынных снегов. Нашли коренную породу — вот в чем удача. Открытие Кармака подтвердилось. Харниш немедленно застолбил участок, граничащий с теми тремя, которые он выменял на жевательный табак. Теперь его владения простирались на две тысячи футов в длину, а в ширину — от борта до борта россыпи.

Вечером, вернувшись на свою стоянку в устье Клондайка, он застал там Каму — индейца, которого оставил в Дайе. Кама вез почту водой в последний раз в этом году. У него было накоплено золотого песку на две сотни долларов, и Харниш тут же взял их взаймы. За это он застолбил участок для Камы и велел ему зарегистрировать эту заявку на Сороковой Миле. На другое утро Кама уехал, увозя с собой пачку писем, которые Харниш посылал всем старожилам ниже по Юкону: Харниш настоятельно советовал им немедленно ехать на Клондайк. Такие же письма отправили с Камой и другие золотоискатели Бонанзы.

«Вот это будет горячка, ничего не скажешь!» — посмеиваясь, думал Харниш, представляя себе, как все обитатели Сороковой Мили и Серкла кидаются к лодкам и, словно одержимые, мчатся сотни миль вверх по Юкону; он знал, что ему-то все поверят на слово.

С прибытием первых партий старателей жизнь закипела на ручье Бонанза, и началась гонка на большую дистанцию между ложью и правдой; как бы ожесточенно ни лгали люди, правда неизменно догоняла и опережала их ложь. Когда те, кто не поверил, что Кармак с одного раза намыл золота на два с половиной доллара, сами намывали столько же, они хвастали, что добыли целую унцию. И задолго до того, как эта ложь успевала распространиться, они добывали уже не одну унцию зараз, а пять, но утверждали, разумеется, что им остается по десять унций с каждой промывки. Однако, когда они набирали породу в таз, чтобы доказать, что они не врут, золота оказывалось уже не десять, а двенадцать унций. Так оно и шло: старатели стойко продолжали врать, но правда всегда обгоняла их.

Однажды, в декабре месяце, Харниш наполнил таз породой из коренного пласта на своем участке и понес его к себе в хижину. Печка топилась, и у него в брезентовом баке хранилась незамерзшая вода. Он сел на корточки перед баком и занялся промывкой. Казалось, в тазу нет ничего, кроме земли и гравия. Он круговым движением встряхивал таз и выливал вместе с водой легкие кусочки породы, всплывавшие на поверхность; иногда он запускал пальцы в таз и пригоршнями выбирал оттуда гравий. Содержимое таза постепенно уменьшалось. Когда в нем осталось совсем немного, Харниш, чтобы ускорить дело, сразу резким движением выплеснул мутную, загрязненную воду. Все дно таза отливало желтым блеском, словно густо смазанное свежим маслом. Золото! Золото в песчинках, в зернах, в самородках — мелких и крупных. Харниш был один в хижине, наедине со своей находкой. Он поставил таз на пол и крепко задумался. Потом закончил промывку и взвесил добычу на своих весах. Из расчета шестнадцати долларов за унцию в тазу оказалось золота на семьсот с лишним долларов. Такая удача ему даже не снилась. Самые смелые его надежды не шли дальше двадцати — тридцати тысяч долларов с участка. А здесь, даже если месторождение залегает не сплошняком, с иных участков можно снять полмиллиона!

В тот день он больше не пошел на свою выработку. Не пошел и на другой и на третий день. Вместо этого он надел меховую шапку и рукавицы и, взвалив на спину мешок с кое-какой поклажей, включая и заячий мех, отправился пешком в многодневную разведку по окрестным ручьям и водоразделам. Он имел право застолбить участок на каждом ручье, но не хотел рисковать и действовал осторожно. Заявку он сделал только на ручье Ханкер. На ручье Бонанза не оказалось ни одного свободного клочка, его уже застолбили от устья до истоков, разобрали и все участки по Впадающим в него ручейкам и овражкам. Нельзя сказать, чтобы они сулили богатую добычу, но старатели, не успевшие получить участков на Бонанзе, хватали, что могли. Наибольшие надежды возлагали на ручей Адаме, наименьшие — на Эльдорадо, впадающий в Бонанзу чуть повыше участка Кармака. Даже Харнишу ручей Эльдорадо не понравился. Однако, твердо веря своему чутью, он и здесь приобрел полпая на одну заявку, отдав за него полмешка муки. Месяц спустя он заплатил за соседний участок восемьсот долларов. Три месяца спустя, расширяя свои владения, он приобрел еще один соседний участок, но обошелся он ему уже в сорок тысяч; а в недалеком будущем ему предстояло уплатить сто пятьдесят тысяч за четвертый участок — на том же всеми презираемом ручье.

С того самого дня, когда он с одной промывки снял семьсот долларов и долго просидел на корточках над тазом, думая свою думу, Харниш больше не брал в руки кайла и заступа. Вечером этого знаменательного дня он сказал Джо Ледью:

— С тяжелой работой кончено. Теперь я начну шевелить мозгами. Стану разводить золото.

Золото будет расти, было бы умение да семена. Когда я увидел на дне таза семьсот долларов, я понял, что наконец-то семена мне достались.

— А где ты будешь их сеять? — спросил Джо Ледью.

Харниш широким взмахом руки показал на всю окрестность, вплоть до далеких ручьев за водоразделами.

— Здесь, — сказал он. — Увидишь, какой я соберу урожай. Здесь миллионы зарыты, надо только уметь их почуять. А я сегодня почуял их, когда семьсот долларов глянули на меня со дна таза и весело прощебетали: «Ага! Пришел наконец, Время-не-ждет!»

Глава одиннадцатая

Клам Харниш, прославленный герой первой поры старательства на Аляске, теперь, после находки Кармака, стал героем Клондайка. Молва о том, как он почуял там золото и сумел приготовиться к новой золотой горячке, облетела всю страну. Среди самых отчаянных вряд ли нашлось бы пять счастливцев, которые вместе обладали бы таким богатством в земельных участках, как он один. Мало того, он все с тем же азартом продолжал расширять свои владения. Рассудительные люди качали головой и предсказывали, что он потеряет все до последней унции. Уж не воображает ли он, что вся страна сплошь состоит из золота? Разве можно так рисковать, пока не добрались до жилы? Непременно зарвется и останется ни с чем.

С другой стороны, все признавали, что владения Харниша стоят миллионы, и много было людей, которые безоговорочно верили в его счастье. Невзирая на свою баснословную щедрость и бешеное расточительство, он обладал трезвым, расчетливым умом, даром предвидения и смелостью крупного игрока. Он умел угадывать скрытое от глаз будущее и вел рискованную игру, с тем чтобы либо сорвать куш, либо потерять все.

— На Бонанзе слишком много золота, — доказывал он. — Не верю, что это только гнездо. Где-то должно быть главное месторождение. Откроется золото и на других ручьях. Вы поглядывайте на Индейскую реку. Почему бы по ту сторону клондайкского водораздела не быть золоту, раз оно есть по эту сторону?

В подкрепление своих слов он послал с десяток старательских партий, ссудив их деньгами и снаряжением, в бассейн Индейской реки. Кроме того, он нанял людей, которым не досталось хороших участков, для разработки своих заявок на Бонанзе. Платил он им не скупясь — шестнадцать долларов за восьмичасовую смену; смен было три. Съестных припасов у него для начала хватало на всех; а когда пароход «Балла» последним рейсом пришел с грузом продовольствия, Харниш уступил Джеку Кернсу участок под склад в обмен на запасы и всю зиму 1896 года кормил ими своих работников. Это была голодная зима, мука стоила два доллара фунт, а у Харниша по-прежнему работали в три смены на всех четырех участках. Другие владельцы участков платили по пятнадцати долларов, но Харниш первым начал нанимать людей и всегда платил им по полной унции; поэтому у него и были отборные работники, труд которых с лихвой окупал высокую оплату.

Ранней зимой, вскоре после того, как Юкон покрылся льдом, Харниш повел особенно азартную игру. Сотни золотоискателей, застолбивших участки поблизости от Бонанзы, не найдя богатых россыпей, вернулись на Сороковую Милю и в Серкл. Харниш взял в Аляскинской торговой компании закладную под один из принадлежащих ему участков и, сунув в карман аккредитив, запряг своих лаек и отправился вниз по Юкону со скоростью, на которую только он был способен. В эту поездку он сменил двух индейцев — одного на пути туда, другого на обратном

— и четыре упряжки собак. И на Сороковой Миле и в Серкле он скупал участки десятками. Многие из них не оправдали надежд, но были и такие, где оказалось больше золота, чем даже на Бонанзе. Он покупал направо и налево, иногда по дешевке — за пятьдесят долларов, но один раз ему случилось отвалить пять тысяч. Произошло это в салуне Тиволи. Речь шла о заявке в верховьях Эльдорадо; и когда он согласился на эту неслыханную цену, Джекоб Уилкинс, один из старожилов, только что вернувшийся с Клондайка, поднялся и направился к двери.

— Послушай, Время-не-ждет, — сказал он. — Я знаю тебя уже семь лет и всегда считал, что ты человек разумный. А теперь ты всем даешь обирать себя. Ведь это грабеж, и больше ничего. Пять тысяч за клочок земли на этом паршивом выгоне для лосей! Да это — чистое жульничество! Глаза бы мои не глядели! Уж лучше я уйду.

— Вот что я тебе скажу, Уилкинс, — возразил Харниш. — Вокруг Клондайка столько золота, что мы не можем разведать всего полностью. Это лотерея. Каждый мой участок — лотерейный билет. На какой-нибудь да придется большой выигрыш.

Джекоб Уилкинс, стоя в дверях, недоверчиво хмыкнул.

— Подумай, Уилкинс, — продолжал Харниш. — Вдруг бы ты узнал, что пойдет дождь из похлебки. Что бы ты сделал? Конечно, накупил бы ложек. Так вот я и покупаю ложки. А когда на Клондайк с неба хлынет похлебка

— тому, кто придет с вилкой, ничего не достанется.

Но тут Уилкинс вышел, сердито хлопнув дверью, а Харниш отправился регистрировать свою покупку.

Вернувшись в Доусон, он развил бурную деятельность, хотя, верный данному себе слову, не прикасался к кайлу и заступу. Дел у него было по горло. Разведка месторождения — работа сложная, и ему часто приходилось самому объезжать прииски, чтобы решить, какие участки бросить, а какие оставить за собой. В ранней молодости, еще до приезда в Аляску, он разрабатывал кварцевую породу; и здесь, на Клондайке, он мечтал найти золотую жилу. Он знал, что россыпи — дело непрочное и только залежи кварца, содержащие золото, сулят подлинное богатство. В течение многих месяцев он посылал людей на разведку. Однако залежь так и не была обнаружена; и впоследствии, много лет спустя, Харниш подсчитал, что эти поиски обошлись ему в пятьдесят тысяч долларов.

Но игра шла крупная. Как ни велики были издержки, состояние Харниша росло с каждым днем. Он скупал паи, входил в долю, ссужал продовольствием и снаряжением в обмен на участие в добыче, сам делал заявки. Круглые сутки его упряжки были наготове, собаки его славились резвостью; едва доходила весть о новом открытии золота, не кто иной, как Время-не-ждет, мчался впереди всех сквозь мрак долгих морозных ночей и первым столбил участок возле находки. Случалось ему и просчитаться: многие участки не дали ничего. Но так или иначе, Харниш стал владельцем обширных золотоносных земель на Серном ручье, на ручье Доминион, Эксельсис, Сиваш, Кристо, Альгамбра и Дулитл. Тысячи долларов, выброшенные им, притекали обратно десятками тысяч. Люди с Сороковой Мили, помнившие, как он купил две тонны муки, всем рассказывали об этой покупке, — по общему мнению, она принесла ему если не миллион, то уж никак не меньше полумиллиона. Всем было известно, что его доля в первой заявке на ручье Эльдорадо, купленная им за полмешка муки, стоила теперь пятьсот тысяч долларов. Но когда Фреда, танцовщица, перевалив через Чилкут и в самый ледоход спустившись в лодке по Юкону, приехала в Доусон и нигде не могла купить муки, хотя предлагала тысячу долларов за десять мешков, Харниш послал ей муку в подарок, даже ни

разу не видев ее. Такой же подарок получил от него католический священник, открывший первую больницу на Клондайке.

Щедрость Харниша не знала границ. Многие считали это чистым безумием. Надо быть сумасшедшим, чтобы в такое время, когда можно нажить полмиллиона на полмешке муки, даром отдать двадцать мешков священнику и какой-то танцовщице! Но такая уж была у него натура. Деньги — только фишки в игре. Его же привлекала сама игра. Обладание миллионами мало изменило Харниша, он только с еще большей страстью предавался азарту. Он всегда был воздержан и лишь изредка устраивал кутежи; теперь же, когда он мог истратить сколько угодно денег и вино всегда было под рукой, он пил еще меньше прежнего. Самая коренная перемена в его образе жизни состояла в том, что он больше не стряпал для себя, кроме как в пути. Этим теперь занимался обнищавший старатель, которого Харниш поселил в своей хижине. Но пища оставалась неприхотливой: сало, бобы, мука, сушеные фрукты и рис. Одевался он тоже, как прежде: рабочий комбинезон, толстые носки, мокасины, фланелевая рубаха, меховая шапка и суконная куртка. Он не баловал себя дорогими сигарами — самые дешевые стоили полдоллара, а то и доллар штука, — а по-прежнему довольствовался самокрутками из дешевого табака. Правда, он держал много собак и платил за них бешеные деньги, но это была не роскошь, а необходимые накладные расходы; для успешного ведения дел ему требовалась быстрота передвижения. По этой же причине он нанял себе повара. Не расчет, когда делаешь миллионные обороты, тратить время на то, чтобы разводить огонь и кипятить воду.

Доусон бурно разрастался зимой 1896 года. Земельные участки Харниша брали нарасхват, и деньги так и сыпались на него со всех сторон. Он немедля вкладывал их в новые, еще более прибыльные предприятия. В сущности, его финансовые операции мало чем отличались от рискованной биржевой игры, и нигде такая игра не таила в себе столько опасностей, как на прииске россыпного золота. Но играл он не с закрытыми глазами.

— Погодите малость, пусть весть о Клондайке дойдет до большого мира, — говорил он, сидя со старыми приятелями в салуне Лосиный Рог. — А дойдет она только весной. Тогда ждите трех нашествий. Летом люди придут налегке; осенью придут со снаряжением; а весной, еще через год, сюда явятся пятьдесят тысяч. Земли не видно будет, столько налетит чечако. А пока что предстоит наплыв летом и осенью тысяча восемьсот девяносто седьмого года. Как же вы думаете готовиться к нему?

— А ты? — спросил один из собеседников.

— Я? Никак. Будь покоен, я уже приготовился. У меня с десяток артелей работает на Юконе, вытаскивают бревна. Как только лед пройдет, они пригонят сюда плоты. Хижины! Да им цены не будет весной! А доски! Две лесопилки везут для меня через перевал. Получу их, когда вскроются озера. Если кому из вас нужны доски — пожалуйста! Могу сейчас принять заказ — триста долларов за тысячу, нетесаные.

Удобно расположенные земельные участки шли в ту зиму по цене от десяти до тридцати тысяч долларов. Харниш оповестил путников по всем перевалам и дорогам, чтобы пригоняли сплавной лес; летом 1897 года лесопилки его работали день и ночь в три смены, поэтому бревен хватило и на постройку жилищ. Хижины он продавал вместе с землей — по тысяче долларов и выше, за двухэтажные деревянные дома в торговой части города брал от сорока до пятидесяти тысяч. Все нажитые деньги он тут же пускал в оборот. Снова и снова оборачивалось его золото, наращивая капитал; казалось, все, до чего он ни дотронется, превращалось в золото.

Та первая бурная зима на новом прииске многому научила Харниша. У него была широкая натура, но он не был мотом. Он видел, как свежеиспеченные миллионеры сорят деньгами, и не понимал, ради чего они это делают. Конечно, ему случалось под веселую руку играть втемную и продуваться в пух и прах — вот как в ту ночь, в Тиволи, когда он спустил в покер пятьдесят тысяч — все, что у него было. Но те пятьдесят тысяч были для него только предварительной ставкой, настоящая игра еще не начиналась. Другое дело — миллионы. Такое богатство не шутка, нечего швыряться им, швыряться в буквальном смысле слова, усеивая пол салунов содержимым мешочков из лосиной кожи, как это делали пьяные миллионеры, одуревшие от своих миллионов. Макманн, к примеру, который ухитрился в один присест прокутить тридцать восемь тысяч; или Джимми Грубиян, который в течение четырех месяцев проживал по сто тысяч долларов, а потом в мартовскую ночь, пьяный, упал в снег и замерз насмерть; или Бешеный Чарли, который владел тремя ценными участками и все пропил, прогулял и, решив уехать из страны, занял на дорогу три тысячи долларов, однако в отместку вероломной красотке, очень любившей яйца, он, не задумываясь, истратил почти все деньги на то, чтобы скупить яйца, имевшиеся в Доусоне, — сто десять дюжин по двадцать четыре доллара за дюжину — и скормил их своим собакам.

Бутылка шампанского стоила от сорока до пятидесяти долларов, банка консервированных устриц — пятнадцать долларов. Харниш не позволял себе такой роскоши. Он охотно угощал виски, по пятидесяти центов за стакан, всех посетителей бара, сколько бы их ни набралось, но, несмотря на весь свой размах, он никогда не терял чувства меры и отдать пятнадцать долларов за банку устриц считал верхом нелепости. С другой стороны, он, быть может, больше тратил на добрые дела, чем новоявленные миллионеры на самый дикий разгул. Католический патер, открывший больницу, мог бы рассказать о гораздо более щедрых дарах, чем первые десять мешков муки. И ни один из старых друзей Харниша, прибегавших к его помощи, не уходил от него с пустыми руками. Ко пятьдесят долларов за бутылку шипучки? С ума надо сойти!

Впрочем, время от времени он еще, как бывало, устраивал кутежи, на которых царило самое бесшабашное веселье. Но делал он это из других побуждений, чем раньше. Во-первых, этого ждали от него, потому что так повелось издавна. Во-вторых, теперь он мог не считаться с расходами. Но такого рода развлечения уже мало занимали его. Понемногу им овладевала новая, неведомая ему дотоле страсть — жажда власти. Ему уже мало было того, что он куда богаче всех золотоискателей Аляски, он жаждал еще большего богатства. Он чувствовал себя партнером в грандиозной игре, и ни одна из прежних игр так не увлекала его. Ведь, кроме азарта, она давала и радость созидания. Что-то делалось по его воле. Как ни прельщали его богатые залежи на реке Эльдорадо, для его деятельной натуры не было большей услады, чем зрелище двух работающих в три смены лесопилок, широких плотов, плывущих вниз по течению и пристающих к берегу в большом затоне у Лосиной горы. Золото, даже уже взвешенное на весах, в сущности, не было реальной ценностью. Оно только давало возможность, приобретать и действовать. Лесопилки — вот подлинная ценность, наглядная и ощутимая, и к тому же средство производить новые ценности. Они — сбывшаяся мечта, неоспоримое, вещественное воплощение волшебных снов.

Вместе с потоком золотоискателей, летом того года наводнивших страну, прибыли и корреспонденты крупных газет и журналов, и все они, заполняя целые полосы, пространно писали о Харнише; поэтому для большого мира самой заметной фигурой Аляски стал именно он. Правда, несколько месяцев спустя внимание мира приковала к себе война с Испанией, и Харниш был начисто забыт; но на Клондайке слава его не меркла. Когда он проходил по улица Доусона, все оглядывались на него, а в салунах новички глаз с него не сводили, с благоговейным трепетом следя за каждым его движением. Он был не только самый богатый человек в стране — он был Время-не-ждет, первооткрыватель, тот, кто в почти доисторическую

пору этой новой страны перевалил через Чилкут, спустился по Юкону и стал соратником старейших титанов Аляски — Эла Мэйо и Джека МакКвещена. Он был Время-не-ждет, герой бесчисленных отважных подвигов, бесстрашный гонец, издалека, через тундровую пустыню, принесший весть китобойной флотилии, затертой торосами в Ледовитом океане, быстроногий путник, в шестьдесят дней домчавший почту из Серкла до Соленой Воды и обратно, великодушный спаситель целого племени Танана в голодную зиму 1891 года, — словом, это был тот человек, который потрясал воображение чечако сильнее, чем любой десяток других золотоискателей, вместе взятых.

Он обладал какой-то роковой способностью создавать себе рекламу. Что бы он ни делал, в какие бы рискованные приключения ни пускался под влиянием минуты — все неизменно одобряли его поступки. И постоянно из уст в уста передавался рассказ об очередном подвиге, совершенном им, — будь то рассказ о том, как он первым прибыл на место во время тяжелейшего похода на Датский ручей, как он убил самого большого медведя на Серном ручье или выиграл гонки байдарок в день рождения королевы Виктории, в которых принял участие случайно, заменив в последнюю минуту неявившегося представителя старожилов. Однажды в салуне Лосиный Рог состоялась долгожданная схватка с Джеком Кернсом, когда Харниш взял реванш за свой давний проигрыш в покер. Ставок не ограничивали, подымай хоть до неба, но предельный срок установили — восемь часов утра. Харниш выиграл двести тридцать тысяч. Джека Кернса, успевшего за последние годы нажить несколько миллионов, такой проигрыш разорить не мог, но весь прииск восхищался бешеным азартом игры, и все журналисты, сколько их здесь собралось, послали в свои газеты сенсационные заметки.

Глава двенадцатая

Всю первую зиму, несмотря на многочисленные источники доходов, Харниш нуждался в наличных деньгах для своих финансовых операций. Золотоносный гравий, который оттаивали в шахтах, снова промерзал, как только его поднимали на поверхность, — поэтому он ничего не мог извлечь из своих отвалов, хотя золота там было на несколько миллионов. Только весной, когда солнце прогрело породу, а вскрывшаяся река в изобилии снабжала разработки водой для промывки, у Харниша оказался излишек золота, который он и поместил в двух только что открывшихся банках; тотчас же и дельцы-одиночки и целые группы дельцов стали осаждать его предложениями вложить капитал в их предприятия.

Но он предпочитал вести игру на свой страх и риск и вступал в объединения только ради защиты общих интересов капиталистов. Так, несмотря на то, что он сам всегда платил рабочим больше других, он записался в Ассоциацию владельцев рудников, возглавил начатую ими кампанию и успешно подавил растущее недовольство наемных рудокопов. Времена изменились. Былые дни безвозвратно миновали. Наступила новая эра, и Харниш, богатый шахтовладелец, защищал интересы своего класса. Правда, чтобы спасти старых друзей, теперь работавших на него, от дубинки объединившихся хозяев, он назначал их штейгерами и отдавал под их начало партии чечако; но делал он это, повинуясь голосу сердца, а не рассудка. В сердце он хранил память о минувших днях, рассудок же понуждал его вести игру по новейшим и наиболее действенным методам.

Но этим и ограничивались его связи с другими капиталистами: он решительно отказывался быть партнером в чужой игре; он хотел в одиночку разыгрывать свои карты и отвечать за высокую ставку своими собственными деньгами. Особенно привлекала его недавно основанная в Доусоне фондовая биржа. Он никогда не видел такого института, но быстро постиг его сущность и научился пользоваться им. Биржа стала для него новой азартной игрой, и зачастую, даже когда этого не требовали его личные финансовые комбинации, он, по собственному выражению, мутил воду просто так, для баловства.

— Это малость веселее, чем «фараон», — сказал он однажды, после того как биржу лихорадило всю неделю только потому, что Харниш играл то на понижение, то на повышение; когда он в конце концов открыл свои карты, ему очистился такой куш, который для всякого другого был бы целым состоянием.

Многие из тех, кому повезло на Клондайке, вернулись на юг, в Соединенные Штаты, чтобы передохнуть после жестокой битвы за золото у Полярного круга. Но когда Харниша спрашивали, скоро ли он уедет, он только смеялся и отвечал, что уедет не раньше, чем разыграет все свои козыри. И добавлял, что нужно быть дураком, чтобы бросить игру как раз в ту минуту, когда у него козыри на руках.

Среди тысяч чечако, преклонявшихся перед Харнишем, твердо установилось мнение, что это человек, не знающий страха. Но Беттлз, Макдональд и другие старожилы качали головой и, посмеиваясь, говорили: женщины! И они были правы. Он, как огня, боялся женщин с тех самых пор, когда восемнадцатилетним юнцом на пути в Аляску повстречался с женщиной из Джуно по прозвищу Королева Анна и та открыто и беззастенчиво навязывала ему свою любовь. В сущности, он и не знал женщин, для него они были загадкой; он родился на прииске, где женщины появлялись редко, сестер у него не было, матери он лишился в раннем детстве — он вырос среди мужчин. Правда, после того как он сбежал от Королевы Анны, он на Юконе видел женщин и водил с ними знакомство. Это были первые женщины, отважившиеся перевалить через Чилкут и пуститься по следам мужчин, открывших золото на Аляске. Он шел вместе с ними, но ни один ягненок так не дрожал перед волком, как он дрожал перед своими спутницами. Только мужская гордость удерживала его подле них; но женщины остались для него закрытой книгой, и, конечно, он предпочитал их обществу любую карточную игру.

Теперь, став общепризнанным королем Клондайка, носителем и других громких титулов, а именно: король Эльдорадо, король Бонанзы, барон лесной промышленности, князь золотых приисков, не говоря уже о самом высоком звании — звании Отца старожилов, — теперь он пуще прежнего боялся женщин. Он всегда был их баловнем, но никогда они так настойчиво не гонялись за ним, как сейчас; и с каждым днем все больше и больше женщин приезжало в Доусон. Сидел ли он за обедом в доме приискового инспектора, угощал ли вином посетителей на танцульке или давал интервью журналистке из нью-йоркской «Сан» — все представительницы прекрасного пола неизменно вешались ему на шею.

Только одна женщина не охотилась за ним — Фреда, танцовщица, которой он подарил десять мешков муки. Только с ней чувствовал он себя свободно, потому что она никогда не пыталась увлечь его. И, однако, именно она еще во сто крат усугубила его страх. Случилось это осенью 1897 года. Он возвращался с одного из своих молниеносных походов, во время которого обследовал ручей Гендерсон, впадающий в Юкон чуть пониже реки Стюарт. Зима застала его врасплох, и он с трудом пробирался все семьдесят миль пути на утлой лодке сквозь густую ледяную кашу. Ведя лодку у самого припая, он проскочил плюющееся льдом устье Клондайка, но успел заметить человека, который, видимо, в сильном волнении метался по берегу, показывая рукой на воду. И Харниш увидел, что в самой гуще ледяной каши тонет одетая в меха женщина. Воспользовавшись просветом в крутящемся водовороте, он в две секунды очутился на месте и, погрузив руки до плеч в воду, осторожно втащил женщину в лодку. Это была Фреда. И ему оставалось бы только радоваться ее спасению, если бы она, когда ее привели в чувство, не глянула на него сверкающими гневом синими глазами и не спросила: «Зачем? Ах, зачем вы это сделали?»

Это его озадачило. В ту ночь и еще несколько дней подряд он против обыкновения не засыпал как убитый, а долго лежал без сна, вспоминая ее лицо, горящий гневом взгляд и снова и снова вдумываясь в ее слова. Искренность их не вызывала сомнений. Горький упрек вырвался у нее

из самой глубины души. Она в самом деле сердилась на него. И все же он не мог найти разгадку.

Когда он встретился с ней, она отвернулась от него с презрением и злостью. Правда, потом она пришла к нему, просила у него прощения и намекнула, что один человек где-то, когда-то отнял у нее желание жить; каким образом отнял, она не сказала. Она говорила от чистого сердца, но бессвязно, и он понял только, что это случилось много лет назад; и еще он понял, что она любила этого человека.

В этом все горе — любовь. Все беды от нее. Она страшнее стужи и голода. Против женщин он ничего не имел; сами по себе они очень славные, и смотреть на них приятно; но вместе с ними приходит это страшилище — любовь — и опаляет их, мутит разум, и тогда уж от них всего можно ожидать. Фреда — чудесное создание, здоровая, красивая и очень неглупая; но пришла любовь — и вот уж ей жизнь не мила, она уезжает на Клондайк, хочет покончить с собой, а его ненавидит за то, что он вытащил ее из воды. Что ж, до сих пор он не болел любовью, как не болел оспой; но его постоянно подстерегает эта болезнь, она не менее прилипчива, чем оспа, а протекает куда тяжелее. На какие страшные и безрассудные поступки она толкает людей! Вроде белой горячки, только еще хуже. И если он схватит эту болезнь, она может скрутить его, и он свихнется, как все. Ведь это умопомешательство, к тому же заразительное. Сколько мужчин до безумия влюблены в Фреду, и все они хотят жениться на ней. А она влюблена в кого-то на другом краю света и даже не глядит на них.

Но самый страшный, самый беспощадный удар нанесла ему Мадонна. Однажды утром ее нашли мертвой, с простреленной головой, в ее хижине. Она ушла из жизни, не оставив ни объяснения, ни прощального привета. Пошли толки и пересуды. Какой-то остряк, выражая общее мнение, сказал, что покойница недаром поторопилась, — время, мол, не ждет. Все знали и вслух говорили о том, что Мадонна покончила с собой от несчастной любви. Корреспонденты подхватили это, и опять Время-не-ждет, король Клондайка, занял видное место среди сенсаций воскресных выпусков в Соединенных Штатах. Газеты писали, что Мадонна, переехав из Серкла в Доусон, вела честную жизнь, и так оно и было. Здесь никто не видел ее в салунах. Сперва она зарабатывала на жизнь стиркой белья, потом купила швейную машину, шила для золотоискателей походные парки, меховые шапки, рукавицы из лосиной кожи. Когда на Юконе открылся первый банк, она поступила туда конторщицей. Все это и еще другие подробности были известны, и о них много говорили, хотя никто ни в чем не упрекал Харниша, признавая, что он лишь поневоле стал виновником ее безвременной кончины.

Больше всего мучило его сознание, что это правда.

Никогда не забыть ему последнего вечера, проведенного с ней. Тогда он ни о чем не подозревал, но теперь, оглядываясь назад, он с горечью, до мельчайших подробностей припоминал эту последнюю встречу в канун ее трагической смерти. Теперь все стало ему ясно — ее спокойствие, какая-то умиротворенная отрешенность, словно все житейские тревоги рассеялись, отошли от нее, почти материнская ласка ее слов и движений. Он вспоминал, как она смотрела на него, как смеялась, когда он рассказывал анекдот про Мики Долана, по ошибке застолбившего участок в лощине Скукум. Она смеялась весело, но сдержанно, не хохотала громко и заразительно, как когда-то. Не то чтобы она была грустна или расстроена. Напротив, она казалась такой довольной, безмятежной! Она обманула его, и он, дурак, ничего не заметил. Он даже решил, что она разлюбила его, радовался этому и уже предвкушал, какая между ними будет хорошая, крепкая дружба, когда эта злосчастная любовь наконец перестанет мешать им.

Но вот он с шапкой в руках, уже открывая дверь, попрощался с ней; и тут она вдруг

наклонилась и поцеловала ему руку. Это очень удивило его; но тогда он только смутился, а теперь с ужасом вспоминал этот поцелуй, и ему казалось, что он все еще чувствует на руке прикосновение ее губ. Она прощалась с ним, прощалась навеки, а он ничего не понял. И в минуту прощания и весь вечер, с хорошо знакомым ему хладнокровием и решимостью, она глядела в лицо смерти. Если бы он только знал! Пусть любовная горячка пощадила его — он все равно женился бы на ней, мелькни у него хоть смутная догадка о том, что она задумала. Но и это не помогло бы: она была горда и никогда не вышла бы за него, зная, что он женится на ней из жалости. Ее ничто уже не могло спасти. Грозный недуг сразил ее, и с самого начала она была обречена на гибель.

Правда, она не погибла бы, если бы и он, как все, заболел, но он не заболел этим недугом. И если бы даже это случилось, он, вероятно, полюбил бы Фреду или какую-нибудь другую женщину. Вот, к примеру, Дартуорти, человек с образованием, который владел богатым участком на ручье Бонанза повыше Находки. Все знали, что Берта, дочь старика Дулитла, по уши влюблена в него. Но он, схватив любовную горячку, полюбил не ее, а жену полковника Уолстона, горного инженера на руднике Гугенхаммера. И чем же это кончилось? Тремя случаями тяжелого умопомешательства: Дартуорти продал свою разработку за одну десятую цены; несчастная женщина пожертвовала своим добрым именем и положением в обществе и пустилась с ним в лодке вниз по Юкону; а полковник Уолстон в исступлении, горя жаждой мести, погнался за ними в другой лодке. И так они промчались по мутным водам Юкона, мимо Сороковой Мили и Серкла, навстречу своей гибели — где-то там, в безлюдной пустыне. Такова любовь. Она разрушает жизнь мужчин и женщин, обрекает их на бедствия и смерть, опрокидывает все, что разумно и человечно, толкает порядочных женщин на измену или самоубийство, а из мужчин, известных своим благородством и честностью, делает убийц и негодяев.

Впервые в своей жизни Харниш потерял самообладание. Он был охвачен страхом и не скрывал этого. Женщины — страшные создания, опасные носители болезнетворных микробов. А сами они отважны до дерзости, они не знают страха. Их отнюдь не испугала судьба Мадонны. Они по-прежнему раскрывают ему объятия.

Молодой, красивый, атлетического сложения и ровного, веселого нрава, Харниш и без своего богатства пленял женские сердца. Но когда ко всем этим качествам прибавились огромное состояние и слава романтического героя, все незамужние женщины, с которыми он встречался

— да и многие замужние, — стали заглядываться на него. Другого мужчину такое внимание могло бы избаловать, вскружить ему голову; но на Харниша это оказывало только одно действие: страх его все возрастал. В конце концов он почти перестал бывать в домах, где мог застать женское общество, и посещал преимущественно пансионы для холостяков и салун Лосиный Рог, не имевший помещения для танцев.

Глава тринадцатая

Шесть тысяч золотоискателей собралось в Доусоне зимой 1897 года, разработка окрестных ручьев шла полным ходом; было известно, что за перевалами еще сто тысяч человек дожидаются весны, чтобы двинуться на Клондайк. Как-то в ненастный зимний день Харниш обозревал местность с высокой террасы между Французской горой и горой Скукум. Под ним лежал самый богатый прииск ручья Эльдорадо; ручей Бонанза был ясно виден на много миль вверх и вниз по течению. Куда ни глянь — повсюду картина безжалостного разрушения. В горах, до самых вершин, лес был начисто вырублен, на обнаженных склонах зияли трещины и выемки, их не скрывал даже плотный снеговой покров. Вокруг чернели хижины старателей, но людей не было видно. Над долинами рек висела завеса дыма, превращая и без того серенький

день в тоскливые сумерки. Столбы дыма поднимались над тысячью ям в снегу; а на дне этих ям люди ползали среди промерзшего песка и гравия, копали, скребли, разводили огонь, прогревая почву. То там, то сям, где только еще пробивали новый шурф, вырывалось багровое пламя. Люди вылезали из ям или исчезали в них, либо, стоя на грубо сколоченных помостах, при помощи ворота выбрасывали оттаявший гравий на поверхность, где он немедленно опять замерзал. Повсюду виднелись следы весенних промывок — груды желобов, шлюзов, огромных водяных колес, брошенное снаряжение целой армии, охваченной золотой горячкой.

— Роют где попало и как попало. Куда ж это годится? — вслух проговорил Харниш.

Он посмотрел на оголенные склоны и понял, какой ущерб нанесен лесным богатствам. Окинул взором местность и увидел чудовищную неразбериху случайных лихорадочных разработок. Подивился несоразмерности вложенного труда с плодами его... Каждый работал для себя, и вот следствие — полный хаос. На этих богатейших приисках добыча золота на два доллара стоила один доллар, и на каждый доллар, добытый в судорожной спешке, неизбежно приходился один доллар, оставленный в земле. Еще год, и большинство участков будет выработано, а добыча в лучшем случае окажется равной по ценности недобытому золоту.

Нужна организация, решил он; и его воображение тотчас нарисовало ему заманчивую картину. Он уже видел весь бассейн Эльдорадо, от истоков до устья, от одного горного кряжа до другого, под управлением единой твердой руки. Прогревание породы при помощи пара еще не применяли здесь, но, конечно, будут применять; однако ведь и это только полумера. Понастоящему надо бы обработать берега и края русла гидравлическим способом, а потом по дну ручья пустить драги, как это, судя по рассказам, делается в Калифорнии.

Вот где заложены новые невиданные шансы на успех! Он часто думал о том, для какой именно цели Гугенхаммеры и крупные английские концерны посылают сюда своих высокооплачиваемых специалистов. Теперь он понял, каковы их намерения. Поэтому-то они и предлагали ему купить его выработанные участки и отвалы. Им не страшно, что старатели выгребут немного золота с своих мелких участков, — в отходах его остается на миллионы долларов.

И, глядя с высоты на эту мрачную картину тяжелого, почти бесплодного труда, Харниш обдумывал план новой игры, такой игры, в которой и Гугенхаммерам и остальным золотопромышленникам нельзя будет не считаться с ним. Но как ни радовала его эта новая затея, он чувствовал себя усталым. Долгие годы, проведенные в Арктике, утомили его, и ему хотелось новых впечатлений, хотелось своими глазами увидеть большой мир, о котором он столько слышал, но не знал ровно ничего. Там можно развернуться, там есть простор для азарта. Почему же ему, миллионеру, не сесть за карточный стол и не принять участия в игре? Так случилось, что в тот день у горы Скукум Харниш решил разыграть свою последнюю, самую счастливую карту на Клондайке и отправиться в большой мир по ту сторону перевалов.

Однако на это потребовалось время. О пустил доверенных лиц по следам горных инженеров, и на тех ручьях, где они скупали участки, он тоже покупал. Где бы они ни облюбовали выработанное русло, они повсюду натыкались на Харниша, владельца нескольких смежных или умело разбросанных участков, которые сводили на нет все их планы.

— Я, кажется, веду игру в открытую, кто вам мешает выиграть? — сказал он однажды своим соперникам во время ожесточенного спора.

За этим последовали войны, перемирия, взаимные уступки, победы и поражения. В 1898 году на Клондайке уже жили шестьдесят тысяч золотоискателей, и состояния их, так же как все их

денежные дела, колебались в зависимости от военных действий Харниша. Все больше и больше входил он во вкус этой грандиозной игры. Уже сейчас в битвах с могущественными Гугенхаммерам и он бил их своими картами как хотел. Особенно ожесточенная схватка произошла из-за Офира, самого обыкновенного пастбища лосей с незначительным содержанием золота в почве. Ценность Офира заключалась только в его обширности. Харнишу принадлежали здесь семь смежных участков в самом центре, и стороны никак не могли договориться. Представители Гугенхаммеров решили, что эксплуатация столь крупного прииска будет Харнишу не по зубам, и предъявили ему ультиматум: либо все, либо ничего; но Харниш тут же согласился и выплатил им отступные.

Планы свои он разработал сам, но для осуществления их выписал инженеров из Соединенных Штатов. В верховьях реки Ринкабилли, в восьмидесяти милях от Офира, он построил водохранилище, откуда вода по огромным деревянным трубам перегонялась на Офир. Водохранилище и трубопровод должны были, по смете, обойтись в три миллиона, а стоили Харнишу четыре. Но этим он не ограничился. Он оборудовал электрическую станцию, и его рудники освещались электричеством и работали на электрическом токе. Другие золотоискатели, разбогатевшие так, как им и не снилось, мрачно качали головой, пророчили Харнишу полное разорение и решительно отказывались вкладывать деньги в столь безрассудную затею. Но Харниш только усмехался в ответ и распродавал остатки своих владений в поселке. Он продал их в самое время, в момент наивысшей добычи золота. Когда он предостерегал своих старых друзей, сидя с ними в салуне Лосиный Рог, что через пять лет в Доусоне не найдется покупателей на земельные участки, а хижины будут разобраны на дрова, все смеялись над ним: никто не сомневался, что за это время откроется жильное золото. Но Харниш не давал сбить себя с толку, и когда он перестал нуждаться в лесе, продал и свои лесопилки. Отделался он и от всех участков, разбросанных по ручьям, и своими силами, ни у кого не одолжаясь, достроил трубопровод, установил драги, выписал машины и приступил к разработкам на Офире. Пять лет тому назад он пришел сюда через водораздел из долины Индейской реки по безмолвной пустыне, навьючив свою поклажу на собак, как это делают индейцы, и, как они, питаясь одной лосятиной; теперь хриплые гудки возвещали начало работы на его рудниках, и сотни рабочих трудились в ярко-белом свете дуговых ламп.

Но свершив задуманное, он стал готовиться к отъезду. Как только весть об этом распространилась, Гугенхаммеры, английский концерн и недавно учрежденная французская компания наперебой стали предлагать Харнишу купить у него Офир и все оборудование. Гугенхаммеры давали больше, нежели их конкуренты, и Харниш продал им Офир, нажив на этой сделке миллион. По общему мнению, его капитал достиг теперь двадцати, а то и тридцати миллионов. Но истинные размеры его богатства были известны только ему самому, и, продав свою последнюю заявку, он подсчитал, что золотая горячка на Клондайке, которую он предчувствовал задолго до того, как она разразилась, принесла ему чуть больше одиннадцати миллионов.

Прощальный пир Харниша вошел в историю Юкона наряду с другими его подвигами. Пиршество состоялось в Доусоне, но приглашены были все юконцы. В этот последний вечер ничье золото, кроме золота хозяина, не имело хождения. Все салуны были открыты ночь напролет, ряды официантов пополнены, но вино не продавалось, им угощали даром. Если кто-нибудь отказывался и настаивал на своем желании заплатить, десять человек вызывали обидчика на бой. Самые зеленые чечако бесстрашно вступались за честь своего героя. И среди пьяного разгула, в неизменных мокасинах, как вихрь, носился Время-не-ждет, отчаянный, бесшабашный, пленяя все сердца приветливостью и дружелюбием; он испускал вой таежного волка, заявлял, что это его ночь и ничья другая, прижимал руки противников к стойке, показывал чудеса силы и ловкости; его смуглое лицо разгорелось от вина, черные глаза

сверкали; попрежнему на нем были комбинезон и суконная куртка, незавязанные наушники торчали, а меховые рукавицы болтались на ремешке, накинутом на шею. Однако этот последний кутеж уже не был ни риском втемную, ни крупной ставкой, а всего только мелкой фишкой, сущей безделицей для него — обладателя стольких фишек.

Но Доусон такого кутежа еще не видел. Харниш хотел, чтобы эта ночь осталась у всех в памяти; и его желание исполнилось. Добрая половина жителей перепилась. Стояла глубокая осень, и хотя реки еще не замерзли, градусник показывал двадцать пять ниже нуля, и мороз крепчал. Поэтому пришлось отрядить спасательные команды, которые подбирали на улицах свалившихся с ног пьяных, ибо достаточно было бы им уснуть на один час, чтобы уже не проснуться. Эти спасательные команды придумал, конечно, Харниш. Он хотел задать всему Доусону пир — и исполнил свою прихоть, напоив допьяна сотни и тысячи людей; но, не будучи в глубине души ни беспечным, ни легкомысленным, он позаботился о том, чтобы разгульная ночь не омрачилась каким-нибудь несчастным случаем. И, как всегда, был отдан строгий приказ: никаких драк; с нарушителями запрета он будет расправляться самолично. Но надобности в такой расправе не представилось: сотни преданных поклонников Харниша ревностно следили за тем, чтобы драчуны были выкатаны в снегу для протрезвления и отправлены в постель. В большом мире, когда умирает магнат промышленности, колеса подвластной ему индустриальной машины останавливаются на одну минуту. Но на Клондайке отъезд юконского магната вызвал такую неистовую скорбь, что колеса не вертелись целых двадцать четыре часа. Даже огромный прииск Офир, на котором была занята тысяча рабочих и служащих, закрылся на сутки. Наутро после кутежа почти никто не явился на работу, а те, что пришли, не держались на ногах.

Еще через день на рассвете Доусон прощался с Харнишем. Тысячи людей, собравшихся на пристани, натянули рукавицы, завязали наушники под подбородком. Было тридцать градусов ниже нуля, ледяная кромка стала плотнее, а по Юкону плавала каша изо льда. На палубе «Сиэтла» стоял Харниш и, прощаясь с друзьями, окликал их и махал им рукой. Когда отдали концы и пароход двинулся к середине реки, те, что стояли поближе, заметили слезы на глазах Харниша. Он покидал страну, которая стала его родиной; ведь он почти не знал другой страны, кроме этого дикого, сурового края у самого Полярного круга. Он сорвал с себя шапку и помахал ею.

— Прощайте! — крикнул он. — Прощайте все!

Часть вторая

Глава первая

Не в ореоле славы явился Время-не-ждет в Сан-Франциско. В большом мире успели позабыть не только о нем, — забыт был и Клондайк. Другие события заслонили их, и вся аляскинская эпопея, так же как война с Испанией, давно изгладилась из памяти. С тех пор много воды утекло. И каждый день приносил новые сенсации, а место в газетах, отведенное сенсационным известиям, было ограничено. Впрочем, такое невнимание к его особе даже радовало Харниша. Если он, король Арктики, обладатель одиннадцати миллионов с легендарным прошлым, мог приехать никем не замеченный, — это только доказывало, насколько крупная игра ему здесь предстоит.

Он остановился в гостинице св. Франциска, дал интервью начинающим репортерам, которые рыскают по гостиницам, после чего в утренних газетах появились краткие заметки о нем. Весело усмехаясь про себя, он начал приглядываться к окружающему, к новому для него

порядку вещей, к незнакомым людям.

Все кругом было ему чуждо, но это нимало не смущало его. Не только потому, что одиннадцать миллионов придавали ему вес в собственных глазах: он всегда чувствовал беспредельную уверенность в свои силах; ничто не могло поколебать ее. Не испытывал он также робости перед утонченностью, роскошью, богатством большого цивилизованного города. Он опять очутился в пустыне, в новой пустыне, непохожей на прежнюю, — вот и все; он должен исследовать ее, изучить все приметы, все тропы и водоемы; узнать, где много дичи, а где тяжелая дорога и трудная переправа, которые лучше обходить стороной. Как всегда, он избегал женщин. Страх перед ними все еще безраздельно владел им, и он и близко не подходил к блистающим красотой и нарядами созданиям, которые не устояли бы перед его миллионами. Они бросали на него нежные взоры, а он так искусно скрывал свое замешательство, что им казалось, будто смелей его нет мужчины на свете. Не одно только богатство пленяло их в нем, нет, — очень уж он был мужественный и очень уж не похож на других мужчин. Многие заглядывались на него: еще не старый — всего тридцать шесть лет, красивый, мускулистый, статный, преисполненный кипучей жизненной энергии; размашистая походка путника, приученного к снежной тропе, а не к тротуарам; черные глаза, привыкшие к необозримым просторам, не притупленные, тесным городским горизонтом. Он знал, что нравится женщинам, и, лукаво усмехаясь про себя, хладнокровно взирал на них, как на некую опасность, с которой нужно бороться; но перед лицом этой опасности ему куда труднее было сохранять самообладание, чем если бы то был голод, мороз или половодье.

Он приехал в Соединенные Штаты для того, чтобы участвовать в мужской игре, а не в женской; но и Мужчин он еще не успел узнать. Они казались ему изнеженными, физически слабыми; однако под этой видимой слабостью он угадывал хватку крутых дельцов, прикрытую внешним лоском и обходительностью; чтото кошачье было в них. Втречаясь с ними в клубах, он спрашивал себя: можно ли принимать за чистую монету дружелюбное отношение их к нему и скоро ли они, выпустив когти, начнут царапать его и рвать на куски? «Все дело в том, — думал он, — чего от них ждать, когда игра пойдет всерьез». Он питал к ним безотчетное недоверие: «Скользкие какие-то, не ухватишь». Случайно услышанные сплетни подтверждали его суждение. С другой стороны, в них чувствовалась известная мужская прямота, это обязывает вести игру честно. В драке они, конечно, выпустят когти, это вполне естественно, но все же царапаться и кусаться они будут согласно правилам. Таково было общее впечатление, которое произвели на него будущие партнеры, хотя он, разумеется, отлично понимал, что среди них неизбежно найдется и несколько отъявленных негодяев.

Харниш посвятил первые месяцы своего пребывания в Сан-Франциско изучению особенностей и правил игры, в которой ему — предстояло принять участие. Он даже брал уроки английского языка и отвык от самых грубых своих ошибок, но в минуты волнения он мог, забывшись, по-прежнему сказать «малость», «ничего не скажешь» или что-нибудь в этом роде. Он научился прилично есть, одеваться и вообще держать себя, как надлежит цивилизованному человеку; но при все том он оставался самим собой, излишней почтительности не проявлял и весьма бесцеремонно пренебрегал приличиями, если они становились ему поперек дороги. К тому же, не в пример другим, менее независимым новичкам из захолустных или далеких мест, он не благоговел перед божками, которым поклоняются различные племена цивилизованного общества. Он и прежде видел тотемы и хорошо знал, какая им цена.

Когда ему наскучило быть только зрителем, он поехал в Неваду, где уже началась золотая горячка, чтобы, как он выразился, немного побаловаться. Баловство, затеянное им на фондовой бирже в Тонопа, продолжалось ровно десять дней; Харниш, бешено играя на повышение, втянул в игру более осторожных биржевиков и так прижал их, что они рады были, когда он уехал, увозя полмиллиона чистого выигрыша. Вернулся он в Сан-Франциско в свою

гостиницу очень довольный. «Баловство» пришлось ему по вкусу, и желание поиграть в эту новую игру все сильнее обуревало его.

Снова он стал сенсацией. «Время-не-ждет» — опять запестрело в огромных газетных заголовках. Репортеры осаждали его. В редакциях газет и журналов раскапывали архивы, и легендарный Элам Харниш, победитель морозов, король Клондайка и Отец старожилов, стал неотъемлемой принадлежностью утреннего завтрака в миллионах семейств наряду с поджаренным хлебом и прочей снедью. Волей-неволей, даже раньше назначенного им самим срока, он оказался втянутым в игру. Финансисты, биржевые маклеры и все выброшенные за борт, все обломки крушений в мутном море спекулятивной игры хлынули к берегам его одиннадцати миллионов. Чтобы хоть отчасти оградить себя, он вынужден был открыть контору. Он сумел привлечь партнеров, и теперь, уже не спрашивая его согласия, они сдавали ему карты, требовали, чтобы он вступил в игру.

Ну что ж, он не прочь, он им покажет, невзирая на злорадные пророчества, что он очень скоро продуется, — пророчества, сопровождаемые догадками о том, как эта деревенщина будет вести игру, и описаниями его дикарской наружности.

Сначала он занимался пустяками — «чтобы выиграть время», как он объяснил Голдсуорти, с которым подружился в клубе Алта-Пасифик и по рекомендации которого прошел в члены клуба. И благо ему, что он поостерегся: он был искренне потрясен обилием мелких акул — «сухопутных акул», как он называл их, — кишевших вокруг него. Он видел их насквозь и диву давался, что добычи хватает на такое огромное множество ртов. Все они были столь явные мошенники и проходимцы, что Харнишу просто не верилось, чтобы они могли кому-нибудь втереть очки.

Но очень скоро он узнал, что бывают и другие акулы.

Голдсуорти относился к нему не просто как к члену своего клуба, а почти как к брату родному: давал советы, покровительствовал ему, знакомил с местными дельцами. Семья Голдсуорти жила в прелестной вилле около Мэнло-Парка, и на этой вилле Харниш провел не одно воскресенье, наслаждаясь таким утонченным домашним уютом, какой ему и не снился. Голдсуорти был страстный любитель цветов и вдобавок до самозабвения увлекался разведением ценных пород домашней птицы. И та и другая мания крайне забавляли Харниша, служили ему неиссякаемым источником добродушных насмешек. В его глазах такие невинные слабости только доказывали душевное здоровье Голдсуорти, и это еще сильнее располагало к нему. Состоятельный, преуспевающий делец, не страдающий чрезмерным честолюбием, игрок, который довольствуется небольшими выигрышами и никогда не станет впутываться в крупную игру, — таково было мнение Харниша о Голдсуорти.

В одно из воскресений Голдсуорти предложил ему дельце, небольшое, но выгодное; речь шла о финансировании кирпичного завода в деревне Глен Эллен. Харниш очень внимательно выслушал предложение своего друга. Оно показалось ему весьма разумным; смущало его только то обстоятельство, что уж больно мелкое это было дело да еще в совершенно чуждой ему отрасли; но он все же согласился, чтобы сделать одолжение другу, ибо Голдсуорти объяснил, что сам он уже вложил в завод небольшую сумму, а больше пока не может, потому что хотя дело верное, но ему пришлось бы ради него сократить финансирование других предприятий. Харниш выложил пятьдесят тысяч и сам потом, смеясь, рассказывал: «Я, конечно, влип, только Голдсуорти тут ни при чем, это все его куры, чтоб им, и плодовые деревья».

Но урок пошел ему на пользу: он понял, что в мире бизнеса нет никаких нравственных догм, и

даже простое, нехитрое правило о верности тому, с кем делишь хлеб-соль, не стоит внимания по сравнению с нерентабельным кирпичным заводом и пятьюдесятью тысячами долларов наличными. Однако он считал, что все разновидности акул одинаково плавают только на поверхности. Где-то на большой глубине, наверно, действуют люди порядочные и солидные. С этими-то промышленными магнатами и финансовыми тузами он и решил вести дела. По его мнению, уже один размах, масштабы их операций и коммерческой деятельности обязывали их к честной игре. Здесь не могло быть места мелкому жульничеству и шулерским трюкам. Мелкий делец способен обмануть покупателя, рассыпав по участку золотоносный песок, или всучить лучшему Другу никудышный кирпичный завод, но в высших финансовых сферах никто не станет заниматься такими пустяками. Там люди ставят себе целью процветание своей страны, они прокладывают железные дороги, развивают горную промышленность, открывают доступ к природным богатствам. Такая игра должна по необходимости быть крупной и солидной.

«Не пристало им передергивать карты», — заключал он свои рассуждения.

Итак, он решил не связываться с маленькими людьми вроде Голдсуорти; он поддерживал с ними приятельские отношения, но близко не сходился и не дружил ни с кем. Не то, чтобы он чувствовал антипатию к маленьким людям, например, к членам клуба Алта-Пасифик, — он просто не желал иметь их партнерами в предстоящей ему крупной игре. В чем будет состоять эта игра, он еще и сам не знал; он ждал своего часа. А пока что он играл по маленькой, вкладывая деньги в мелиорационные предприятия, и подстерегал подходящий момент, чтобы развернуться вовсю.

Наконец случай свел его с самим Джоном Даусетом — с великим финансистом. Что это был именно случай, сомневаться не приходилось. Харниш, находясь в Лос-Анджелесе, совершенно случайно услышал, что на Санта-Каталина отлично ловится тунец, и решил заехать на остров, вместо того чтобы, как предполагал, вернуться прямым путем в Сан-Франциско. И тут-то он и познакомился с Джоном Даусетом: нью-йоркский магнат, совершая путешествие на Запад, с неделю пробыл на Санта-Каталина, прежде чем пуститься в обратный путь. Разумеется, Даусет слыхал о пресловутом короле Клондайка, якобы обладателе тридцати миллионов, да и при личном знакомстве Харниш сумел заинтересовать его. Вероятно, личное знакомство и породило идею, мелькнувшую в уме Даусета; но он ничем себя не выдал, предпочитая дать ей окончательно созреть. Поэтому он разговаривал только на самые общие темы и всеми силами старался завоевать расположение Харниша.

Даусет был первым крупным финансистом, с которым Харниш столкнулся лицом к лицу, и это знакомство привело его в восхищение. В Даусете чувствовалось столько добродушия, сердечной теплоты, он держался так просто, без всякого высокомерия, что Харниш порой забывал, что его собеседник знаменитый Джон Даусет, председатель правления многих банков, глава страховых обществ, по слухам — негласный союзник заправил Стандарт Ойл и заведомый союзник Гугенхаммеров.

Под стать этой громкой славе была и внешность Даусета и все его повадки. Харнишу, столько слышавшему о нью-йоркском миллионере, казалось, что Даусет должен быть именно таким. Это был шестидесятилетний, убеленный сединами старик, но руку он пожимал крепко, и вообще в нем не замечалось никаких признаков дряхлости; походка оставалась быстрой и упругой, все движения были уверенные, решительные; на щеках играл здоровый румянец, тонкие, хорошо очерченные губы умели весело улыбаться в ответ на шутку, ясные светло-голубые глаза под косматыми седыми бровями пытливо и прямо глядели в лицо собеседнику. Все в Даусете выдавало ум трезвый и уравновешенный, и так четко работал этот ум, что Харниш мысленно сравнивал его со стальным механизмом. Даусет все знал и никогда не

разбавлял свою мудрость проявлениями жеманной чувствительности. Привычка повелевать сквозила во всем его облике, каждое слово, каждый жест свидетельствовали о могуществе и власти. В то же время он был приветлив и чуток, и Харниш отлично понимал, как далеко до Даусета такому мелкому дельцу, как Голдсуорти. Знал Харниш и о происхождении Даусета, предки которого принадлежали к первым поселенцам Америки, о его заслугах в войне с Испанией, о его отце Джоне Даусете, который вместе с другими банкирами оказывал помощь Северу в борьбе с Югом, о коммодоре Даусете, герое кампании 1812 года, о генерале Даусете, заслужившем боевую славу в войне за независимость, и, наконец, о том далеком родоначальнике, который владел землями и рабами в Новой Англии на заре ее истории.

— Это настоящий человек, — говорил Харниш по возвращении в Сан-Франциско приятелю в курительной клуба. — Уверяю вас, Гэллон, он просто поразил меня. Правда, я всегда думал, что большие люди должны быть такие, но теперь я увидел это своими глазами. Он из тех, кто большие дела делает. Стоит только поглядеть на него. Такие встречаются один на тысячу, уж это верно. С ним стоит знаться. Игру свою он ведет азартно, не останавливаясь ни перед чем, и, уж будьте спокойны, не бросит карты. Ручаюсь, что он может проиграть или выиграть десять миллионов и глазом не моргнув.

Галлон, попыхивая сигарой, слушал эти панегирики и, когда Харниш умолк, посмотрел на него с любопытством; но Харниш в эту минуту заказывал коктейли и не заметил взгляда приятеля.

— Очевидно, он предложил вам какое-нибудь дело? — заметил Галлон.

— Ничего подобного, и не думал. За ваше здоровье!

Я просто хотел объяснить вам, что я теперь понимаю, как большие люди большие дела делают. Знаете, у меня было такое чувство, как будто он все-все знает. Мне даже стыдно стало за себя.

Харниш задумался, потом, помолчав, сказал:

— Сдается мне, что я мог бы дать ему несколько очков вперед, если бы нам пришлось погонять упряжки лаек. А уж в покер или в добыче россыпи ему лучше со мной не тягаться. Наверно; и в берестовом челне я бы его осилил. И, пожалуй, я скорей выучусь игре, в которую он играет всю жизнь, нежели он выучился бы моей игре на Севере.

Глава вторая

Вскоре после этого разговора Харниш неожиданно выехал в Нью-Йорк. Причиной поездки послужило письмо Даусета — коротенькое письмецо в несколько строчек, отпечатанное на пишущей машинке. Но Харниш ликовал, читая его. Он вспомнил, как однажды в Темпас-Бьютте, когда не хватало четвертого партнера, к нему, зеленому пятнадцатилетнему юнцу, обратился старый заядлый картежник: «Садись, парнишка, бери карту». Такое же радостное волнение испытывал он и сейчас.

За сухим, деловитым тоном письма ему чудились неразгаданные тайны. «Наш мистер Ховисон посетит вас в гостинице. Можете ему довериться. Нельзя, чтобы нас видели вместе. Вы все поймете после разговора со мной». Харниш читал и перечитывал письмо. Вот оно! Наконец-то он дождался крупной игры, и, видимо, ему предлагают принять в ней участие. Для чего же еще может один человек приказывать другому проехаться через весь континент?

Они встретились — при посредничестве «нашего» мистера Ховисона — в великолепной загородной вилле на Гудзоне. Согласно полученному распоряжению, Харниш приехал на виллу

в частной легковой машине, которая была ему предоставлена. Он не знал, чья это машина; не знал он также, кому принадлежат нарядный загородный дом и широкие обсаженные деревьями лужайки перед ним. Даусет, уже прибывший на виллу, познакомил Харниша с еще одним лицом, но Харнишу имя его и так было известно: он сразу узнал Натаниэла Леттона: Харниш десятки раз видел его портреты в газетах и журналах, читал о месте, которое он занимает в высших финансовых кругах, об университете в Даратоне, построенном на его средства. Он тоже показался Харнишу человеком, имеющим власть, но вместе с тем он до удивления не походил на Даусета. Впрочем, одну общую черту Харниш подметил: оба производили впечатление необычайно опрятных людей; во всем же остальном они были совершенно разные. Худой, даже изможденный на вид, Леттон напоминал холодное пламя, словно каким-то таинственным образом под ледяной наружностью этого человека пылал неистовый жар тысячи солнц. В этом впечатлении больше всего повинны были глаза — огромные, серые, они лихорадочно сверкали на костлявом, точно у скелета, лице, обтянутом иссиня-бледной, какой-то неживой кожей. Ему было лет пятьдесят, на плешивой голове росли редкие, стального цвета волосы, и выглядел он многим старше Даусета. Тем не менее и Натаниэл Леттон, несомненно, был силой — это сразу чувствовалось. Харнишу казалось, что этот человек с аскетическим лицом окружен холодом высокого, невозмутимого спокойствия — раскаленная планета под покровом сплошного льда. Но прежде всего и превыше всего Харниша изумляла чрезвычайная и даже немного пугающая незапятнанность Леттона. На нем не заметно было и следов шлака, он словно прошел сквозь очистительный огонь. Харниш подумал, что, вероятно, обыкновенное мужское ругательство смертельно оскорбило бы слух Леттона, как самое страшное богохульство.

Гостям предложили выпить; уверенно и бесшумно, точно хорошо смазанная машина, двигавшийся лакей — видимо, постоянный обитатель виллы — подал Натаниэлу Леттону минеральную воду; Даусет пил виски с содовой; Харниш предпочел коктейль. Никто как будто не обратил внимания на то, что Харниш в полночь пьет мартини, хотя он зорко следил за своими собутыльниками. Харниш давно уже узнал, что для потребления коктейлей существуют строго установленные время и место. Но мартини пришелся ему по вкусу, и он не считал нужным отказывать себе в удовольствии пить его где и когда вздумается. Харниш ожидал, что, как и все, Даусет и Леттон заметят его странную прихоть. Не тут-то было! Харниш подумал про себя: «Спроси я стакан сулемы, они бы и бровью не повели».

Вскоре прибыл Леон Гугенхаммер и, присоединившись к компании, заказал виски. Харниш с любопытством разглядывал его. Этот Гугенхаммер принадлежал к известной могущественной семье финансистов. Правда, он был одним из младших отпрысков, но все же приходился родней тем Гугенхаммерам, с которыми Харниш сражался на Севере. Леон Гугенхаммер не преминул упомянуть об этой давней истории. Он сказал Харнишу несколько лестных слов по поводу настойчивости, с какой тот вел дело, и вскользь заметил:

— Знаете, слух об Офире дошел даже до нас.

И должен сознаться, мистер Время-не… хм… мистер Харниш, в этом деле вы, безусловно, нас обставили.

Слух! Харниш чуть не подскочил, услышав это слово. Слух, видите ли, дошел до них! А для него это была ожесточенная схватка, которой он отдал все свои силы и силу одиннадцати миллионов, нажитых им на Клондайке. Высоко же хватают Гугенхаммеры, если дела такого размаха, как борьба за Офир, для них всего лишь мелкая стычка, слух о которой они соблаговолили услышать. «Какую же они здесь ведут игру? У-ух ты! Ничего не скажешь!» — подумал Харниш и тут же обрадовался, вспомнив, что ему сейчас предложат принять участие в этой игре. Теперь он горько жалел — о том, что молва, приписывающая ему тридцать

миллионов, ошибается и что у него их всего только одиннадцать. Ну, в этом пункте он, во всяком случае, будет откровенен; он им точно скажет, сколько столбиков фишек он может купить.

У Леона Гугенхаммера, тридцатилетнего полного мужчины, лицо было юношески гладкое, без единой морщинки, если не считать еще только обозначающиеся мешки под глазами. Он тоже производил впечатление безукоризненной чистоты и опрятности. Его тщательно выбритые розовые щеки свидетельствовали о превосходном здоровье, так что даже некоторая тучность и солидное кругленькое брюшко не казались странными: просто у молодого человека склонность к полноте, вот и все.

Собеседники очень скоро заговорили о делах, однако не раньше, чем Гугенхаммер рассказал о предстоящих международных гонках, в которых должна была участвовать и его роскошная яхта «Электра»; при этом он посетовал, что новый, недавно установленный мотор уже успел устареть. Суть предполагаемого дела изложил Даусет, остальные только изредка вставляли замечания, а Харниш задавал вопросы. Каково бы ни было дело, которое ему предлагали, он не собирался входить в него с завязанными глазами. Но он получил весьма точные, исчерпывающие сведения относительно их планов.

— Никому и в голову не придет, что вы с нами! — воскликнул Гугенхаммер, когда Даусет уже заканчивал свое объяснение, и его красивые еврейские глаза заблестели. — Все будут думать, что вы сами по себе, как заправский пират.

— Вы, конечно, понимаете, мистер Харниш, что наше соглашение должно быть сохранено в строжайшей тайне, — внушительным тоном предостерег Натаниэл Леттон.

Харниш кивнул головой.

— И вы также хорошо понимаете, — продолжал Леттон, — что наш план преследует благую цель. Дело это вполне законное, мы в своем праве, а пострадать от него могут только спекулянты. Мы не хотим биржевого краха. Напротив, мы хотим повысить цену на акции. Солидные держатели акций от этого выиграют.

— В том-то и суть, — поддакнул Даусет. — Потребность в меди непрерывно возрастает. Я уже говорил вам, что копи Уорд Вэлли дают почти одну четверть мировой добычи меди. Они представляют собой огромное богатство, размеры которого мы сами не можем определить точно. Мы все предусмотрели. У нас и своего капитала Достаточно, но дело требует притока новых средств. Кроме того, на рынке слишком много акций Уорд Вэлли, — это не соответствует нашим теперешним планам. Таким образом, мы одним выстрелом убьем двух зайцев…

— А выстрел — это я, — улыбаясь, вставил Харниш.

— Совершенно верно. Вы не только поднимете курс акций Уорд Вэлли, вы еще и соберете их. Это даст нам неоценимое преимущество для осуществления наших планов, не говоря уже о том, что и мы и вы извлечем прибыль из проведенной вами операции. Дело это, как уже здесь говорил мистер Леттон, вполне честное и законное. Восемнадцатого числа состоится заседание правления, и мы объявим, что в этом году дивиденды будут выплачены в двойном размере.

— Вот это ударит кое-кого по карману! — воскликнул Леон Гугенхаммер.

— Ударит только спекулянтов, — объяснил Натаниэл Леттон, — биржевых игроков, накипь Уолл-стрита. Солидные пайщики не пострадают. К тому же они лишний раз убедятся, что наши

копи заслуживают доверия. А заручившись их доверием, мы можем осуществить наши планы всемерного расширения предприятия, которое мы вам изложили.

— Я должен предупредить вас, — сказал Даусет, — что до вас будут доходить самые нелепые слухи, но вы не пугайтесь. Весьма вероятно, что мы даже будем распускать их. Я думаю, вам вполне ясно, с какой целью это делается. Но вы не обращайте никакого внимания на слухи. Вы свой человек, мы вас посвятили в суть нашей операции. Ваше дело только покупать, покупать и покупать, до последней минуты, пока правление не объявит о выплате дивидендов в двойном размере. После этого уже ничего нельзя будет купить — акции Уорд Вэлли подскочат до небес.

— Самое главное для нас, — заговорил Леттон, медленно отхлебнув из стакана с минеральной водой, стоявшего перед ним, — самое главное — это изъять у мелких держателей акции, находящиеся у них на руках. Мы легко могли бы это сделать другим способом: припугнуть держателей падением курса, что обошлось бы нам гораздо дешевле. Мы — хозяева положения. Но мы не хотим злоупотреблять этим преимуществом и согласны покупать наши акции по повышенному курсу. Не потому, что мы филантропы, но нам нужно доверие пайщиков для расширения дела. Да мы, в сущности, ничего на этом не потеряем. Как только станет известно о выплате дивидендов в двойном размере, цена на акции баснословно поднимется. Кроме того, мы постригем спекулянтов, играющих на понижение. Это, конечно, несколько выходит за рамки общепринятых финансовых операций, но это момент привходящий и в известном смысле неизбежный. Это не должно нас смущать. Пострадают только самые беззастенчивые спекулянты, и поделом им.

— И еще вот что, мистер Харниш, — сказал Гугенхаммер, — если у вас не хватит наличного капитала или вы не пожелаете весь свой капитал вкладывать в это дело, немедленно обратитесь к нам. Помните, за вами стоим мы.

— Да, да, мы стоим за вами, — повторил Даусет.

Натаниэл Леттон подтвердил это кивком головы.

— Теперь относительно дивидендов в двойном размере, — заговорил Даусет, вынимая листок бумаги из записной книжки и надевая очки. — Здесь у меня все цифры. Вот, видите…

И он начал подробно объяснять Харнишу, какие прибыли получала и какие дивиденды выплачивала компания Уорд Вэлли со дня своего основания.

Совещание длилось около часа, и весь этот час Харниш, как никогда, чувствовал себя вознесенным на самую высокую вершину жизни. Крупные игроки приняли его в свою игру. Они — сила. Правда, он знал, что это еще не самый узкий избранный круг. Их не поставить на одну доску с Морганами и Гарриманами. Но они имеют доступ к этим гигантам, и сами они гиганты, только помельче. Их обращение тоже понравилось Харнишу. Они держались с ним на равной ноге, с явным уважением, без покровительственного тона. Харниш был очень польщен этим, ибо хорошо знал, что не может сравниться с ними ни богатством, ни опытом.

— Мы немножко встряхнем всю эту свору спекулянтов, — радостно сказал Леон Гугенхаммер, когда совещание окончилось. — И никто этого не сделает лучше вас, мистер Харниш. Они будут уверены, что вы действуете в одиночку, а у них ножницы всегда наготове, чтобы стричь таких новичков, как вы.

— Они непременно попадутся, — согласился Леттон; его серые глаза горели мрачным огнем на бледном лице, полузакрытом складками необъятного шарфа, которым он окутывал шею до самых ушей. — Они привыкли рассуждать по шаблону. Любая новая комбинация,

непредвиденное обстоятельство, неизвестный им фактор опрокидывают все их расчеты. А всем этим для них явитесь вы, мистер Харниш. И повторяю вам, они — игроки, спекулянты и заслужили такую встряску. Если бы вы знали, какая это помеха для нас, солидных дельцов. Их азартная биржевая игра подчас нарушает самые разумные планы и даже расшатывает наиболее устойчивые предприятия.

Даусет сел в одну машину с Леоном Гугенхаммером, Леттон — в другую. Харниш, все еще под впечатлением всего, что произошло за последний час, чуть ли не с трепетом смотрел на разъезд участников знаменательного совещания. Три автомобиля, точно страшные ночные чудовища, стояли на посыпанной гравием площадке под неосвещенным навесом широкого крыльца. Ночь выдалась темная, и лучи автомобильных фар, словно ножами, прорезали густой мрак. Все тот же лакей — услужливый автомат, царивший в доме, неизвестно кому принадлежавшем, подсадив гостей в машины, застыл на месте, словно каменное изваяние. Смутно виднелись закутанные в шубы фигуры сидевших за рулем шоферов. Одна за другой, будто пришпоренные кони, машины ринулись в темноту, свернули на подъездную аллею и скрылись из глаз.

Харниш сел в последнюю машину и, когда она тронулась, оглянулся на дом, где не светилось ни одного огонька и который, словно гора, высился среди мрака. Чей это дом? Кто предоставляет его этим людям для тайных совещаний? Не проболтается ли лакей? А кто такие шоферы? Тоже доверенные лица, как «наш» мистер Ховисон? Тайна. В этом деле, куда ни повернись, всюду тайна. Тайна шествует рука об руку с Властью. Харниш откинулся на спинку сиденья и затянулся папиросой. Большое будущее открывалось перед ним. Уже стасованы карты для крупной игры, и он один из партнеров. Он вспомнил, как резался в покер с Джеком Кернсом, и громко рассмеялся. В те времена он ставил на карту тысячи, ну, а теперь поставит миллионы. А восемнадцатого числа, после заявления о дивидендах... Он заранее ликовал, предвкушая переполох, который поднимется среди биржевых спекулянтов, уже точивших ножницы, чтобы остричь — кого же? Его, Время-не-ждет!

Глава третья

Хотя было уже два часа ночи, когда Харниш вернулся в гостиницу, он застал там поджидавших его репортеров. На другое утро их явилось вдвое больше. О его прибытии в Нью-Йорк протрубила вся пресса. Еще раз под дробь тамтамов и дикарские вопли колоритная фигура Элама Харниша прошагала по газетным полосам. Король Клондайка, герой Арктики, тридцатикратный миллионер ледяного Севера прибыл в Нью-Йорк! С какой целью? Разорить ньюйоркцев, как он разорил биржевиков Тонопа в штате Невада? Пусть Уолл-стрит поостережется — в городе появился дикарь с Клондайка! А если, наоборот, Уолл-стрит разорит его? Не в первый раз Уолл-стриту усмирять дикарей; может быть, именно такая участь суждена пресловутому Времяне-ждет? Харниш усмехался про себя и давал двусмысленные ответы своим интервьюерам; это путало карты, и Харниша забавляла мысль, что не так-то легко будет Уолл-стриту справиться с ним.

Никто не сомневался, что Харниш приехал для биржевой игры, и когда начался усиленный спрос на акции Уорд Вэлли, все поняли, чья рука здесь действует. Биржа гудела от слухов. Ясно, он еще раз хочет схватиться с Гугенхаммерами. Историю прииска Офир извлекли из архива и повторяли на все лады, прибавляя все новые сенсационные подробности, так что под конец Харниш сам едва мог узнать ее. Но и это была вода на его мельницу. Биржевики явно шли по ложному следу. Харниш с каждым днем покупал все усерднее, но желающих продать было такое множество, что курс акций Уорд Вэлли поднимался очень медленно. «Это куда веселее, чем покер», — радовался Харниш, видя, какую он поднял суматоху. Газеты изощрялись в догадках и пророчествах, и за Харнишем неотступно ходил по пятам целый отряд

репортеров. Интервью, которые он им давал, были просто шедеврами. Заметив, в какой восторг приходят журналисты от его говора, от всех «малость», «ничего не скажешь» и так далее, он нарочно старался сделать свою речь характерной, пересыпая ее словечками, которые слышал от других жителей Севера, и даже сам придумывая новые.

Целую неделю, от четверга до четверга, с одиннадцатого по восемнадцатое число, Харниш жил в чаду неистового азарта. Он не только впервые в жизни вел столь крупную игру — он вел ее за величайшим в мире карточным столом и такие суммы ставил на карту, что даже видавшие виды завсегдатаи этого игорного дома волей-неволей встрепенулись. Невзирая на то, что на рынке имелось сколько угодно акций Уорд Вэлли, они все же благодаря все растущему спросу постепенно поднимались в цене; чем меньше дней оставалось до знаменательного четверга, тем сильнее лихорадило биржу. Видно, не миновать краха! Сколько же времени клондайкский спекулянт будет скупать акции Уорд Вэлли? Надолго ли еще его хватит? А что думают заправилы компании? Харниш с удовольствием прочел появившиеся в печати интервью. Они восхитили его спокойствием и невозмутимостью тона. Леон Гугенхаммер даже не побоялся высказать мнение, что, быть может, этот северный крез напрасно так зарывается. Но это их не тревожит, заявил Даусет. И против его спекуляций они тоже ничего не имеют. Они не знают, каковы его намерения, ясно одно — он играет на повышение. Ну что ж, в этом никакой беды нет. Что бы ни случилось с ним, чем бы ни кончилась его бешеная игра, компания Уорд Вэлли по-прежнему будет крепко стоять на ногах, незыблемая, как Гибралтарская скала. Акции на продажу? Нет, спасибо, таких не имеется. Это просто искусственно вызванный бум, который не может долго продолжаться, и правление Уорд Вэлли не намерено нарушать ровное течение своей деятельности из-за безрассудного ажиотажа на бирже. «Чистая спекуляция с начала и до конца, — сказал репортерам Натаниэл Леттон. — Мы ничего общего с этим не, имеем и даже знать об этом не желаем».

За эту бурную неделю Харниш имел несколько тайных совещаний со своими партнерами: одно с Леоном Гугенхаммером, одно с Джоном Даусетом и два с мистером Ховисоном. Ничего существенного на этих совещаниях не произошло, ему только выразили одобрение и подтвердили, что все идет отлично.

Но во вторник утром распространился слух, не на шутку встревоживший Харниша, тем более что в «Уоллстрит джорнэл» можно было прочесть о том же: газета сообщала, что, по достоверным сведениям, на заседании Правления компании Уорд Вэлли, которое состоится в ближайший четверг, вместо обычного объявления о размере дивидендов правление потребует дополнительного взноса. Харниш впервые за все время заподозрил неладное. Он с ужасом подумал, что, если слух подтвердится, он окажется банкротом. И еще у него мелькнула мысль, что вся эта грандиозная биржевая операция была проделана на его деньги. Ни Даусет, ни Гугенхаммер, ни Леттон не рисковали ничем. Харниша охватил страх, правда, ненадолго, но все же он успел очень живо вспомнить кирпичный завод Голдсуорти; приостановив все приказы о покупке акций, он бросился к телефону.

— Чепуха, просто очередная сплетня, — послышался в трубке гортанный голос Леона Гугенхаммера.

— Как вам известно, я член правления, — ответил Натаниэл Леттон, — и, безусловно, был бы в курсе, если бы предполагалось такое мероприятие.

— Я же предупреждал вас, что подобные слухи будут распространяться, — сказал Джон Даусет. — В этом нет ни крупицы правды. Даю вам слово джентльмена.

Харнишу стало очень стыдно, что он поддался панике, и он с удвоенной энергией принялся за

дело. Приостановка операций по скупке акций Уорд Вэлли превратила биржу в сумасшедший дом. Игроки на понижение жали по всей линии; акции Уорд Вэлли, стоявшие выше всех, первыми начали падать. Но Харниш невозмутимо удваивал приказы о покупке. Во вторник и в среду он неуклонно покупал, и акции опять сильно поднялись. В четверг утром он все еще продолжал брать, и если сделки заключались на срок, не задумываясь превышал свои наличные средства. Что ж такого? Ведь сегодня будет объявлено о выдаче дивидендов, успокаивал он себя. Когда подойдет срок, внакладе окажутся продавцы. Они придут к нему, будут просить уступки.

Но вот гром грянул: слухи оправдались, правление компании Уорд Вэлли предложило акционерам внести дополнительный взнос. Харнишу оставалось только сдаться. Он еще раз проверил достоверность сообщения и прекратил борьбу. Не только акции Уорд Вэлли, но все ценные бумаги полетели вниз. Игроки на понижение торжествовали победу. Харниш даже не поинтересовался, докатились ли акции Уорд Вэлли до самого дна или все еще падают. На Уолл-стрите царил хаос, но Харниш, не оглушенный ударов и даже не растерянный, спокойно покинул поле битвы, чтобы обдумать создавшееся положение. После краткого совещания со своими маклерами он вернулся в гостиницу; по дороге он купил вечерние газеты и глянул на кричащие заголовки: «Время-не-ждет доигрался», «Харниш получил по заслугам», «Еще один авантюрист с Запада не нашел здесь легкой поживы». В гостинице он прочел экстренный выпуск, где сообщалось о самоубийстве молодого человека, новичка в биржевой игре, который, следуя примеру Харниша, играл на повышение.

— Чего ради он покончил с собой? — пробормотал про себя Харниш.

Он поднялся в свой номер, заказал мартини, скинул башмаки и погрузился в раздумье. Полчаса спустя он встрепенулся и выпил коктейль; когда приятное тепло разлилось по всему телу, морщины на лбу у него разгладились и на губах медленно заиграла усмешка — намеренная, но не нарочитая: он искренне смеялся над самим собой.

— Обчистили, ничего не скажешь! — проговорил он.

Потом усмешка исчезла, и лицо его стало угрюмым и сосредоточенным. Если не считать дохода с капитала, вложенного в несколько мелиорационных предприятий на Западе (все еще требовавших больших дополнительных вложений), он остался без гроша за душой. Но не это убивало его — гордость страдала. С какой легкостью он попался на удочку! Его провели, как младенца, и он даже ничего доказать не может. Самый простодушный фермер потребовал бы какого-нибудь документа, а у него нет ничего, кроме джентльменского соглашения, да еще устного. Джентльменское соглашение! Он презрительно фыркнул. В его ушах еще звучал голос Джона Даусета, сказавшего в телефонную трубку: «Даю вам слово джентльмена». Они просто подлые воришки, мошенники, нагло обманувшие его! Правы газеты. Он приехал в Нью-Йорк, чтобы его здесь обчистили, и господа Даусет, Леттон и Гугенхаммер это и сделали. Он был для них малой рыбешкой, и они забавлялись им десять дней — вполне достаточный срок, чтобы проглотить его вместе с одиннадцатью миллионами. Расчет их прост и ясен: они сбыли через него свои акции, а теперь по дешевке скупают их обратно, пока курс не выровнялся. По всей вероятности, после дележа добычи Натаниэл Леттон пристроит еще несколько корпусов к пожертвованному им университету. Леон Гугенхаммер поставит новый мотор на своей яхте или на целой флотилии яхт. А Джон Даусет? Он-то что станет делать с награбленными деньгами? Скорее всего откроет несколько новых отделений своего банка.

Харниш еще долго просидел над коктейлями, оглядываясь на свое прошлое, заново переживая трудные годы, проведенные в суровом краю, где он ожесточенно дрался за свои одиннадцать миллионов. Гнев владел им с такой силой, что в нем вспыхнула жажда убийства и в уме

замелькали безумные планы мести и кровавой расправы над предавшими его людьми. Вот что должен был сделать этот желторотый юнец, а не кончать самоубийством. Приставить им дуло к виску. Харниш отпер свой чемодан и достал увесистый кольт. Он отвел большим пальцем предохранитель и восемь раз подряд оттянул затвор; восемь патронов, один за другим, выпали на стол; он снова наполнил магазин, перевел один патрон в патронник и, не спуская курка, поставил кольт на предохранитель. Потом положил пистолет в боковой карман пиджака, заказал еще один мартини и опять уселся в кресло.

Так прошел целый час, но Харниш уже не усмехался.

На хмурое лицо легли горькие складки, — он вспомнил суровую жизнь Севера, лютый полярный мороз, все, что он совершил, что перенес: нескончаемо долгие переходы по снежной тропе, студеные тундровые берега у мыса Барроу, грозные торосы на Юконе, борьбу с людьми и животными, муки голодных дней, томительные месяцы на Койокуке, где тучами налетали комары, мозоли на руках от кайла и заступа, ссадины на плечах и груди от лямок походного мешка, мясную пищу без приправы наравне с собаками — вспомнил всю длинную повесть двадцатилетних лишений, тяжелого труда, нечеловеческих усилий.

В десять часов он поднялся и стал перелистывать книгу адресов Нью-Йорка, потом надел башмаки, вышел на улицу и, наняв кеб, стал колесить по темному городу. Дважды он менял кеб и наконец остановился у конторы частного детективного агентства. Щедро оплатив вперед требуемые услуги, он самолично выбрал шестерых агентов и дал нужные указания. Никогда еще они не получали такой высокой оплаты за столь нехитрую работу: сверх того, что взимала контора, Харниш подарил им по пятьсот долларов, посулив в случае успеха еще столько же. Он не сомневался, что на другой день, а быть может, еще этой ночью его притаившиеся партнеры где-нибудь сойдутся. За каждым было поручено следить двум агентам. Требовалось только установить время и место свидания.

— Действуйте смело, ребята, — сказал он в заключение. — Мне очень нужно это узнать. Что бы вы ни сделали, что бы ни случилось, не бойтесь, я сумею вас выгородить.

На обратном пути в гостиницу он опять дважды пересаживался из кеба в кеб, потом, поднявшись в свой номер, выпил на ночь еще один мартини, лег в постель и уснул. Утром он оделся, побрился, велел подать завтрак и газеты в комнату и стал ждать известий. Но пить не пил. С девяти часов начались телефонные звонки — агенты докладывали о своей работе: Натаниэл Леттон едет пригородным поездом из Тэрритауна. Джон Даусет только что сел в вагон подземки. Леон Гугенхаммер еще не показывался, но он, несомненно, дома. Харниш, разложив перед собой план города, следил за каждым движением неприятеля. Первым в свою контору, помещавшуюся в здании МючуэлСоландер, прибыл Натаниэл Леттон. Затем туда же приехал Гугенхаммер. Даусет все еще сидел в своей конторе. Но в одиннадцать часов телефонный звонок возвестил о том, что и Даусет прибыл на место, и пять минут спустя Харниш уже мчался в таксомоторе к зданию Мючуэл-Соландер.

Глава четвертая

Когда дверь отворилась, Натаниэл Леттон, что-то говоривший своим компаньонам, сразу умолк, и все трое со скрытой тревогой уставились на Элама Харниша, который размашистым шагом входил в комнату. Он невольно подчеркивал упругую твердость своей походки, походки путника на снежной тропе. Да ему и в самом деле казалось, что он снова чувствует ее под ногами.

Здорово, господа, здорово, — проговорил он, словно не замечая гробовой тишины, которой

партнеры встретили его появление. Харниш всем по очереди пожал руку, широко шагая от одного к другому, причем так крепко стискивал их пальцы, что Натаниэл Леттон сморщился от боли. Потом Харниш бросился в кресло и лениво развалился в нем, притворяясь крайне утомленным. Кожаный саквояж, который он принес с собой, он небрежно уронил на пол возле кресла.

— Ах, черт меня возьми совсем! Ну и умаялся же сказал он, отдуваясь. — Красота, как мы их пообчистили! Ловко, ничего не скажешь! А мне и невдомек, что к чему в вашей игре, только под самый конец догадался. На обе лопатки всех положили! И как они сами нарывались на это, просто диву даешься!

Простодушие, с каким говорил Харниш, медлительюность речи, свойственная жителям Запада, несколько успокоили его собеседников. Не так уж он страшен.

Правда, он сумел проникнуть в кабинет вопреки распоряжению, данному служащим конторы, но ничто Не указывало на его намерение устроить скандал или применить силу.

— Что же вы? — весело спросил Харниш. — И доброго слова у вас не найдется для вашего партнера? Или уж так он вам угодил, что вы малость очумели?

Леттон только хмыкнул в ответ. Даусет молча ждал, что будет дальше. Леон Гугенхаммер с трудом выдавил из себя несколько слов.

— Вы, несомненно, подняли бучу, — сказал он.

Черные глаза Харниша радостно заблестели.

— Еще бы! — с гордостью воскликнул он. — И как же мы их надули! Вот уж не думал, что они так легко Попадутся. Я прямо ошалел!

— Ну, а теперь, — продолжал он, прежде чем наступило тягостное молчание, — не мешает нам сделать расчетик. Я нынче же уезжаю восвояси на этом чертовом «Двадцатом веке». — Он подтянул к себе саквояж, открыл его и запустил туда обе руки. — Но помните, ребята, если вам еще раз захочется встряхнуть Уоллстрит, я рад стараться, только шепните словечко. Мигом явлюсь, с полным моим удовольствием.

Он стал пригоршнями вынимать из саквояжа корешки чековых книжек, квитанции, расписки маклеров. Сложив все это в кучу на стол, он в последний раз сунул руки в саквояж, тщательно обшарил его и добавил еще несколько застрявших бумажек, потом вытащил из кармана записку и прочел вслух:

— Вот мои расходы — десять миллионов двадцать семь тысяч сорок два доллара шестьдесят восемь центов. Эту сумму, конечно, нужно вычесть, раньше чем мы начнем делить барыши. А теперь давайте ваши подсчеты. Ведь дело-то провернули не маленькое!

Партнеры Харниша переглядывались, лица их выражали крайнее недоумение: либо этот юконец еще глупее, чем они думали, либо он ведет какую-то игру, смысл которой им непонятен.

Натаниэл Леттон, облизнув пересохшие губы, заговорил:

— Видите ли, мистер Харниш, для полного подсчета потребуется несколько часов. Мистер Ховисон уже приступил к делу. Мы… хм… как вы сказали, дело провернули большое. Почему

бы нам не побеседовать за общим завтраком? Я распоряжусь, чтобы контора работала сегодня без обеденного перерыва, так что вы вполне успеете на поезд.

Даусет и Гугенхаммер с почти явным облегчением перевели дух. Атмосфера несколько разрядилась. Неуютно было находиться в одной комнате с глазу на глаз с этим похожим на индейца богатырем, которого они ограбили. И довольно неприятно припоминать многочисленные рассказы о его баснословной силе и бесстрашии. Если бы только Леттону удалось заговорить ему зубы хоть на две минуты, они успели бы выскочить за дверь кабинета, в тот привычный мир, где можно призвать на помощь полицию, и все обошлось бы благополучно; а Харниш, видимо, поддавался на уговоры.

— Вот это хорошо, — сказал он. — Мне, конечно, не хочется опаздывать на поезд. И вообще, скажу я вам, господа, для меня большая честь, что вы меня взяли в долю. Поверьте, я очень это чувствую, хоть, может, сказать-то не умею. Но меня уж больно любопытство разбирает, просто не терпится узнать: какой же мы куш сорвали? Вы мне, мистер Леттон, хоть примерно скажите, сколько.

Наступила пауза; сообщники Леттона почувствовали, что он взывает к ним о помощи, хотя он даже не взглянул на них. Даусет, человек более твердого закала, чем остальные, уже понял, что этот король Клондайка ломает комедию. Но Леттон и Гугенхаммер все еще верили детской наивности его тона.

— Это… очень трудно, — начал Леон Гугенхаммер. — Видите ли, курс акций Уорд Вэлли сейчас неустойчив… так что…

— … в настоящее время ничего нельзя подсчитать заранее, — закончил за Гугенхаммера Леттон.

— Да вы только прикиньте приблизительно, — с живостью возразил Харниш. — Не беда, если потом окажется на миллиончик больше или меньше. Подсчитаем после все до точности. Так мне не терпится узнать, прямо все тело зудит. Ну как, скажете?

— Зачем тянуть эту бессмысленную игру словами? — резко и холодно сказал Даусет. — Объяснимся здесь же, на месте. Мистер Харниш явно находится в заблуждении, и мы должны прямо сказать ему, в чем он ошибается. Мы, партнеры в этой операции…

Но Харниш не дал ему договорить. Он слишком много на своем веку играл в покер, чтобы пренебречь психологическим фактором; в этой последней сдаче он хотел сам довести игру до конца и поэтому перебил Даусета.

— Кстати о партнерах, — сказал он. — Мне вдруг вспомнилась одна партия в покер. Дело было в Рено, штат Невада. Ну, не скажу, чтобы игра велась очень честно. Игроки — все шулера, как на подбор. Но был там один козлик безрогий — в тех краях так называют новичков. Вот он стоит за спиной сдающего и видит, что тот снизу колоды сдает себе четыре туза. Новичок возмущается. Он тихонько обходит стол и наклоняется к игроку, который сидит — напротив сдающего.

— Послушайте, — шепчет он, — я видел, как он сдал себе четыре туза.

— Ну, и что ж из этого? — спрашивает игрок.

— Я подумал, что надо сказать вам, — отвечает тот. — Вы что, не понимаете? Он сдал самому себе четыре туза, я своими глазами видел.

— Знаешь что, любезный, ступай-ка отсюда. Ничего ты в покере не понимаешь. Сдача-то его, верно?

Смех, которым был встречен анекдот, прозвучал натянуто и невесело, но Харниш словно и не заметил этого.

— По-видимому, ваш анекдот имеет особый смысл? — в упор спросил Даусет.

Харниш с невинным видом посмотрел на него и, не отвечая, опять обратился к Натаниэлу Леттону.

— Валяйте, выкладывайте, — все так же добродушно сказал он. — Назовите примерную сумму. Ведь я уже говорил вам, что миллионом больше или меньше — это неважно. При таком-то выигрыше!

Решительное поведение Даусета придало Леттону храбрости, и на этот раз он ответил без обиняков:

— Боюсь, мистер Харниш, что вы глубоко заблуждаетесь. Ни о каком дележе барыша и речи быть не может. Я вас очень прошу не горячиться. Мне стоит только нажать эту кнопку…

Но Харниш не только не горячился — напротив, он казался окончательно сраженным. Растерянно озираясь, он достал из кармана спички, зажег одну и только тут заметил, что в зубах нет папиросы. Все три партнера следили за ним, насторожившись, как кошка перед прыжком. Теперь разговор шел начистоту, и они знали, что им предстоит пережить несколько пренеприятных минут.

— Пожалуйста, повторите еще раз, — проговорил Харниш. — Я что-то не пойму. Вы сказали…

Он с мучительной тревогой впился глазами в лицо Леттона.

— Я сказал, что вы заблуждаетесь, мистер Харниш, вот и все. Вы играли на повышение, курс акций упал, и вы понесли большие убытки. Однако ни компания Уорд Вэлли, ни я, ни мои партнеры не брали на себя никаких обязательств по отношению к вам.

Харниш показал на груду чековых книжек и расписок, лежащих на столе.

— За это уплачено десять миллионов двадцать семь тысяч сорок два доллара шестьдесят восемь центов, уплачено наличными. Что же? Здесь это ничего не стоит?

Леттон улыбнулся и пожал плечами.

Харниш посмотрел на Даусета и сказал вполголоса:

— Ваша правда, очевидно, мой анекдот все-таки имел особый смысл. — Он горько рассмеялся. — Сдача была ваша, и вы ловко передернули. Ну что ж, тут и говорить больше не о чем. Тот игрок в покер рассудил правильно: вы сдавали карты, и вы имели полное право сдать себе четыре туза. Так вы и сделали и ободрали меня как липку.

Он оторопело посмотрел на стол, заваленный расписками.

— И вся эта куча не стоит бумаги, которую извели на нее? Ах, дьявол, и ловко же вы тасуете карты, только попадись вам! Да вы не беспокойтесь, я не собираюсь спорить. Ваша была сдача, и вы обыграли меня, и тот не мужчина, кто хнычет при чужой сдаче. А теперь карты на столе,

игра кончена, но… — Он быстро сунул руку в верхний карман и вытащил кольт. — Так вот, ваша сдача кончилась. Теперь сдавать буду я. Думается мне, что мои четыре туза…

— Эй ты, гроб повапленный, прими руку! — вдруг крикнул он.

Рука Натаниэла Леттона, подползавшая к кнопке звонка на столе, мгновенно остановилась.

— Ну-ка, пересаживайтесь! — скомандовал Харниш. — Садись на тот стул, ты, изъеденная проказой вонючка! Живо! Не то я выкачаю из тебя столько жидкости, что все подумают, будто твой отец пожарный шланг, а мать садовая лейка. А вы, Гугенхаммер, поставьте свой стул рядом. Вы, Даусет, оставайтесь на месте. Теперь слушайте: я вам расскажу кое-что про этот пистолетик. Я зарядил его для крупной дичи, и стреляет он восемь раз подряд. Как начнет палить — не остановишь.

Предварительные разговоры я считаю законченными и поэтому перехожу прямо к делу. Заметьте, я ни слова не сказал о том, как вы со мной поступили. Вы что хотели, то и сделали. Ну и ладно. А теперь мой черед — что захочу, то и сделаю. Вы знаете, кто я? Может, не знаете? Я — Время-не-ждет, не боюсь ни Бога, ни черта, ни смерти, ни ада. Вот мои четыре туза. Чем вы можете их побить? Посмотрите на этот живой скелет, на Леттона. Да у него от страха все кости стучат, так он боится умереть. А этот жирный еврей? Вот когда он узнал, что такое страх Божий. Весь пожелтел, словно подгнивший лимон. Вы, Даусет, не трус. Вас не проймешь. Это оттого, что вы сильны в арифметике. Вам мои карты не страшны. Вы сидите тут как ни в чем не бывало и подсчитываете. Вам ясно, как дважды два, что я вас обыграл. Вы меня знаете, знаете, что я ничего не боюсь. И вы прикидываете в уме, сколько у вас денег, и отлично понимаете, что из-за этого проигрыша умирать не стоит.

— Рад буду видеть вас на виселице, — ответил Даусет.

— И не надейтесь! Когда дойдет до дела, вы первым будете на очереди. Меня-то повесят, но вы этого не увидите. Вы умрете на месте, а со мной еще суд канителиться будет, понятно? Вы уже сгниете в земле, и могила ваша травой порастет, и не узнаете вы никогда, повесили меня или нет. А я долго буду радоваться, что вы раньше меня отправились на тот свет.

Харниш умолк, и Леттон спросил каким-то не своим, писклявым голосом:

— Не убьете же вы нас, в самом деле?

Харниш покачал головой.

— Себе дороже. Все вы того не стоите. Я предпочитаю получить обратно свои деньги. Да и вы, я думаю, предпочтете вернуть их мне, чем отправиться в мертвецкую.

Наступило долгое молчание.

— Ну так, карты сданы. Теперь вам ходить. Можете подумать, но только имейте в виду: если дверь откроется и кто-нибудь из вас, подлецов, даст знать о том, что здесь происходит, буду стрелять без предупреждения. Ни один из вас не выйдет из этой комнаты, разве только ногами вперед.

За этим последовало заседание, длившееся добрых три часа. Решающим доводом явился не столько объемистый кольт, сколько уверенность, что Харниш не преминет воспользоваться им. Ни капитулировавшие партнеры, ни сам Харниш не сомневались в этом. Он твердо решил либо убить их, либо вернуть свои деньги. Но собрать одиннадцать миллионов наличными оказалось

не так просто, и было много досадных проволочек. Раз десять в кабинет вызывали мистера Ховисона и старшего бухгалтера. Как только они появлялись на пороге, Харниш прикрывал газетой пистолет, лежавший у него на коленях, и с самым непринужденным видом принимался скручивать папироску. Наконец все было готово. Конторщик принес чемодан из таксомотора, который дожидался внизу, и Харниш, уложив в него банкноты, защелкнул замок.

В дверях он остановился и сказал:

— На прощание я хочу объяснить вам еще кое-что. Как только я выйду за дверь, ничто не помешает вам действовать; так вот слушайте: во-первых, не вздумайте заявлять в полицию, понятно? Эти деньги мои, я их у вас не украл. Если узнается, как вы меня надули и как я вам за это отплатил, не меня, а вас подымут на смех, да так, что вам тошно станет. Стыдно будет людям на глаза показаться. Кроме того, если теперь, после того как вы обокрали меня, а я отобрал у вас награбленное, вы захотите еще раз отнять у меня деньги, — будьте покойны, что я подстрелю вас. Не таким мозглякам, как вы, тягаться со мной, с Время-не-ждет. Выгорит ваше дело — вам же хуже будет: трех покойников зараз хоронить придется. Поглядите мне в лицо — как, по-вашему, шучу я или нет? А все эти корешки и расписки на столе можете себе оставить. Будьте здоровы.

Как только дверь захлопнулась, Натаниэл Леттон кинулся к телефону, но Даусет удержал его.

— Что вы хотите делать? — спросил Даусет.

— Звонить в полицию. Это же грабеж. Я этого не потерплю. Ни за что не потерплю.

Даусет криво усмехнулся и, подтолкнув своего тощего компаньона к стулу, усадил его на прежнее место.

— Сначала давайте поговорим, — сказал Даусет, и Леон Гугенхаммер горячо поддержал его.

Никто никогда не узнал об этой истории. Все трое свято хранили тайну. Молчал и Харниш, хотя вечером, в отдельном купе экспресса «Двадцатый век», развалившись на мягком сиденье и положив ноги в одних носках на кресло, он долго и весело смеялся. Весь Нью-Йорк ломал голову над этой загадкой, но так и не нашел разумного объяснения. Кто мог сомневаться в том, что Время-не-ждет обанкротился? А между тем стало известно, что он уже снова появился в Сан-Франциско и, по всей видимости, ничуть не беднее, чем уехал. Об этом свидетельствовал размах его финансовых операций, в частности борьба за Панама-Мэйл, когда Харниш в стремительной атаке обрушил на Шефтли весь свой капитал и тот вынужден был уступить ему контрольный пакет, а через два месяца Харниш перепродал его Гарриману, сорвав на этом деле огромную прибыль.

Глава пятая

По возвращении в Сан-Франциско Харниш быстро приобрел еще большую славу. В известном смысле это была дурная слава. Он внушал страх. Его называли кровожадным хищником, сущим дьяволом. Он вел свою игру неумолимо, жестоко, и никто не знал, где и когда он обрушит новый удар. Главным его козырем была внезапность нападения, он норовил застать противника врасплох; недаром он явился в мир бизнеса с дикого Севера, — мысль его шла непроторенными путями и легко открывала новые способы и приемы борьбы. А добившись преимущества, он безжалостно приканчивал свою жертву. «Беспощаден, как краснокожий», — говорили о нем; и это была чистая правда.

С другой стороны, он слыл «честным». Слово его было так же верно, как подпись на векселе, хотя сам он никому на слово не верил. Ни о каких «джентльменских соглашениях» он и слышать не хотел, и тот, кто, заключая с ним сделку, ручался своей честью, неизменно нарывался на неприятный разговор. Впрочем, и Харниш давал слово только в тех случаях, когда мог диктовать свои условия и собеседнику предоставлялся выбор — принять их или уйти ни с чем.

Солидное помещение денег не входило в игру Элама Харниша, — это связало бы его капитал и уменьшило риск. А его в биржевых операциях увлекал именно азарт, и, чтобы так бесшабашно вести игру, как ему нравилось, деньги всегда должны были быть у него под рукой. Поэтому он лишь изредка и на короткий срок вкладывал их в какое-нибудь предприятие и постоянно снова и снова пускал в оборот, совершая дерзкие набеги на своих соперников. Поистине это был пират финансовых морей. Верных пять процентов годового дохода с капитала не удовлетворяли его; рисковать миллионами в ожесточенной, свирепой схватке, поставить на карту все свое состояние и знать, что либо он останется без гроша, либо сорвет пятьдесят или даже сто процентов прибыли, — только в этом он видел радость жизни. Он никогда не нарушал правил игры, но и пощады не давал никому. Когда ему удавалось зажать в тиски какогонибудь финансиста или объединение финансистов, никакие вопли терзаемых не останавливали его. Напрасно жертвы взывали к нему о жалости. Он был вольный стрелок и ни с кем из биржевиков не водил дружбы. Если он вступал с кем-нибудь в сговор, то лишь из чисто деловых соображений и только на время, пока считал это нужным, ничуть не сомневаясь, что любой из его временных союзников при первом удобном случае обманет его или разорит дотла. Однако, невзирая на такое мнение о своих союзниках, он оставался им верен, — но только до тех пор, пока они сами хранили верность; горе тому, кто пытался изменить Эламу Харнишу!

Биржевики и финансисты Тихоокеанского побережья на всю жизнь запомнили урок, который получили Чарльз Клинкнер и Калифорнийско-Алтамонтский трест. Клинкнер был председателем правления. Вместе с Харнишем они разгромили Междугородную корпорацию Сан-Хосе. Могущественная компания по производству и эксплуатации электрической энергии пришла ей на помощь, и Клинкнер, воспользовавшись этим, в самый разгар решительной битвы переметнулся к неприятелю. Харниш потерял на этом деле три миллиона, но он довел трест до полного краха, а Клинкнер покончил с собой в тюремной камере. Харниш не только выпустил из рук Междугородную — этот прорыв фронта стоил ему больших потерь по всей линии. Люди сведущие говорили, что, пойди он на уступки, многое можно было бы спасти. Но он добровольно отказался от борьбы с Междугородной корпорацией и с Электрической компанией; по общему мнению, он потерпел крупное поражение, однако он тут же с истинно наполеоновской быстротой и смелостью обрушился на Клинкнера. Харниш знал, что для Клинкнера это явится полной неожиданностью. Знал он также и то, что Калифорнийско-Алтамонтский трест — фирма весьма солидная, а в настоящее время очутилась в затруднительном положении только потому, что Клинкнер спекулировал ее капиталом. Более того, он знал, что через полгода трест будет крепче прежнего стоять на ногах именно благодаря махинациям Клинкнера, — и если бить по тресту, то бить немедля. Ходили слухи, что Харниш по поводу понесенных им убытков выразился так: «Я не остался в накладе — напротив, я считаю, что сберег не только эту сумму, но гораздо больше. Это просто страховка на будущее. Впредь, я думаю, никто уж, имея дело со мной, не станет жульничать».

Жестокость, с какой он действовал, объяснялась прежде всего тем, что он презирал своих партнеров по биржевой игре. Он считал, что едва один из сотни может сойти за честного человека и любой честный игрок в этой шулерской игре обречен на проигрыш и рано или поздно потерпит крах. Горький опыт, приобретенный им в Нью-Йорке, открыл ему глаза. Обманчивые покровы были сорваны с мира бизнеса, и этот мир предстал перед ним во всей

наготе. О жизни общества, о промышленности и коммерции Харниш рассуждал примерно так: «Организованное общество являет собой не что иное, как грандиозную шулерскую игру. Существует множество наследственных неудачников, мужчин и женщин; они не столь беспомощны, чтобы держать их в приютах для слабоумных, однако способностей у них хватает только на то, чтобы колоть дрова и таскать воду. Затем имеются простаки, которые всерьез принимают организованную шулерскую игру, почитают ее и благоговеют перед ней. Эти люди — легкая добыча для тех, кто не обольщается и трезво смотрит на мир.

Источник всех богатств — честный труд. Другими словами, все — будь то мешок картофеля, рояль или семиместный туристский автомобиль, — все это плод человеческого труда. Когда труд окончен, предстоит распределение богатств, созданных трудом; тут-то и начинается шулерство. Что-то не видно, чтобы труженики с мозолистыми руками играли на рояле или путешествовали в автомобилях. Причина тому — нечистая игра. Десятки и сотни тысяч мошенников просиживают ночи напролет над планами, как бы втиснуться между рабочими и плодами их труда. Эти мошенники и есть так называемые бизнесмены. Втиснувшись между рабочим и продуктом его труда, они урывают свою долю богатств. Доля эта определяется не справедливостью, а степенью могущества и подлости шулеров. В каждом отдельном случае они выжимают «все, что может выдержать коммерция». Так поступают все участники игры».

Однажды, находясь в хорошем настроении (под влиянием нескольких коктейлей и обильного обеда), Харниш заговорил с лифтером Джонсом. Это был рослый, худощавый парень, взлохмаченный, свирепого вида, который всеми возможными способами выражал своим пассажирам ненависть и презрение. Это привлекло внимание Харниша, и он не замедлил удовлетворить свое любопытство. Джонс был пролетарий, как он сам заявил не без вызова, и лелеял мечту стать писателем. Но редакции журналов возвращали все его рукописи, и в поисках крова и куска хлеба он перебрался в Петачскую долину, в ста милях от Лос-Анджелеса. План у него был такой: днем работать, а ночью учиться и писать. Но оказалось, что железная дорога выжимает все, что может выдержать коммерция. Петачская долина была довольно глухим местом, которое поставляло только три вида товаров: скот, дрова и древесный уголь. За перевозку скота до Лос-Анджелеса железная дорога взимала восемь долларов с вагона. Джонс объяснил и причину столь низкой оплаты: у скотины есть ноги, и ее можно просто перегнать в Лос-Анджелес за те же восемь долларов. Дрова же перегнать нельзя, и перевозка одного вагона дров по железной дороге стоила ровно двадцать четыре доллара.

При такой системе на долю дровосека, проработавшего не покладая рук двенадцать часов подряд, за вычетом стоимости перевозки из продажной цены на дрова в Лос-Анджелесе приходился дневной заработок в один доллар и шестьдесят центов. Джонс попытался схитрить: он стал пережигать дрова на уголь. Расчет оказался верен, но и железнодорожная компания не дремала. Она повысила плату за перевозку древесного угля до сорока двух долларов с вагона. По истечении трех месяцев Джонс подвел итог и установил, что по-прежнему зарабатывает один доллар шестьдесят центов в день.

— Тогда я бросил это занятие, — заключил Джонс. — Целый год бродяжил, а потом рассчитался с железной дорогой. Не стану останавливаться на мелочах, но, в общем, в летнее время я перевалил через Сьерру-Неваду и поднес спичку к деревянным снеговым щитам. Компания отделалась пустяками — каких-нибудь тридцать тысяч убытку. Но за Петачскую долину я с ней сквитался.

— Послушайте, друг мой, а вы не боитесь сообщать мне про такие дела? — очень серьезно спросил Харниш.

— Ничуть, — ответил Джонс. — А улики где? Вы скажете, что я вам проболтался об этом, а я

скажу, что ничего подобного не говорил. Ни один суд тут ничего сделать не может.

Харниш, придя в свою контору, задумался. Вот это так и есть: все, что может выдержать коммерция. Сверху и донизу действует это правило игры; а продолжается игра потому, что каждую минуту на свет появляется дурак. Если бы каждую минуту на свет появлялся такой Джонс, игре скоро пришел бы конец. Везет же игрокам, что рабочие не Джонсы!

Однако есть и другие, более сложные комбинации в этой игре. Мелкие дельцы, лавочники и прочий торговый люд урывают, что могут, из продуктов труда; но в сущности — через их посредство — рабочих грабят крупные дельцы. Ведь такие люди, как этот Джонс в своей Петачской долине, в конечном счете выколачивают не больше, чем скудное жалованье. Они просто-напросто работают на крупных дельцов. Но над крупными дельцами стоят финансовые магнаты. У тех своя тщательно разработанная система, которую они в больших масштабах применяют для достижения все той же цели — втиснуться между сотнями тысяч рабочих и продуктом их труда. Эти магнаты уже не столько разбойники, сколько игроки. Им мало своей добычи, — ради азарта они грабят друг друга. А называют они это «высокой финансовой политикой». Все они в первую очередь заняты тем, что грабят рабочих, но время от времени одна шайка нападает на другую, пытаясь отнять награбленное добро. Вот почему Голдсуорти нагрел его на пятьдесят тысяч долларов, а Даусет, Леттон и Гугенхаммер пытались нагреть на десять миллионов. А когда он сам прижал компанию Панама-Мэйл, он поступил точно так же. Ну что же, заключил он свои размышления, уж лучше грабить грабителей, чем бедных, глупых рабочих.

Так, не имея ни малейшего понятия о философии, Элам Харниш предвосхитил и присвоил себе право на роль сверхчеловека двадцатого столетия. Он убедился, что за редчайшими исключениями в среде дельцов и финансистов не действует правило «положение обязывает». Как выразился один остроумный оратор на банкете в клубе Алта-Пасифик: «У воров есть благородство, и этим они отличаются от честных людей». Вот то-то и оно. Именно так. Эти новоявленные «сверхчеловеки» — просто банда головорезов, имеющих наглость проповедовать своим жертвам кодекс морали, с которым сами не считаются. Согласно этому кодексу, человеку можно доверять только до тех пор, пока он вынужден держать свое слово. «Не укради» — обязательно только для честных тружеников. Они же, сверхчеловеки, выше всяких заповедей: им можно красть, и чем крупнее кража, тем большим почетом они пользуются среди своих сообщников.

По мере того как Харниш глубже вникал в игру, картина становилась все отчетливее. Несмотря на то, что каждый грабитель норовит ограбить другого, шайка хорошо организована. Она фактически держит в руках весь политический механизм общества, начиная от кандидата в конгресс какого-нибудь захолустного округа и кончая сенатом Соединенных Штатов. Она издает законы, которые дают ей право на грабеж. Она осуществляет это право при помощи шерифов, федеральной полиции, местных войск, регулярной армии и судебных органов. Все идет как по маслу. Сверхчеловеку некого и нечего опасаться, кроме своего собрата — разбойника. Народ не в счет. Это просто быдло; широкие народные массы состоят из существ низшей породы, которых ничего не стоит обвести вокруг пальца. Грабители дергают за веревочки, а когда ограбление рабочих почему-либо идет недостаточно бойко, они кидаются друг на друга.

Харниш любил философствовать, но философом не был. За всю свою жизнь он не взял в руки ни одной серьезной книги. Это был прежде всего человек дела, упрямый и настойчивый, книжная премудрость нисколько не привлекала его. В той суровой, первобытной стране, где он жил до сих пор, он не нуждался в книгах для понимания жизни; но и здесь, в новых условиях, жизнь представлялась ему такой же простой и понятной. Он не поддался ее обольщениям и ясно

видел, что под внешним лоском она столь же первобытна, как на Юконе. Люди и там и здесь — из одного теста. Те же страсти, те же стремления. Финансовые операции — тот же покер, только в больших масштабах. Игру ведут люди, у которых есть золото, а золото добывают для них рабочие в обмен на продовольствие и снаряжение. Он видел, что игра ведется по извечным правилам, и сам участвовал в ней наряду с другими. Судьбы человечества, безнадежно одурманенного разбойничьей казуистикой, не волновали его: таков естественный порядок вещей. Он знал тщету человеческих усилий. На его глазах товарищи умирали у реки Стюарт. Сотни бывалых золотоискателей ничего не нашли на Бонанзе и Эльдорадо, а пришлые шведы и другие чечако явились на лосиный выгон и наугад застолбили миллионные участки. Такова жизнь, а жизнь — жестокая штука.

Люди в цивилизованном мире разбойничают, потому что такими создала их природа. Они грабят так же стихийно, как царапаются кошки, мучает голод, донимает мороз.

И вот Элам Харниш стал преуспевающим дельцом.

Но он не участвовал в обмане рабочих. К этому у него не лежала душа, а кроме того, такая добыча его не прельщала. Рабочие уж больно простодушны. Наживаться на них почти то же, что бить в заповедниках откормленных ручных фазанов, он слышал, что в Англии существует такой вид охоты. А вот подстеречь грабителей и отнять у них награбленное — это Настоящий спорт. Тут и риск и азарт, и дело нередко доходит до ожесточеннейших схваток. Как некогда Робин Гуд, Харниш решил грабить богатых и понемногу благодетельствовать бедных. Но благодетельствовал он на свой лад. Страдания миллионов обездоленных не вызывали в нем жалости: что ж, так повелось от века. Благотворительных учреждений и дельцов от филантропии он знать не хотел. Меньше всего он испытывал потребность щедрыми дарами успокоить свою совесть. Ведь он никому не должен. Ни о каком возмещении нанесенного ущерба и речи быть не может. Если он оказывал помощь, то делал это по своей прихоти, из личных побуждений, причем помогал только людям, которых знал. Он никогда не жертвовал на пострадавших от землетрясения в Японии или на летние лагеря для бедняков Нью-Йорка. Зато он обеспечил на год лифтера Джонса, чтобы тот мог написать книгу. Узнав, что у жены официанта в гостинице св. Франциска чахотка, Харниш отправил ее на свой счет в Аризону, а когда оказалось, что спасти ее нельзя, он послал к ней мужа, чтобы тот находился при больной до конца. Как-то он купил набор уздечек из конского волоса у одного арестанта; тот не замедлил оповестить об этом всю тюрьму, и вскоре добрая половина ее обитателей была занята изготовлением уздечек для Харниша. Он беспрекословно скупал их по цене от двадцати до пятидесяти долларов за штуку — они нравились ему: это были красивые и честно сработанные уздечки, и он украсил ими все свободные простенки своей спальни.

Суровая жизнь на Юконе не ожесточила Элама Харниша. Для этого потребовалось влияние цивилизации. В беспощадной, свирепой игре, которую он вел теперь, он мало-помалу вместе с медлительным говором Запада утрачивал свойственное ему добродушие. Не только речь его стала порывистой и резкой — нрав у него сделался таким же. Перипетии азартной игры оставляли ему все меньше досуга для благодушного веселья. Даже лицо его изменилось, оно стало замкнутым, угрюмым. Все реже приподнимались уголки его губ, в морщинках вокруг глаз все реже таилась улыбка. В черных и блестящих, как у индейца, глазах появилось выражение жестокости, кичливого сознания своей власти. Громадные жизненные силы по-прежнему кипели в нем, перехлестывая через край, но теперь эти силы служили ему для другой цели: он превратился в завоевателя, топчущего своих побежденных врагов. Сражаясь со стихиями, он не знал личной ненависти и злобы; теперь же он воевал против людей; тяжкие лишения, испытанные им на снежной тропе, среди пустынного Юкона, в лютый мороз, несравненно меньше сказались на нем, чем ожесточенная война со своими ближними.

В нем еще изредка вспыхивала былая беспечность, но вызывал он такие вспышки искусственно, обычно при помощи коктейлей. На Севере он пил много, но сравнительно редко, иногда с большими промежутками; здесь же он приучился пить регулярно, по расписанию. Это не явилось обдуманным решением — такой системы требовал его образ жизни. Коктейли нужны были ему для разрядки. Он не задумывался, не рассуждал, он просто испытывал безотчетную потребность ежедневно прерывать напряжение, которого стоили ему рискованные биржевые комбинации; очень скоро он убедился, что лучшее средство для этого — коктейли: они воздвигали каменную стену между ним и его сознанием. Он никогда не пил ни утром, ни в часы, которые проводил в конторе; но стоило ему выйти оттуда, как он начинал возводить эту стену, чтобы отгородиться ею от повседневных забот и треволнений. О конторе он тут же забывал, ее больше не существовало. После обеда она снова часа на два предъявляла свои права, а затем он прятался за стеной опьянения. Разумеется, порялок этот иногда нарушался; Харниш крепко держал себя руках и никогда не потреблял спиртного, если ему предстояло совещание или банкет в обществе друзей и недругов, где он должен был обсуждать планы новых финансовых вылазок. Но как только кончался деловой разговор, он неизменно заказывал двойной крепости мартини, — причем, во избежание пересудов, коктейль подавали в высоком бокале.

Глава шестая

В жизнь Элама Харниша вошла Дид Мэсон. Вошла как-то незаметно, словно невзначай. Он сперва отнесся к ней с полным равнодушием, почти уие отличая ее от мебели своего кабинета, от мальчишкипосыльного, от Морисона, состоявшего в должности бухгалтера и доверенного, а также от прочих принадлежностей всякой конторы, где ворочает делами биржевой сверхчеловек. Если бы в первые месяцы ее службы у Харниша его спросили, какого цвета у нее глаза, он не мог бы ответить. Оттого, что ее волосы были не светлые, а каштановые, у него сложилось смутное представление о ней как о брюнетке. Кроме того, ему казалось, что она не худая, хотя, с другой стороны, он был почти уверен, что она не полная. Относительно того, как она одевается, он не имел ни малейшего понятия. Он не был знатоком женских нарядов и ничуть ими не интересовался. Но поскольку он не замечал ничего необычного, он считал, что как-то она, по-видимому, одевается. Для него она была «мисс Мэсон» — и только, хотя он и отдавал себе отчет, что она превосходная стенографистка; однако и это мнение о ней не имело прочного основания, ибо других стенографисток он не знал и ничуть не сомневался, что все они работают отлично.

Однажды, просматривая письмо, прежде чем подписать его, он наткнулся на слова «о деле». Быстро пробежав глазами страницу, он нашел несколько «про дело». Других «о деле» не было. Это единственное «о деле» сразу привлекло его внимание. Он дважды нажал кнопку звонка, и через минуту в кабинет вошла Дид Мэсон.

— Разве я так сказал, мисс Мэсон? — спросил он, протягивая письмо и указывая пальцем на криминальные слова.

Она досадливо поморщилась: оправдываться бесполезно — улика была налицо.

— Виновата, — сказала она, — я ошиблась. Но только это, в сущности, не ошибка, — торопливо прибавила она.

— Почему такое? — недовольным тоном возразил Харниш. — По-моему, это неверно.

Она уже успела дойти до двери. На его слова она обернулась, держа в руках злополучное письмо.

— А все-таки так правильно.

— Но тогда «про дело» неправильно.

— Конечно, — не сморгнув, ответила она. — Поправить?

— «В понедельник я сам приеду, и мы поговорим о деле», — вслух повторил Харниш; он произнес эти слова раздельно, напряженно вслушиваясь в звук своего голоса, потом покачал головой. — Нет, мисс Мэсон, что-то не то. Нет и нет. Ведь и ко мне никто так не пишет. Все говорят «про дело», даже образованные. Разве нет?

— Да, — согласилась она и пошла к своей машинке, чтобы внести в письмо исправление.

Случилось так, что в компании, с которой он завтракал в тот день, оказался молодой англичанин — горный инженер. В другое время Харниш не обратил бы внимания на речь англичанина, но теперь, после спора со своей стенографисткой, он с первых же слов заметил, что тот говорит «о деле»; ни разу в течение завтрака он не сказал «про дело», за это Харниш мог поручиться.

Встав из-за стола, он отвел в уголок своего приятеля Маккинтоша; Харниш знал, что Маккинтош получил высшее образование, — недаром он когда-то слыл первоклассным футболистом.

— Послушай, Бэнни, — спросил Харниш, — как надо говорить: «Я сам приеду в понедельник, и мы поговорим про дело» или: «Поговорим о деле»?

Бывший чемпион футбола наморщил лоб и с минуту мучительно думал.

— Понятия не имею, — сознался он. — А как я говорю?

— Конечно, «про дело».

— Ну, тогда «о деле» правильно. У меня грамматика всегда хромала.

На обратном пути в контору Харниш зашел в книжную лавку и приобрел учебник по грамматике; он просидел над ним добрый час, задрав ноги на стол и старательно листая страницы.

— Провалиться мне на этом месте, девчонка-то права! — заключил он наконец.

И тут он впервые подумал о стенографистке как о живом существе. До сих пор она была в его глазах только особой женского пола и предметом конторской обстановки. Но теперь, когда она доказала, что лучше знает грамматику, нежели дельцы и даже окончившие университет футболисты, она стала для него личностью. Она приковала его внимание к себе с такой же силой, как злосчастное «о деле» в аккуратно отпечатанном письме.

Вечером, когда она уходила из конторы, он пригляделся к ней и в первый раз заметил, что она хорошо сложена и одета со вкусом. Он плохо разбирался в дамских туалетах и не мог оценить во всех подробностях красивую блузку и элегантный английский костюм, но ему понравился общий вид — все было на месте, ничего лишнего, ничто не портило впечатления.

«Да она премиленькая», — решил он про себя, когда за ней захлопнулась входная дверь.

На другое утро, диктуя стенографистке письма, он заметил, что у нее очень красиво уложены

волосы, хотя нипочем не сумел бы описать ее прическу. Просто ему приятно было смотреть на ее головку. Она сидела спиной к окну, и он обратил внимание, что волосы у нее каштановые, с бронзовым отливом. Под бледными лучами солнца, проникавшими в окно, бронзовые искорки поблескивали словно золотые, и это тоже было очень красиво. «Странно, — подумал он, — как я этого раньше не приметил».

В середине письма ему снова понадобился тот оборот, из-за которого они вчера поспорили. Он вспомнил свое единоборство с учебником и произнес:

— «О деле, о котором мы с вами говорили, я…»

Мисс Мэсон быстро взглянула на него. Она сделала это невольно, не сумев скрыть своего удивления. Уже в следующую секунду она опустила ресницы, готовая продолжать запись. Однако Харниш успел рассмотреть, что глаза у нее серые.

Впоследствии он узнал, что в этих серых глазах иногда вспыхивают золотистые точечки; но и того, что он сейчас увидел, оказалось достаточно, чтобы повергнуть его в изумление: почему, собственно, он был так твердо уверен, что волосы у нее черные, а глаза карие?

— А ведь вы были правы, — сказал он, смущенно улыбаясь, что никак не вязалось с резкими, как у индейца, чертами его лица.

За это чистосердечное признание он был вознагражден еще одним взмахом ресниц и приветливой улыбкой; кстати, он окончательно убедился, что глаза у нее серые.

— Только мне все-таки кажется, что это неправильно, — пожаловался он.

Она весело засмеялась.

— Простите, — спохватилась она, однако не удержалась и тут же добавила: — Но вы такой смешной.

Харнишу стало немного не по себе, тем более что солнце упорно золотило ее волосы.

— Я вовсе не шучу, — сказал он.

— Потому-то и вышло смешно. Но вы не сомневайтесь, это совершенно правильно, в точности по грамматике.

— Ну что ж, ладно, — вздохнул он. — Значит, так: «О деле, о котором мы с вами говорили… я…» Записали?

И он продиктовал письмо до конца.

Вскоре он обнаружил, что, когда у нее нет работы, она читает книгу или журнал, либо занимается рукоделием.

Как-то, проходя мимо ее стола, он взял в руки томик стихов Киплинга и с недоумением заглянул в него.

— Вы любите читать, мисс Мэсон? — спросил он и положил книгу обратно.

— Люблю, — ответила она. — Очень люблю.

В другой раз он увидел на ее столе «Колеса счастья» Уэллса.

— Про что это? — спросил он.

— Да просто роман, любовная история.

Она умолкла, но он медлил уходить, и она почувствовала, что неудобно не прибавить еще что-нибудь.

— Один скромный лондонский клерк во время отпуска отправился путешествовать на велосипеде и влюбился в девушку гораздо выше его по общественному положению. Она дочь известной писательницы и все.

— Это очень увлекательная история и печальная, не трагическая. Хотите почитать?

— А он женился на ней? — спросил Харниш.

— Нет, не женился, в этом все дело. Ведь он…

— И вы прочли такую толстенную книгу, чтобы узнать, что он на ней не женился? — с недоумением бормотал Харниш.

Мисс Мэсон стало смешно, но в то же время слова Харниша задели ее за живое.

— Но вы же читаете целыми днями биржевые котировки и сообщения о состоянии рынка, — возразила она.

— Так ведь тут есть польза. Это нужно для дела. Как можно сравнивать? Мне мое чтение приносит деньги.

— А что вы находите в ваших книгах?

— Новые мысли, убеждения, просто жизнь.

— Гроша ломаного это не стоит.

— Не всегда можно переводить жизнь на деньги, — ответила она.

— Ну что ж, — сказал он с чисто мужской снисходительностью, — если вам это нравится, то нечего и спорить. О вкусах вообще спорить не приходится.

Хоть это и было сказано несколько свысока, тоном превосходства, его кольнула мысль, что мисс Мэсон, по-видимому, очень ученая, и на минуту он почувствовал себя дикарем, лицом к лицу столкнувшимся с явлением недоступной ему, неизмеримо более высокой культуры. В глазах Харниша культура не имела никакой цены, и в то же время ему смутно представлялось, что не так уж она бесполезна, как кажется.

Однажды он опять увидел на ее столе книгу. Но эта книга была ему знакома, он сразу узнал обложку, — и он прошел мимо, не останавливаясь. Книгу написал один журналист, побывавший на Клондайке, и Харниш знал, что там написано про него и есть его портрет, и еще он знал, что целая глава посвящена трагической смерти одной женщины, поторопившейся уйти из жизни, «потому что время не ждет».

После этого Харниш больше не говорил с мисс Мэсон о книгах: нетрудно вообразить, какое

превратное мнение о нем она составит себе, когда прочтет эту главу. Обиднее всего, что приходится терпеть напраслину. Уж что-что, но чтобы он, Время-не-ждет, прослыл сердцедом, из-за которого женщины кончают с собой! И надо же случиться такому несчастью, что из тысяч написанных книг именно эта книга попала в руки стенографистке! Целую неделю Харниш испытывал тягостное сознание вины в присутствии мисс Мэсон; и он готов был поклясться, что однажды перехватил пристально устремленный на него взгляд, словно она изучала его, пытаясь понять, что он за человек.

Он обратился к своему бухгалтеру, в надежде выудить у него какие-нибудь сведения о мисс Мэсон. Но тот сначала дал волю своим оскорбленным чувствам и только после этого сообщил то немногое, что знал о ней.

Она родом из округа Сискийу. Конечно, работать вместе с ней хорошо, но очень уж важничает, никого до себя не допускает.

— Почему вы так думаете? — спросил Харниш.

— Да потому, что она не желает водить знакомство со своими сослуживцами, считая себя выше их. Ни с кем знаться не хочет. Вот я, например: сколько раз я приглашал ее и в театр, и в парк на аттракционы, или еще куда-нибудь. Ни за что. Говорит, что любит поспать вволю, что должна рано ложиться и до дому далеко — она в Беркли живет.

До сих пор Харниш слушал Моррисона с большим удовлетворением. Понятно, она не такая, как все, о чем тут говорить. Однако от дальнейших пояснений бухгалтера у него защемило сердце.

— Но все это отговорки. Просто она дружит со студентами. Она, видите ли, любит поспать и поэтому не может пойти со мной в театр, но танцевать с ними у нее находится время. Я слышал, что она не пропускает ни одной вечеринки в университете. Вообще я нахожу, что для стенографистки она слишком горда и независима. Лошадь верховую держит. По воскресеньям уезжает в горы. Ездит по-мужски, я сам видел. Да, она ни в чем себе не отказывает; и должен сказать — не понимаю, как это у нее получается. На шестьдесят пять долларов в месяц? И еще она содержит больного брата.

— С родителями живет? — спросил Харниш.

— Нет, она сирота. Я слышал, что родители были состоятельные люди. Должно быть, это правда, иначе ее брат не мог бы учиться в Калифорнийском университете. У отца было скотоводческое ранчо, но он начал играть на акциях золотопромышленных компаний или что-то в этом роде и разорился. Вскоре после этого он уехал. А мать ее давно умерла. Содержание брата, понятно, стоит ей уйму денег. Он когда-то был здоровый, играл в футбол, увлекался охотой, много ездил по горам и тому подобное. Несчастье случилось с ним, когда он объезжал лошадь, а потом он заболел ревматизмом или еще чем-то. Одна нога так и осталась короче другой он сохнет, так что ходит он на костылях. Я их видел как-то раз на переправе. Врачи уже много лет мудрят над ним. Сейчас он, кажется, во Французской больнице лежит.

Эти отрывочные сведения о мисс Мэсон еще более подогрели интерес к ней Харниша. Но личные отношения с ней, как сильно ни желал этого Харниш, никак не налаживались. Он часто подумывал о том, не пригласить ли ее позавтракать вместе, но против этого восставало прирожденное рыцарство, свойственное пионерам Дикого Запада, и он ни разу не поддался искушению. Честный, уважающий себя человек не должен приглашать в ресторан свою стенографистку. Многие это сделали, — он достаточно наслушался сплетен в своем клубе; но к таким людям он относился с презрением, а девушек жалел. Он считал, что мужчина имеет

меньше прав на женщину, которая служит у него, чем на просто знакомую или даже незнакомую. Несомненно, не будь мисс Мэсон служащей его конторы, она давно побывала бы с ним в театре или в ресторане. Но поскольку время служащей в рабочие часы принадлежит хозяину, любые притязания на ее свободное время равносильны злоупотреблению властью. Так поступать может только человек грубый, без стыда и совести. Ведь это значит пользоваться тем, что заработок девушки зависит от ее хозяина. Может быть, она принимает приглашения только потому, что боится рассердить его, а вовсе не из симпатии к нему.

А ему-то уж тем более не пристало навязываться мисс Мэсон, — разве не читала она эту злосчастную книгу о Клондайке? Хорошего она, должно быть, мнения о нем, если даже с таким красивым, воспитанным молодым человеком, как Моррисон, не желает водить знакомство. А помимо всего, ему мешала робость. Только женщин он и боялся в жизни, и всю жизнь боялся их. И даже сейчас, когда впервые в нем зародилась тоска по женской любви, он не сразу победил эту робость. Им все еще владел страх, что женщина подчинит его себе, и он невольно искал предлогов не сближаться с Дид Мэсон.

Глава седьмая

Судьба явно не благоприятствовала более близкому знакомству Харниша с Дид Мэсон, и интерес, который она возбудила в нем, постепенно угасал. Иначе и быть не могло: он ворочал огромными делами, и биржевая игра, которую он вел со свойственным ему азартом, поглощала без остатка даже его недюжинную энергию. Только этим и были заняты его мысли, и образ миловидной стенографистки малопомалу, почти незаметно для него самого, стушевался в его сознании. Первые слабые уколы сердечной тоски, толкавшие его к Дид Мэсон, вскоре притупились. Он уже не думал о ней, как о женщине, а только испытывал удовольствие от мысли, что в его конторе такая симпатичная стенографистка.

Но если у него и оставались какие-то последние проблески надежды относительно Дид Мэсон, они все равно исчезли бы, оттесненные грандиозной ожесточенной войной, которую он объявил Компании берегового пароходства и Гавайско — Никарагуанско — Тихоокеанско-Мексиканской пароходной компании. Харниш и сам не ожидал, что заварится такая каша, и даже он потерял душевное равновесие, когда увидел, какие огромные размеры принимает конфликт и какое множество противоречивых интересов переплелось в нем. Вся пресса Сан-Франциско обрушилась на Харниша. Правда, одна-две редакции вначале намекали, что готовы за известную мзду взять его сторону, но он решил, что для таких издержек нет достаточных оснований. До сих пор газеты всегда писали о нем доброжелательно, чуть иронически расписывая его подвиги; теперь он узнал, на какое коварство и наглость способна враждебная пресса. Малейшее событие его жизни извлекалось на свет божий и служило предлогом для злобных вымыслов. Харниш искренне изумлялся той быстроте, с какой все, что он совершил и чего достиг, получило новое толкование. Из героя Аляски он превратился в аляскинского хулигана, враля, головореза — словом, в отъявленного злодея. Мало того, самая оголтелая клевета и ложь так и сыпались на него. Он ни словом не начал на эту травлю и только один раз облегчил душу в присутствии нескольких репортеров.

— Можете писать любую пакость, — сказал он. — В реке я видел вещи нестрашнее, чем грязное вранье ваших газет. И я вас, ребята, не виню... то есть не очень виню. Что же вам остается делать? Жить-то надо. На свете очень много женщин, которые, как вы, продаются ради куска хлеба, потому что ничего другого не умеют. Кто-нибудь должен делать черную работу. Вам за это платят, а искать работу почище — на это у вас пороху не хватает.

Социалистическая пресса с радостью подхватила эти слова и распространила их по городу, выпустив десятки тысяч листовок. А журналисты, задетые за живое, ответили единственным

доступным им способом — не жалея типографской краски, разразились площадной бранью. Травля стала еще ожесточенней. Газеты, обливая Харниша помоями, уже не брезгали ничем. Несчастную женщину, покончившую с собой, вытащили из могилы, и тысячи стоп газетной бумаги изводилось на то, чтобы выставить ее напоказ в качестве мученицы и невинной жертвы зверской свирепости Харниша. Появились солидные, оснащенные статистическими данными статьи, в которых доказывалось, что начало своему богатству он положил ограблением бедных старателей, отнимая у них золотоносные участки, а последним камнем, завершающим здание, явился вероломный обман Гугенхаммеров в сделке с Офиром. В передовицах его клеймили как врага общества, обладающего культурой и манерами троглодита, как виновника финансовых неурядиц, подрывающих промышленное и коммерческое процветание города, как сугубо опасного анархиста; а в одной передовой статье совершенно серьезно говорилось о том, что виселица была бы полезным уроком для Харниша и ему подобных, и в заключение высказывалось горячее пожелание, чтобы его огромный автомобиль разбился вдребезги вместе со своим хозяином.

Но Харниш, словно могучий медведь, подобравшийся к пчелиному улью, не обращая внимания на укусы, упорно лез за медом. Он стискивал зубы и ожесточенно отбивал нападения. Сначала он сражался только против двух пароходных компаний, но мало-помалу оказался в состоянии войны с целым городом, потом с целым штатом и наконец с побережьем целого континента. Ну что ж, желаете драться — пожалуйста! Ведь он покинул Клондайк именно ради того, чтобы принять участие в такой азартной игре, какой не знали на Юконе. Был у него и союзник — ирландец Ларри Хиган, молодой адвокат, который еще не успел создать себе имя и чье своеобразное дарование никто не сумел оценить, пока Харниш не стал пользоваться его услугами, положив ему очень высокое жалованье и сверх того награждая поистине княжескими подарками. Хиган, унаследовав пылкое воображение и смелость своих кельтских предков, иногда заходил так далеко, что более рассудительному Харнишу приходилось обуздывать его. Этому Наполеону юриспруденции не хватало чувства меры, и тут-то очень пригодился трезвый ум Харниша. Действуя в одиночку, ирландец был обречен на провал, но направляемый Харнишем, он на всех парах шел к богатству и славе. А совесть — и личная и гражданская — обременяла его не более, чем самого Наполеона.

Именно Хиган вел Харниша по лабиринту современной политической игры, рабочего движения, торгового и промышленного законодательства. Именно Хиган, неистощимый прожектер и выдумщик, открыл Харнишу глаза на баснословные возможности, которые могут быть использованы в войнах двадцатого века; а Харниш, со своей стороны, взвешивая, принимая или отвергая советы Хигана, разрабатывал планы кампаний и давал бой. Побережье Тихого океана от Пыоджет-Саунда до Панамы бурлило и кипело, весь Сан-Франциско жаждал его крови, — казалось, у могущественных пароходных компаний все шансы на победу. Никто не сомневался, что рано или поздно Время-не-ждет будет поставлен на колени. И тут он обрушил удар на пароходства, на Сан-Франциско, на все Тихоокеанское побережье.

Началось с малого. В Сан-Франциско открылся съезд общества «Христианский опыт»; в пакгаузе члены девятьсот двадцать седьмого отделения Союза рабочих городского транспорта отказались грузить небольшую партию багажа, принадлежавшего делегатам съезда. Кое-кому проломили череп, человек двадцать арестовали, и багаж был доставлен по назначению. Никому и в голову не пришло, что тут действовала ловкая рука Хигана, подкрепленная клондайкским золотом Элама Харниша. Дело выеденного яйца не стойло — так, по крайней мере, казалось. Но в защиту транспортников выступил союз возчиков, а их поддержала вся федерация портовых рабочих. Шаг за шагом ширилась забастовка. Повара и официанты отказались обслуживать возчиков-штрейкбрехеров и хозяев извозных предприятии. Служащие боен и мясники отказались работать на рестораны, владельцы которых были против

забастовщиков. Ассоциации предпринимателей объединили свои силы, но им противостоял единый фронт сорока тысяч организованных рабочих Сан-Франциско. Бастовали пекарни ресторанов и возчики, доставляющие хлеб, бастовали молочники и возчики, доставляющие молоко, бастовали рабочие птицеводческих ферм. Союз строителей безоговорочно поддержал бастующих. В Сан-Франциско царил хаос.

Но пока еще — только в Сан-Франциско. Хиган в совершенстве владел искусством интриги, и кампания, начатая Харнишем, развивалась постепенно. Могущественный Союз моряков Тихоокеанского побережья предложил своим членам покидать суда, на погрузке которых работали штрейкбрехеры. Когда требования, предъявленные союзом, были отклонены, началась всеобщая забастовка моряков. Именно этого Харниш и добивался. Как только судно каботажного плавания бросало якорь, на борт поднимались представители союза и отсылали экипаж на берег. Судно покидали не только матросы, но и кочегары, механики, коки и стюарды. С каждым днем увеличивалось число бездействующих судов. Набрать команды из штрейкбрехеров не удавалось: члены союза были люди закаленные, прошедшие суровую школу морской жизни, и когда они объявляли стачку — горе штрейкбрехерам, которые вздумали бы сорвать ее! Забастовка перекинулась и в другие тихоокеанские порты и вскоре охватила все побережье. Морской транспорт остановился. Шли дни, недели — забастовка продолжалась. Компания берегового пароходства и Гавайско-Никарагуанско-Тихоокеанско-Мексиканская компания были прижаты к стене. Борьба с забастовкой требовала колоссальных издержек, а приток прибылей прекратился; положение с каждым днем ухудшалось, пока хозяева в один голос не возопили: «Мир любой ценой!» Но мир наступил только после того, как Харниш и его помощники, разыграв все свои карты и забрав кон, позволили обитателям изрядной части континента вернуться к своим обычным занятиям.

Было замечено, что в ближайшие годы кое-кто из рабочих лидеров выстроил себе особнячки и доходные дома или ездил за океан навестить старую родину, а непосредственно после забастовки на политической арене появились новые «темные лошадки», к которым перешло городское самоуправление и казна города. Жители Сан-Франциско даже и не подозревали, в какой огромной мере война Харниша с пароходствами содействовала засилью политиканов в их городе. Но слухи о его деятельности — наполовину сплетни, наполовину догадки — быстро просочились, возбудив против него всеобщую ненависть и злобу. Кстати сказать, он и сам не предвидел, что его набеги на конкурентов возымеют такие последствия.

Но он добился своей цели. Игра велась азартно, и выигрыш достался ему: он растоптал пароходные компании и вполне легальными приемами беспощадно обчистил держателей акций. Разумеется, помощники Харниша не удовлетворились крупными суммами, которые он выплатил им: они сами позаботились о том, чтобы закрепить за собой преимущества, которые впоследствии дали им возможность грабить городскую казну. Что делать! Когда знаешься с разбойниками — без разбоя не обойтись. Но совесть его была спокойна. Он вспомнил слова, когда-то слышанные им из уст старикапроповедника: взявший меч от меча погибнет. Ну что ж, пришлось пойти на риск — и он уцелел. И не только уцелел, но и победил. Это игра, соперничество между сильными противниками. А простаки не в счет. Они всегда остаются в накладе. И всегда так было — как ни мало Харниш знал историю, этот вывод казался ему бесспорным. Сан-Франциско хотел войны — ну, он и получил войну. На то игра. Все крупные дельцы так и поступают, да и похуже вещи делают.

— Не говорите мне про совесть и гражданский долг, — сказал он в ответ на настойчивые вопросы одного репортера. — Если вы завтра уйдете из своей газеты и начнете работать в другой, вы будете писать то, что вам велят. Сейчас вы распинаетесь насчет совести и гражданского долга; а на новом месте вы будете восхвалять жульническую железнодорожную компанию и, вероятно, тоже взывать к совести и гражданскому долгу, вам — тридцать

долларов в неделю. За эту сумму можно купить. Но газета ваша стоит подороже. Если отвалить, сколько она запросит, завтра же она переметнется и взамен одной подлости будет проповедовать другую. Но она никогда не перестанет взывать к чести и гражданскому долгу.

И все оттого, что каждую минуту родятся дураки. Их будут надувать, пока они терпят. А уж пайщики и пионеры лучше помолчали бы! Теперь они хнычут, понесли убытки. А я что-то не слышал, чтобы они жали, когда сами берут кого-нибудь за горло. На этот им пришлось раскошелиться, вот и все. Нашли тоже чек! Да они, милый мой, корку хлеба у голодного эадут, золотые пломбы у покойника изо рта вытащат, если покойник заартачится, подымут визг, точно их режут. Все они хороши — и крупные воротилы и мелкота. Да вот взять хотя бы Сахарный трест: миллионное дело, а ворует воду у Нью-Йорка, будто мелкий жулик, обвешивает казну на своих фальшивых весах. А вы толкуете про совесть и гражданский долг. Бросьте, дорогой мой!

Глава восьмая

Приобщение к цивилизации не пошло Харнишу на пользу. Правда, он стал приличнее одеваться, немного пообтесался, речь его стала правильнее. Он до тонкости постиг самую суть биржевой игры, и никто не умел с большим хладнокровием топтать ногами своих ближних. Кроме того, он привык к жизненным удобствам, а в жестокой и сложной борьбе с равными ему по силе противниками он отточил свой ум до остроты бритвы. Но зато в нем появилась несвойственная ему ранее черствость, от былой отзывчивости не осталось и следа. О духовных благах цивилизации он не знал ничего и даже не подозревал об их существовании. Он превратился в озлобленного, бессердечного циника. Могущество и власть оказали на него свое обычное действие. Крупных эксплуататоров он остерегался, эксплуатируемых простаков презирал и верил только в самого себя. Это привело к непомерному, противоестественному преклонению перед своим «я»: окружающие не вызывали в нем никаких теплых чувств, более того — он их и за людей не считал; ему оставалось одно — воздвигнуть алтарь своей личности и возносить к ней молитвы.

Харниш изменился не только душой, но и телом; это был уже не тот атлет со стальными мускулами, каким он пришел сюда с Крайнего Севера. Он слишком мало двигался, слишком много ел, а главное — слишком пристрастился к спиртному. Мышцы потеряли упругость, и его портной уже не раз деликатно намекал ему на увеличивающийся объем талии. И в самом деле, Харниш успел отрастить себе изрядное брюшко. Городская жизнь не пощадила и его лица — сухие, резкие черты расплылись, чуть впалые щеки округлились, под глазами наметились мешки; шея потолстела, и уже ясно обозначались первые складки будущего двойного подбородка. Исчез прежний аскетический облик, приобретенный в изнурительном труде и нечеловеческих лишениях; он погрубел, обрюзг. Все в нем выдавало человека невоздержанной жизни, себялюбивого и черствого.

И люди, с которыми он теперь общался, были уже сортом пониже. Игру он вел в одиночку, партнеров своих презирал почти поголовно, либо не понимая их, либо не питая к ним симпатии и, уж конечно, нисколько не завися от них; поэтому он не искал общества людей, с которыми мог бы встречаться хотя бы в клубе АлтаПасифик. К тому же в разгар войны с пароходными компаниями, когда дерзновенные набеги Харниша причиняли неисчислимый ущерб всем дельцам, ему было предложено выйти из членов клуба. Харниша это нисколько не огорчило, даже наоборот, и он с охотой перекочевал в клуб Риверсайд, учрежденный политическими боссами Сан-Франциско и фактически принадлежащий им. Он признавался себе, что эти люди ему больше по душе: они проще, бесхитростнее и по крайней мере не важничают. Это откровенные разбойники, они, не таясь, хватают что можно; правда, они неотесанные, у них нет внешнего лоска, зато они не лгут, прикрываясь маской елейной учтивости. К примеру,

старшины клуба Алта-Пасифик просили не разглашать исключение его из числа членов, а сами тотчас же уведомили газеты. Те, разумеется, на все лады раздували эту сенсацию, но Харниш только посмеивался про себя, однако затаил злобу на кое-кого из членов клуба, и им предстояло в далеком будущем испытать на своей шкуре, что значит попасть в грозные лапы клондайкского миллионера.

Ураганный огонь, который газеты дружно вели по Харнишу, длился несколько месяцев и живого места на нем не оставил. Послушать репортеров, так вся его его прошлая жизнь была сплошной цепью злодейств и посмертных грехов. Это превращение у всех на глазах в чудовище беззакония и зла лишало Харниша всякой возможности сблизиться с Дид Мэсон, если бы даже он еще лелеял такую надежду; он был убежден, что она и глядеть на него не захочет, и повысив ей оклад до семидесяти пяти долларов в месяц, он постарался как можно скорее забыть ее. О прибавке жалованья он сообщил ей через Моррисона. Она поблагодарила Харниша, и на том все кончилось.

Как-то в субботу, чувствуя себя утомленным и подавленным, он подумал, что хорошо бы вырваться из города, и он уступил внезапному побуждению, не подозревая, какое большое влияние эта прогулка окажет на всю его жизнь. Не желая сознаться самому себе, что его просто потянуло на свежий воздух и невмоготу сидеть в четырех стенах, он придумал предлог для своей поездки в Глен Эллен: нужно посмотреть, что делается на кирпичном заводе, который ему подсунул Голдсуорти.

Переночевав в маленькой гостинице, он в воскресенье утром взял верховую лошадь у местного мясника и выехал из деревни. До завода было недалеко — он находился в низине, на берегу ручья Сонома. Впереди, между деревьев, уже показались печи для обжига кирпича, когда Харниш, глянув налево, увидел в полумиле от дороги поросшую лесом гору Сонома и лесистые холмы на ее отлогих склонах. Деревья на холмах, казалось, призывно кивали ему. От теплого летнего воздуха, пронизанного солнцем, кружилась голова. Харниш, сам не замечая этого, с жадностью вдыхал его. На завод ехать не хотелось; он был сыт по горло всем, что имело отношение к делам, а зеленые холмы манили к себе. Под ним конь — добрый конь, это сразу чувствуется — не хуже индейских лошадок, на которых он скакал мальчишкой в Восточном Орегоне. В те времена он недурно ездил верхом, и сейчас лязг лошадиных зубов о мундштук и скрип кожаного седла приятно отдавались у него в ушах.

Решив сначала покататься для своего удовольствия, а на завод заехать потом, он поднялся немного вверх по склону и огляделся, ища, как бы добраться прямиком до горы Срнома. Свернув с шоссе в первые встретившиеся ворота, он поскакал по проселку между двух изгородей. На лугах, тянувшихся справа и слева от дороги, высоко стояли кормовые травы, и Харниш с восторгом вдыхал их теплое благоухание. Впереди то и дело взлетали жаворонки, и повсюду звучали птичьи голоса. Приглядевшись к дороге, Харниш решил, что по ней когда-то возили глину на ныне бездействующий кирпичный завод. Значит, он не зря катается, а занимается делом. Успокоив этой мыслью свою совесть, он поехал дальше, до глинища — огромной плеши среди зелени. Но он не стал задерживаться там, а свернул с дороги налево. Кругом было пустынно, нигде не виднелось человеческого жилья; после тесноты многолюдного города Харниша радовали простор и тишина. Теперь он ехал редким лесом, пересекая пестревшие цветами поляны. Заметив родничок, он спешился, лег на землю и напился свежей, прозрачной воды; потом он посмотрел вокруг и с изумлением увидел внезапно открывшуюся ему красоту мира. Он вдруг понял, что до сих пор не замечал ее или успел забыть. Когда ворочаешь миллионными делами, уже не помнишь, что в жизни есть и кое-что другое. В этом живописном уголке леса, вдыхая лесные запахи, слушая далекое пение жаворонков, он чувствовал себя точно игрок, который, просидев за покером всю ночь напролет, вышел из прокуренной комнаты на свежий утренний воздух.

У подножия холмов Харниш наткнулся на ветхий забор и подумал, что его ставил, вероятно, лет сорок тому назад кто-нибудь из первых поселенцев, занявший этот участок после того, как кончилась золотая лихорадка. Лес здесь был очень густой, но почти без подлеска, и лошадь Харниша свободно пробиралась между деревьями, под зеленым сводом ветвей, заслонявших голубое небо. Он очутился в глухой лесной чаще, простиравшейся на несколько акров; вперемежку с дубом, мансанитой и земляничными деревьями здесь росли исполинские секвойи. У крутого пригорка была целая роща этих великанов, которые, словно сговорившись, обступили крохотный бурлящий ключ.

Харниш осадил лошадь — у самого ключа он увидел дикую калифорнийскую лилию; она росла под сенью величавых деревьев, точно под куполом собора. Лилия была красоты необыкновенной: прямой и стройный стебель подымался футов на восемь; на две трети своего роста он оставался зеленым и голым и вдруг рассыпался дождем белоснежных, будто восковых, колокольцев. Их были сотни на одном стебле, нежных и хрупких. Харниш от изумлением разглядывал цветок, никогда еще не видел он ничего подобного. Потом он медленно посмотрел вокруг и обнажил голову. Странное чувство — что-то похожее на благоговение — шевельнулось в нем. Да, здесь другое, здесь нет места кощунству и злу. Здесь чисто, свежо, красиво — это можно чтить. Как в церкви. Кругом торжественная тишина. Здесь человек может думать о возвышенном и благородном. Все это и еще многое ожило в сердце Харниша, пока он оглядывался вокруг. Он безотчетно, ни о чем не думая, отдавался охватившему его чувству.

На крутом склоне, над самым ключом, росли низенькие венерины волосы, а выше — папоротники покрупнее, с большими листьями. То тут, то там виднелись обросшие мхом стволы поваленных деревьев, ушедшие глубоко в землю и почти слившиеся с лесной почвой. Впереди, там, где деревья стояли чуть реже, со старых корявых дубов свисала буйная поросль дикого винограда и жимолости. Серая белочка вылезла на сучок и внимательно посмотрела на Харниша. Откуда-то издалека доносился стук дятла; но этот глухой стук не нарушал уединения. Тихие лесные звуки только усугубляли мир и тишину. Едва слышное журчание ключа и прыжки серой белочки еще сильнее подчеркивали молчание и безмятежный покой лесной чащи.

— Такая глушь, что, кажется, миллион миль скачи — никуда не доскачешь, — прошептал про себя Харниш.

Но взоры его неизменно обращались к красавице лилии у журчащего ключа.

Он стреножил лошадь и пошел побродить по холмам.

На вершинах стояли вековые пихты, а на склонах росли дуб, земляничник и остролист. Между холмами вилось узкое глубокое ущелье, — тут было царство секвойи. Лошадь не прошла бы здесь, и Харниш вернулся к дикой лилии. Взяв лошадь под уздцы, он повел ее вверх по крутому склону, то и дело скользя и спотыкаясь. Под ногами у него все так же расстилался ковер из папоротника, все так же вместе с ним поднимался в гору лес, смыкая ветви над его головой, и все так же чистая радость вливалась ему в душу.

Добравшись до гребня, он очутился в густой чаще молодых земляничных деревьев с бархатными стволами, а за ней открылся спуск в узенькую лощину. В первое мгновение солнце ослепило его, и он остановился передохнуть. Вот уж не думал он, что от крутого подъема в гору можно так запыхаться и так быстро устать. На дне узкой лощины, по узкой лужайке, где в высокой траве мелькали голубые и белые немофилы, протекал узкий ручеек. Склон холма покрывали дикие гиацинты и марипозы, и лошадь медленно и осторожно, словно нехотя,

ступала по яркому цветочному ковру.

Харниш пересек ручей и поехал по тропе, протоптанной скотом; миновав небольшой каменистый пригорок и рощу мансаниты, увитой диким виноградом, он увидел еще одну узкую лощинку, по которой тоже струился ручеек, окаймленный зелеными лужайками. Из-за куста, под самой мордой лошади, выскочил заяц, перемахнул через ручей и исчез среди дубов на противоположном склоне. Харниш с восхищением поглядел ему вслед и поехал дальше, до конца лужайки. Антилопа-вилорог кинулась прочь от него, одним прыжком перелетела лужайку, почти не касаясь земли, перескочила через ограду и скрылась в спасительной лесной чаще.

Огромная радость охватила Харниша. Ему казалось, что никогда еще он не был так счастлив. Память о проведенном в лесах детстве ожила в нем, и он с жадным вниманием приглядывался ко всему, все занимало его: мох на стволах и ветвях деревьев; кусты омелы, присосавшиеся к дубам; гнездо лесной крысы; трава жеруха, притаившаяся в заводях ручья; бабочка, пересекающая полосы света и тени; сойки, сверкающие ярко-синим оперением на просеках; крапивники и другие крохотные пичужки, прыгающие среди кустов с тоненьким писком, словно подражая крику перепелки, и дятел с алым хохолком, который перестал стучать и, склонив голову набок, уставился на него. По ту сторону ручья он набрел на заросшую проселочную дорогу; вероятно, ею пользовались лет тридцать назад, когда сводили с поляны дубы. На самой верхушке расколотой молнией секвойи в два обхвата он заметил ястребиное гнездо. А потом, к великой радости Харниша, лошадь вспугнула несколько выводков птенцов, и воздух мгновенно наполнился прерывистым шумом крыльев. Харниш придержал лошадь и, любуясь исчезающими на его глазах пташками, прислушивался к тревожному зову взрослых перепелов, прячущихся за деревьями.

— Это тебе не вилла в Мэнло-Парке, — произнес он вслух. — Если когда-нибудь меня потянет в деревню, здесь буду жить, и больше нигде.

Заброшенный проселок вывел его на прогалину, где на десятке акров красной земли раскинулся виноградник. За ним опять обозначилась коровья тропа, потом лес пошел гуще, и, наконец, спустившись по косогору, Харниш выехал на открытое место. Высоко над долиной Сонома на лесистом обрыве стояла ферма. Домик со всеми надворными строениями гнездился в углублении горы, которая защищала его с севера и запада. Харниш, увидев небольшой огород, подумал, что, вероятно, из-за эрозии почвы здесь образовалась ровная полоса земли. Земля была черная, жирная и, видимо, хорошо орошалась: из нескольких открытых кранов обильно текла вода.

О кирпичном заводе Харниш и думать забыл. На ферме никого не было, но он все же спешился, обошел огород, лакомясь клубникой и зеленым горошком, осмотрел ветхий глинобитный сарай, заржавленный плуг и борону, потом свернул самокрутку и, покуривая, стал смотреть на выводки цыплят, суетившихся вокруг клушек. Его соблазнила тропинка, ведущая вниз с обрыва, и он пошел по ней. Рядом с тропинкой была проложена водопроводная труба, кое-где скрытая под землей, и он решил, что тропинка приведет к истокам ручья. Почти отвесный склон каньона достигал ста футов в высоту, и мощные, не тронутые топором деревья отбрасывали такую густую тень, что Харниш все время шел в полумраке. Он на глаз прикидывал толщину стволов: здесь росли пихты пяти и шести футов в диаметре, а секвойи попадались и еще более мощные. Одна секвойя была никак не меньше десяти или даже одиннадцати футов в поперечнике. Тропинка привела Харниша прямо к маленькой плотине, — отсюда в трубу и набиралась вода, которой поливали огород. На берегу ручья росли ольха и лавр, а папоротник стоял так высоко, что закрывал Харниша с головой. Повсюду расстилался бархатный мох, и из него выглядывали венерины волосы и низенькие папоротники с

золотистыми спинками листьев.

Не будь плотины, Харниш подумал бы, что он очутился в девственном лесу. Топор не вторгался сюда, и деревья умирали только от старости или не выдержав натиска зимних бурь. Огромные поверженные стволы, обросшие мхом, медленно истлевали, растворяясь в почве, когда-то породившей их. Многие так долго пролежали здесь, что от них уже ничего

— не оставалось, кроме едва приметных очертаний вровень с землей. Некоторые деревья упали поперек ручья, и из-под одного исполинского ствола десяток молодых деревцев, сломанных и придавленных его тяжестью, продолжал расти, лежа на земле, погрузив корни в воду и простирая ветви к живительному солнцу, проникавшему к ним сквозь просветы в зеленой кровле.

Вернувшись на ферму, Харниш сел в седло и поехал дальше, выбирая все более глубокие ущелья и все более крутые склоны. Раз уж он устроил себе такой праздник, он не успокоится, пока не взберется на вершину горы Сонома. И три часа спустя он достиг ее, усталый, потный, в изорванном костюме и с ссадинами на лице и руках; но глаза его сверкали необычным для него в последние годы задором и весельем. Он чувствовал себя, как школьник, сбежавший с уроков. Сан-Франциско, рискованная биржевая игра отодвинулись куда-то далеко-далеко. Но дело было не только в озорстве школьника, доставившего себе запретную радость, — ему казалось, что он принимает что-то вроде очистительной ванны, что он смывает с себя всю грязь, всю подлость и злобу, которой запятнал себя в смердящем болоте городской жизни. Он не раздумывал над этим, не пытался разобраться в своих ощущениях, он только чувствовал себя внутренне чистым и облагороженным. Если бы его спросили, что он испытывает, он, вероятно, ответил бы, что ему здесь очень нравится. Он и сам в простоте своей не понимал, какую власть над ним имеет природа, как, проникая во все его существо, она освобождает и тело и ум от городской гнили, — не понимал, что эта власть так велика потому, что много поколений его предков жили в — первозданных дремучих лесах, да и сам он успел приобрести только слабый налет городской цивилизации.

На горе Сонома не оказалось человеческого жилья, и когда Харниш осадил коня у южного края вершины, он был совсем один под ярко-синим калифорнийским небом. Перед ним, уходя из-под его ног на юг и на запад, расстилались луга, прорезанные лесистыми ущельями; складка за складкой, уступ за уступом зеленый ковер спускался все ниже до Петалумской долины, плоской, как бильярд, где, словно на разлинованном чертеже, четко выделялись правильные квадраты и полосы жирной, возделанной земли. Дальше к западу гряда за грядой высились горы, и лиловатый туман клубился в долинах, а еще дальше, по ту сторону последней гряды, Харниш увидел серебристый блеск океана. Повернув лошадь, он обвел взглядом запад и север от Санта-Росы до горы св. Елены, посмотрел на восток, где за долиной Сонома поросший карликовым дубом горный хребет заслонял вид на долину Напа. На восточном склоне, замыкающем долину Сонома, на одной линии с деревушкой Глен Эллен, он приметил безлесное место. Сперва он подумал: уж не отвалы ли это у входа в шахту? Но тут же вспомнил, что здесь не золотоносный край. Поворачивая лошадь по кругу, он увидел далеко на юго-востоке, по ту сторону бухты Сан-Пабло, ясно очерченную двойную вершину Чертовой горы. Южнее высилась гора Тамалпайс, а дальше, нет, он не ошибся, — в пятидесяти милях отсюда, там, где океанские ветры свободно входили в Золотые ворота, низко над горизонтом стлался дым Сан-Франциско.

— Давненько не видал я такого простора, — вслух подумал он.

Ему не хотелось покидать свой наблюдательный пост, и только час спустя он наконец оторвался от открывшейся ему картины и начал спускаться с горы. Нарочно выбрав другую

дорогу для спуска, он только к исходу дня снова очутился у лесистых холмов. На вершине одного из них его зоркие глаза вдруг заметили темное пятно: такого оттенка зеленого цвета он сегодня еще не видел. Вглядевшись, он пришел к выводу, что это три кипариса; но кипарисы здесь не росли, значит, эти три дерева были кем-то посажены. Движимый чисто мальчишеским любопытством, он решил разузнать, откуда они взялись. Склон оказался таким крутым и так густо зарос лесом, что Харнишу пришлось спешиться, а там, где подлесок был почти непроходим, ползти на четвереньках. Кипарисы вдруг неожиданно встали перед ним. Они были с четырех сторон обнесены оградой; Харниш сразу заметил, что колья обтесаны и заострены вручную. Под кипарисами виднелись две детские могилки. Надписи на деревянных дощечках, тоже оструганных вручную, гласили: «Малютка Дэвид, родился в 1855, умер в 1859; малютка Лили, родилась в 1853, умерла в 1860».

— Бедные детишки, — прошептал Харниш.

За могилками явно кто-то ухаживал. На холмиках лежали полузавядшие пучки полевых цветов, буквы на дощечках были свежевыкрашены. Харниш обошел вокруг ограды и нашел тропинку, ведущую вниз по противоположному склону. Спустившись, он разыскал свою лошадь и верхом подъехал к фермерскому дому. Из трубы поднимался дым, и Харниш быстро разговорился с худощавым, несколько суетливым молодым человеком, оказавшиеся не владельцем, а только арендатором фермы. Велик ли участок? Около ста восьмидесяти акров. Это только так кажется, что он больше, потому что неправильной формы. Да, он включает и глинище и все холмы, а вдоль каньона граница тянется на милю с лишним.

— Видите ли, — сказал молодой человек, — местность очень гористая и неровная, так что первые фермеры, которые обосновались здесь, скупали хорошую землю, где только могли. Вот почему границы участка сильно изрезаны.

Да, конечно, они с женой сводят концы с концами, не слишком надрываясь на работе. За аренду они платят немного. Владелец участка, Хиллард, живет на доходы с глины. Он человек состоятельный, у него фермы и виноградники там, в долине. Кирпичный завод оплачивает глину из расчета десяти центов за кубический ярд. Земля хороша только местами — там, где она расчищена, вот, например, огород или виноградник; но почти повсюду местность уж очень неровная.

— Вы, должно быть, не фермер, — сказал Харниш.

Молодой человек засмеялся и покачал головой.

— Нет, конечно. Я телеграфист. Но мы с женой решили года два передохнуть… и вот почему мы здесь. Время наше почти истекло. Осенью соберу виноград и опять пойду служить на телеграф.

Да, под виноградником акров одиннадцать — все винные сорта. Цена на виноград обычно довольно высокая. Почти все, что они едят, он сам выращивает. Если бы земля принадлежала ему, он расчистил бы местечко на склоне горы над виноградником и развел бы там плодовый сад, почва подходящая. Лугов много по всему участку, и акров пятнадцать наберется, с которых он снимает превосходное, нежное сено. За каждую тонну он выручает на три, а то и на пять долларов больше, чем за обыкновенное грубое сено, снятое в долине.

Харниш слушал с интересом и вдруг почувствовал зависть к этому молодому человеку, постоянно живущему здесь, среди всех красот, которыми Харниш только любовался в течение нескольких часов.

— Чего ради вы хотите возвращаться на телеграф? — спросил он.

Молодой человек улыбнулся не без грусти.

— Здесь мы ничего не добьемся. И (он на секунду замялся)… нам предстоят лишние расходы. За аренду хоть и немного, а платить нужно. И сил у меня не хватает, чтобы по-настоящему хозяйничать. Будь это моя собственная земля или будь я такой здоровяк, как вы, я ничего лучшего не желал бы. И жена тоже… — Он снова грустно улыбнулся. — Понимаете, мы оба родились в деревне, и, проторчав несколько лет в городах, мы решили, что в деревне лучше. Мы надеемся кое-что скопить и когда-нибудь купим себе клочок земли и уж там осядем.

Детские могилки? Да, это он подкрасил буквы и выполол сорняк. Такой уж установился обычай. Все, кто ни живет здесь, это делают. Говорят, что много лет подряд родители каждое лето приезжали на могилы, а потом ездить перестали; и старик Хиллард завел этот обычай. Разрез на склоне горы? Да, здесь была шахта. Но золота находили ничтожно мало. Старатели все снова и снова начинали разработку, в течение многих лет, потому что разведка дала хорошие результаты. Но это было очень давно. Здесь за все время ни одного рентабельного месторождения не открылось, хотя ям нарыли видимо-невидимо, а тридцать лет назад даже началось что-то вроде золотой горячки.

На пороге дома появилась худенькая молодая женщина и позвала мужа ужинать. Взглянув на нее, Харниш подумал, что городская жизнь не годится для нее; потом он заметил нежный румянец на слегка загорелом лице и решил, что жить ей нужно в деревне. От приглашения к ужину он отказался и поехал в Глен Эллен, небрежно развалившись в седле и мурлыча себе под нос забытые песни. Он спустился по неровной, извилистой дороге, которая вела через луговины, дубовые рощи, густую чащу мансанитовых кустов, пересеченную просеками. Харниш жадно вслушивался в крик перепелок, и один раз он засмеялся громко и весело, когда крохотный бурундук, сердито вереща, полез вверх по низенькой насыпи, но не удержался и упал вниз, потом кинулся через дорогу чуть ли не под копытами лошади и, не переставая верещать, вскарабкался на высокий дуб.

В тот день Харниш упорно не желал держаться проторенных дорог; взяв прямиком на Глен Эллен, он наткнулся на ущелье, которое так основательно преградило ему путь, что он рад был смиренно воспользоваться коровьей тропой. Тропа привела его к бревенчатой хижине. Двери и окна были раскрыты настежь, на пороге, окруженная котятами, лежала кошка, но дом казался пустым. Харниш поехал по дорожке, видимо, ведущей к ущелью. На половине спуска он увидел человеческую фигуру, освещенную лучами заката: навстречу ему шел старик с ведерком, полным пенящегося молока. Он был без шляпы, и на его румяном лице, обрамленном белоснежными волосами и такой же белоснежной бородой, лежал мирный отблеск уходящего летнего дня. Харниш подумал, что в жизни своей не видел человеческого лица, которое дышало бы таким безмятежным покоем.

— Сколько тебе лет, дедушка? — спросил он.

— Восемьдесят четыре, — ответил старик. — Да, сударь мой, восемьдесят четыре, а еще покрепче других буду.

— Значит, хорошо заботишься о своем здоровье, — предположил Харниш.

— Это как сказать. Никогда не сидел сложа руки. В пятьдесят первом перебрался сюда с Востока на паре волов. Воевал по дороге с индейцами. А я уже был отцом семерых детей. Мне тогда было столько лет, сколько тебе сейчас, или около того.

— А тебе здесь не скучно одному? Старик перехватил ведерко другой рукой и задумался.

— Как когда, — ответил он с расстановкой. — Думается, я только один раз заскучал, когда старуха моя померла. Есть люди, которым скучно и одиноко там, где много народу. Вот и я такой. Я скучаю только, когда побываю в Сан-Франциско. Но теперь я туда больше не езжу

— спасибо, хватит с меня. Мне и здесь хорошо. Я в этой долине живу с пятьдесят четвертого года — одним из первых поселился здесь после испанцев.

Харниш тронул лошадь и сказал на прощание:

— Спокойной ночи, дедушка. Держись. Ты переплюнул всех молодых, а скольких ты пережил — и не сосчитать.

Старик усмехнулся, а Харниш поехал дальше; на душе у него было удивительно спокойно, он был доволен и собой и всем миром. Казалось, радостное удовлетворение, которое он когда-то испытывал на снежной тропе и стоянках Юкона, снова вернулось к нему. Перед ним неотступно стоял образ старика пионера, поднимающегося по тропинке в лучах заката. Подумать только! Восемьдесят четыре года — и какой молодец! У Харниша мелькнула мысль: не последовать ли примеру старика? Но тут же он вспомнил о своей игре в Сан-Франциско и запретил себе думать об этом.

— Все равно, — решил он, — к старости, когда я выйду из игры, поселюсь в какой-нибудь глуши, вроде этой, и пошлю город ко всем чертям.

Глава девятая

В понедельник Харниш не вернулся в город; вместо этого он еще на один день взял у мясника лошадь и пересек долину, чтобы обследовать брошенную шахту. Здесь местность была суше и каменистей, чем там, где он побывал накануне, а все склоны так густо поросли карликовым дубом, что проехать верхом оказалось невозможно. Но в каньонах было много воды и росли великолепные деревья. Шахта явно была брошена владельцами, и все же он потратил добрых полчаса, чтобы облазить ее со всех сторон. До того, как он отправился на Аляску, ему приходилось разрабатывать залежи кварца, и он радовался тому, что не забыл этой науки. Для него история старой шахты была ясна как на ладони: разведка указала место на склоне горы, где предполагали месторождение золота; прорубили штольню; но месяца через три деньги кончились, старатели ушли искать заработков; потом вернулись, опять принялись за поиски, — золото все манило их, уходя дальше и дальше вглубь; так продолжалось несколько лет, и, наконец потеряв надежду, старатели покинули разработку. Их, наверное, давно нет в живых, подумал Харниш, поворачиваясь в седле, чтобы еще раз взглянуть на груды отвалов и темный вход в шахту по ту сторону ущелья.

Как и накануне, он блуждал по лесу без всякой цели, гнал лошадь по коровьим тропам, взбирался на горные вершины. Наткнувшись на поднимающийся в гору проселок, он проехал по нему несколько миль и очутился в узкой, окруженной горами долине, на крутых склонах были разбиты виноградники, видимо, принадлежащие десятку бедных фермеров. За виноградниками дорога круто подымалась вверх. Густой чапарраль покрывал склоны, а в каждом ущелье росли гигантские пихты, дикий овес и цветы.

Через полчаса он выехал на открытое место, почти у самой вершины. Там и сям, видимо, в зависимости от крутизны и плодородия почвы, раскинулись виноградники. Харниш понял, что здесь шла ожесточенная борьба с природой; судя по многим признакам, перевес был на ее

стороне; Харниш отметил и чапарраль, захватывающий расчищенные места, и засохшие, неподрезанные лозы, и невыполотый сорняк, и ветхие изгороди, тщетно пытающиеся устоять. Дорога, по которой ехал Харниш, вскоре уперлась в фермерский домик, окруженный надворными строениями. За домом тянулись непроходимые заросли.

Увидев во дворе старуху, раскидывающую навоз, Харниш осадил лошадь у забора.

— Добрый день, бабка, — сказал он. — Что же ты сама надрываешься? Или мужчин в доме нет?

Старуха выпрямилась, подтянула юбку и, опираясь на вилы, приветливо посмотрела на Харниша. Он увидел ее руки — по-мужски натруженные, узловатые, загорелые, с широкими суставами; обута она была в грубые мужские башмаки на босу ногу.

— Нету мужчин, — ответила старуха. — Как это ты сюда забрался? Откуда тебя Бог принес? Может, зайдешь, стаканчик вина выпьешь?

Она повела его в просторный сарай, шагая тяжело, но уверенно и твердо, как шагают мужчины, работающие на земле. Харниш разглядел ручной давильный пресс и прочие нехитрые принадлежности виноделия. Старуха объяснила, что везти виноград на заводы, расположенные в долине, слишком далеко, да и дорога плохая. Вот им и приходится самим делать вино. «Им» — это значило самой старухе и ее дочери, сорокалетней вдове. Когда внучек был еще дома, жилось много легче. Но он умер, — уехал на Филиппины воевать с дикарями и погиб там в бою.

Харниш выпил полный стакан превосходного рислинга, поговорил немного со старухой и попросил еще стакан. Да, живется трудно, можно сказать, впроголодь. Земля здесь казенная; они с мужем взяли ее в пятьдесят седьмом, расчистили, обрабатывали вдвоем до самой его смерти. А потом она работала одна. Труда много, а толку мало. Но что будешь делать? Винный трест сбивает цены. Куда идет рислинг? Она сдает его на железную дорогу в долине, по двадцать два цента за галлон. А везти-то как далеко! Туда и обратно — целый день уходит. Вот нынче дочь поехала.

Харниш знал, что в ресторанах за рислинг похуже этого дерут по полтора-два доллара за кварту; а старухе платят двадцать два цента за галлон. В этом и состоит игра. Старуха принадлежит к разряду глупых, обездоленных, как до нее принадлежали ее отцы и деды; это они трудятся, они гонят воловьи упряжки через прерии, расчищают земли, поднимают целину, работают деньденьской не покладая рук, платят налоги, провожают своих сыновей и внуков на войну — умирать за отечество, которое так трогательно заботится о них, что им предоставляется право сбывать свое вино по двадцать два цента за галлон. А это же вино подают ему в гостинице св. Франциска по два доллара за кварту — то есть восемь долларов за галлон. Вот то-то оно и есть.

Между ценой на вино, которое делает эта старуха в горах, возясь со своим ручным прессом, и ценой, которую он платит за вино в гостинице,

— разница в семь долларов и семьдесят восемь центов. Эта разница приходится на долю лощеных городских бандитов, затесавшихся между ним и старухой. А есть еще целая орда грабителей, и каждый старается урвать себе кусок пожирнее. Называется это — железнодорожный транспорт, финансовая политика, банковское дело, оптовая торговля, недвижимость, и прочее, и прочее. Но, как ни называй, орда свое получает, а старухе достаются объедки — двадцать два цента. «Ну что ж,

— со вздохом подумал Харниш, — дураки родятся каждую минуту, и некого тут винить: игра

есть игра, не могут же все выигрывать; но только дуракам от этого не легче».

— Сколько же тебе лет, бабка? — спросил он.

— Да в январе семьдесят девять сравняется.

— Небось, всю жизнь работала?

— С семи лет. Жила в людях в штате Мичиган, пока не выросла. Потом вышла замуж. И работы все прибавлялось и прибавлялось.

— А когда же отдыхать будешь? Старуха посмотрела на него, но ничего не ответила, решив, очевидно, что это просто шутка.

— В Бога веруешь? Она утвердительно кивнула.

— Тогда все тебе воздается, — сказал он; но в глубине души он не возлагал больших надежд на Бога, который допускает, чтобы каждую минуту рождались дураки, и терпит шулерскую игру, затеянную для их ограбления — от колыбели до могилы.

— Много у тебя этого рислинга? Старуха глазами пересчитала бочонки с вином:

— Чуть поменьше восьмисот галлонов.

Харниш подумал, что такую партию ему девать некуда. А может быть, удастся сбыть кому-нибудь?

— Что бы ты сделала, ежели бы я взял у тебя все по доллару за галлон?

— Померла бы на месте.

— Да я не шучу.

— Зубы вставила бы, крышу починила да новый фургон завела. Наш-то совсем развалился, больно дорога плохая.

— А еще что?

— Гроб заказала бы.

— Ну что ж, бабка, все твое будет — и гроб и что захочешь.

Она с удивлением глянула на него.

— Верно, верно. Вот тебе пятьдесят долларов задатку. Расписки можешь не давать. Это только с богатыми надо держать ухо востро, а то они, знаешь, какие забывчивые — страсть! Вот тебе мой адрес. Рислинг сдашь на железной дороге. А теперь покажи мне, как отсюда выбраться. Хочу влезть на самую вершину.

Харниш не спеша поднялся в гору, то продираясь сквозь заросли, то пользуясь едва заметными коровьими тропами. С вершины открывался широкий вид — в одну сторону на долину Напа, в другую — до самой горы Сонома.

— Красота-то какая! — прошептал он. — Ох, красота!

Чтобы не возвращаться той же дорогой в долину Сонома, он объехал вершину кругом и осторожно спустился под гору. Но коровьи тропы постепенно исчезали, а заросли, словно назло, пошли все гуще и гуще, и даже если ему удавалось продраться сквозь чапарраль, он натыкался на ущелья или расселины с такими крутыми стенами, что лошадь не могла взять их, и приходилось поворачивать обратно. Но Харниш не только не сердился — напротив, такое путешествие радовало его: он снова, как бывало, один на один сражался с природой. Под вечер он добился своего

— выехал на тропу, которая шла вдоль безводного ущелья. Здесь его ждала еще одна радость: уже несколько минут, как он слышал собачий лай, и вдруг на голом склоне горы, над его головой, показался спасающийся от погони крупный олень, а немного позади мчалась великолепная шотландская борзая. Харниш придержал лошадь и, затаив дыхание, жадно следил за животными, пока они не скрылись из виду; ноздри его раздувались, словно он сам бежал по следу, и он опять, как в былые дни, когда еще не знал городской жизни, всем своим существом отдался во власть охотничьего инстинкта.

Безводное ущелье сменилось другим, где узенькой лентой струился ручеек. Тропа вывела Харниша на лесную дорогу и дальше, через полянку, на полузаросший проселок. Кругом не виднелось ни полей, ни человеческого жилья. Почва была скудная, каменистая, кое-где камень выходил на поверхность, но карликовый дуб и мансанита буйно разрослись здесь и плотной стеной стояли по обе стороны дороги. И вдруг из пролета в этой живой изгороди, словно заяц, выскочил маленький человечек.

Он был без шляпы, в заплатанном комбинезоне и расстегнутой до пояса ситцевой рубахе. Лицо его покрывал красновато-коричневый загар, а русые волосы так сильно выгорели на солнце, что казались выкрашенными перекисью. Он знаком попросил Харниша остановиться и протянул ему конверт.

— Если вы едете в город, будьте добры, отправьте письмо, — сказал он.

— Пожалуйста. — Харниш положил письмо в карман. — Вы здесь живете?

Но человечек не ответил; он пристально, с удивлением разглядывал Харниша.

— А я вас знаю, — вдруг объявил он. — Вы Элам Харниш, Время-не-ждет, как вас называют в газетах. Правильно?

Харниш кивнул.

— Но как это вы попали сюда, в этакую глушь? Харниш усмехнулся:

— Рекламирую бесплатную доставку товаров на дом.

— Вот хорошо, что я сегодня написал письмо, а то бы я вас не встретил. Я много раз видел ваш портрет в газетах. У меня хорошая память на лица, сразу вас узнал. Моя фамилия Фергюсон.

— Вы здесь живете? — снова спросил Харниш.

— Да. У меня тут домик в зарослях, в ста ярдах отсюда, и родничок, и немного фруктовых деревьев и ягодных кустов. Зайдите посмотреть. А родничок мой — просто прелесть! Ручаюсь, что такой воды вы никогда еще не пили. Пойдемте, я вас угощу.

Харниш спешился и, взяв лошадь под уздцы, последовал за маленьким человечком, который

проворно шел впереди по зеленому туннелю. Внезапно заросли кончились И открылся обработанный участок, если можно так назвать клочок земли, где дикая природа слилась воедино с делом рук человеческих. Этот укромный уголок в горах был надежно защищен от внешнего мира крутыми склонами ущелья. Могучие дубы свидетельствовали о плодородии почвы; видимо, вследствие многовековой эрозии окрестных склонов, здесь постепенно образовался слой жирного чернозема. Под дубами, наполовину скрытый густой листвой, стоял бревенчатый некрашеный домик; просторная веранда с гамаками и креслами служила, по всей вероятности, спальней. Ничто не укрылось от зорких глаз Харниша. Он заметил, что огород и сад разбиты не ровными квадратами, а в зависимости от почвы и что к каждому фруктовому дереву, к каждому ягодному кусту и даже к каждому овощу подведена вода. Повсюду тянулись крохотные оросительные канавки, по некоторым и сейчас бежали струйки воды.

Фергюсон нетерпеливо поглядывал на своего гостя, ища на его лице знаки одобрения.

— Ну, что вы скажете?

— Так только с детьми нянчатся, — засмеялся Харниш, но по глазам его видно было, что все ему очень нравится, и маленький человечек остался доволен.

— Верно. Я здесь каждое деревце знаю, как будто это мои сыновья. Сам их сажал, выхаживал, кормил, поил — и вот вырастил. Пойдемте, я покажу вам родничок.

— Хорош, ничего не скажешь, — объявил Харниш, полюбовавшись родничком и напившись из него.

Хозяин и гость вошли в дом. Внутреннее убранство его удивило Харниша. Так как кухня помещалась в пристройке, то весь домик представлял собой один просторный кабинет. В середине комнаты стоял большой стол, заваленный книгами и журналами. Вдоль стен, от пола до потолка, тянулись полки с книгами. Харниш подумал, что еще никогда не видел, чтобы такое множество книг было собрано в одном месте. На дощатом сосновом полу лежали рысьи, енотовые и оленьи шкуры.

— Сам стрелял, сам и дубил, — с гордостью сказал Фергюсон.

Но самым лучшим украшением комнаты был огромный камин из нетесаных камней и валунов.

— Сам сложил, — похвалился Фергюсон. — И как здорово тянет! Ни капельки не дымит, даже когда ветер с юго-востока.

Харнишу все больше и больше нравился маленький человечек; к тому же его разбирало любопытство: почему он прячется здесь, среди чапарраля, со своими книгами? Человек он неглупый, это сразу видно. Так почему? Харнишу очень хотелось узнать, в чем тут дело, и он принял приглашение остаться к ужину; при этом он почти не сомневался, что хозяин его ест одни орехи и овощи в сыром виде или придерживается еще какойнибудь сумасбродной теории питания. За ужином, уплетая плов из зайца (подстреленного Фергюсоном), Харниш заговорил об этом, и оказалось, что Фергюсон не признает никаких теорий: ест все, что ему хочется и сколько хочется, избегая только таких блюд, которые на основании личного опыта он считает вредными для своего желудка.

Тогда Харниш предположил, что, быть может, его хозяин одержим религиозным фанатизмом; но на протяжении длительной беседы, коснувшейся самых разнообразных предметов, Харниш не обнаружил в Фергюсоне никаких признаков одержимости. Поэтому, когда они, вдвоем вымыв и убрав посуду, уселись поудобнее и закурили, Харнишу ничего не оставалось, как

задать вопрос в лоб:

— Послушайте, Фергюсон. С той минуты, как мы с вами познакомились, я все стараюсь нащупать, где у вас винтик не в порядке, на чем вы свихнулись, но ни черта не могу найти. Что вы тут делаете? Почему поселились здесь? Кем вы были раньше, чем занимались? Расскажите, кто вы такой.

Фергюсон с явным удовольствием слушал Харниша.

— Началось с того, — заговорил он, — что врачи отказались от меня. Они заявили, что жить мне осталось в лучшем случае полгода; и заметьте

— это после того, как я лечился в наших санаториях, ездил лечиться в Европу и на Гавайи. Меня лечили и электричеством, и усиленным питанием, и голодом. Не было процедуры, которой врачи не испробовали бы на мне. Я разорялся на них, а здоровье мое все ухудшалось. Болезнь моя имела две причины: — во-первых, я родился слабосильным, вовторых, я вел ненормальный образ жизни — слишком много работал, к тому же работа была ответственная и напряженная. Я занимал должность заведующего редакцией «Таймс-Трибюн»…

Харниш мысленно ахнул: «Таймс-Трибюн» уже много лет считалась самой крупной и влиятельной газетой Сан-Франциско.

— … и такая работа оказалась мне не под силу. Организм не выдержал, и в первую очередь сдали нервы. Мне приходилось подхлестывать себя виски, а это еще пуще расшатывало нервы, да вдобавок еда в клубах и ресторанах… Болезнь моя заключалась в том, что я жил не так, как нужно.

Фергюсон пожал плечами и запыхтел трубкой.

— Так вот, врачи отказались от меня, а я отказался от них — и ушел на покой. Это было пятнадцать лет тому назад. Еще студентом я приезжал в эти края на каникулы — охотиться. И как стало мне совсем худо, меня опять потянуло на лоно природы. Я все бросил, решительно все, и поселился здесь, в долине Сонома, — на языке индейцев это значит Лунная долина. Первый год я прожил в сарайчике, потом выстроил дом и перевез сюда свои книги. Раньше я и понятия не имел, что такое счастье, здоровье. А теперь — посмотрите на меня и посмейте сказать, что мне сорок семь лет.

— Больше сорока вам никак нельзя дать, — искренне сказал Харниш.

— А пятнадцать лет тому назад я выглядел шестидесятилетним стариком.

Беседа продолжалась, и Харниш начал понимать, что на жизнь можно смотреть совсем иначе, чем он смотрел на нее до сих пор. Вот перед ним человек, не озлобленный и не разочарованный, который смеется над горожанами и считает, что они сумасшедшие; он не гонится за деньгами, и жажда власти давно умерла в нем. О дружественных чувствах горожан он высказывался весьма недвусмысленно:

— Что они сделали, все друзья-приятели, с которыми я бог знает сколько лет встречался в клубах? Ведь, бывало, нас водой не разольешь. Я никому из них не был должен, и когда я уехал, хоть бы один строчку прислал, спросил бы: ну, как ты там, не нужно ли тебе чего? С месяц они друг друга спрашивали: «Куда это Фергюсон девался?» Потом забыли и вспоминать не стали. А ведь они отлично знали, что никаких доходов, кроме жалованья, у меня не было и что я всегда забирал деньги вперед.

— А как же вы сейчас живете? Вам ведь нужны наличные деньги на одежду, на журналы…

— Я немного работаю — когда недельку, когда месяц. Весной пашу, осенью виноград снимаю, а летом всегда находится дело у фермеров. Мне не много нужно, поэтому и работаю я немного. А вообще я больше копаюсь на своем участке. Я мог бы кое-что писать для журналов и газет, но я предпочитаю пахать землю и собирать виноград. Поглядите на меня, и вы поймете, почему. Я стал твердым, как кремень. И мне нравится такая работа. Но скажу вам прямо, к ней надо привыкнуть. Хорошо, если можешь целый божий день собирать виноград и вечером, возвращаясь домой, не валиться с ног от усталости, а чувствовать только приятное утомление. Вот этот камин… Я тогда был кисляй, малокровный, расслабленный алкоголик, не храбрее и не сильнее кролика. Я и сейчас удивляюсь, как у меня не было разрыва сердца и спина не сломалась, когда я таскал эти глыбы. Но я выдержал, — я заставил свое тело работать так, как ему предназначено природой, вместо того чтобы сидеть, согнувшись, за письменным столом и накачиваться виски… Ну, и вот вам результат: я поздоровел, а камин вышел на славу. Верно?

А теперь расскажите мне про Клондайк и как вы перевернули вверх дном Сан-Франциско своим последним набегом на биржу. Вы вояка хоть куда, и даже нравитесь мне, хотя, трезво рассуждая, вы такой же сумасшедший, как все. Жажда власти! Это страшная болезнь. Почему вы не остались на Клондайке? А почему бы вам не плюнуть на все и не жить естественной жизнью, как я, например? Видите, я тоже умею задавать вопросы. Теперь вы рассказывайте, а я буду слушать.

Только в десять часов вечера Харниш распрощался с Фергюсоном. Он ехал верхом под звездным небом и спрашивал себя: не купить ли ему ранчо на противоположном склоне долины? Он и не помышлял о том, чтобы там поселиться, — азарт приковывал его к СанФранциско. Но ранчо ему понравилось, и он решил, как только приедет в контору, начать с Хиллардом переговоры о покупке. Кстати, и глинище, откуда возят глину на кирпичный завод, перейдет в его владение, и это поможет ему держать в руках Голдсуорти, если тот вздумает выкинуть какой-нибудь фортель.

Глава десятая

Время шло, Харниш по-прежнему был занят своей игрой. Но игра вступила в новую фазу. Жажда власти ради азарта и выигрыша превратилась в жажду власти ради мщения. В Сан-Франциско насчитывалось немало людей, против которых Харниш затаил злобу, и время от времени, обрушив на одного из них молниеносный удар, он вычеркивал чье-нибудь имя в списке своих врагов. Он сам пощады не просил — и никому не давал пощады. Харниша боялись и ненавидели и никто не любил, кроме Ларри Хигана, его поверенного, который с радостью отдал бы за него жизнь. Это был единственный человек, с которым Харниша связывала искренняя дружба, хотя он оставался в приятельских отношениях с грубыми и откровенно беспринципными людьми, состоявшими при политических боссах клуба Риверсайд.

С другой стороны, и отношение Сан-Франциско к Харнишу изменилось. Его разбойничьи набеги попрежнему представляли опасность для более осмотрительных финансовых воротил, но именно поэтому они предпочитали не трогать его. Он успел внушить им, что неразумно будить спящего зверя. Многие из тех, кто знал, что им грозит тяжелая медвежья лапа, протянувшаяся за медовыми сотами, даже пытались умилостивить Харниша, искали его дружбы. Старшины клуба АлтаПасифик негласно предложили ему снова принять его в члены, но он отказался наотрез. Многие члены клуба еще числились в списке его врагов, и как только представлялся случай, он выхватывал очередную жертву. Даже газеты, кроме двух-трех, пытавшихся шантажировать его, прекратили травлю и писали о нем в уважительном тоне. Словом, на него теперь смотрели, как на медведя-гризли, свирепого обитателя северных лесов,

которого лучше обойти стороной, если столкнешься с ним на тропе. Когда Харниш штурмовал пароходные компании, вся свора тявкала на него, хватала за ноги, но он повернулся лицом к ним и в ожесточеннейшей схватке, какой еще не видывал СанФранциско, больно отстегал их бичом. Всем еще памятна была забастовка Союза моряков и приход к власти в городском самоуправлении профсоюзных лидеров и взяточников из их свиты. Самоубийство Клинкнера и крах Калифорнийско-Алтамонтского треста были первым предупреждением; но враги Харниша не сразу угомонились; они твердо надеялись на свое численное превосходство, однако он доказал — им, что они ошибаются.

Харниш по-прежнему пускался в рискованные предприятия, — так, например, перед самым началом русскояпонской войны он под носом у многоопытных и могущественных спекулянтов морским транспортом стремительным наскоком добился чуть ли не монополии на фрахтовку судов. Можно сказать, что на всех морях не оставалось ни одной разбитой посудины, которая не была бы зафрахтована Харнишем. Своим конкурентам он, по обыкновению, заявлял: «Приходите ко мне, потолкуем». И они приходили и, — как он выражался, — выворачивали карманы. Но теперь все его финансовые операции, все стычки с соперниками имели лишь одну цель, тайна которой была известна только Хигану: когда-нибудь, когда у него наберется достаточный капитал, он еще раз поедет в Нью-Йорк и вышибет дух из Даусета, Леттона и Гугенхаммера. Он покажет этим господам, что лучше не шутить с огнем — можно больно обжечься. Но головы он не терял и прекрасно отдавал себе отчет, что ему еще рано тягаться со своими давними врагами. А пока что их имена, в ожидании возмездия, возглавляли список его будущих жертв.

Дид Мэсон по-прежнему работала в конторе Харниша. Он больше не делал попыток сблизиться с ней, не разговаривал о книгах, не спорил о грамматических правилах. Он почти перестал интересоваться ею и смотрел на нее лишь как на приятное напоминание о том, чему не суждено было сбыться, ибо таким уж создала его природа, и есть в жизни радости, которые ему не дано познать. Но хоть он уже почти не думал о ней и всю его энергию поглощали бесконечные финансовые битвы, он до тонкости изучил переливчатую игру света в ее волосах, малейшие движения и жесты, все линии ее фигуры, подчеркнутые отлично сшитым английским костюмом. Несколько раз, с промежутками в полгода, он повышал ей жалованье, и теперь она получала девяносто долларов в месяц. Дальше этого он не решался идти, но придумал обходный маневр: облегчил ей работу. Когда она вернулась из отпуска, он просто-напросто оставил заменявшую ее стенографистку в качестве помощницы. Кроме того, он снял новое помещение для конторы и предоставил обеим девушкам отдельную комнату.

Любуясь Дид Мэсон, Харниш даже научился понимать женскую красоту и изящество. Он давно уже заметил ее горделивую осанку. Эта ее горделивость отнюдь не бросалась в глаза, но тем не менее чувствовалась очень явственно. Видимо, решил Харниш, она считает, что имеет право гордиться своей наружностью, своим телом и заботиться о нем, как о красивой и ценной вещи. Сравнивая Дид Мэсон с ее помощницей, со стенографистками, которых он видел в других конторах, с женщинами, которых встречал на улице, он невольно восхищался ее манерой держаться, умением носить платье. «Ничего не скажешь, — рассуждал он сам с собой, — одевается она хорошо, и у нее как-то так получается, будто она и не думает о том, что на ней надето».

Чем больше он к ней приглядывался, чем больше, как ему казалось, он узнавал ее, тем сильнее чувствовал, что она для него недосягаема. Но это мало огорчало его, потому что он и не пытался поближе сойтись с ней. Ему было приятно, что она работает в его конторе, он надеялся, что она никуда от него не уйдет, — и только. Харниш с годами все больше опускался. Городская жизнь явно не пошла ему на пользу. Он заметно толстел, мышцы стали дряблые, весь он как-то обрюзг. Коктейлей, которыми он глушил свое сознание, чтобы хоть на время

выкинуть из головы финансовые расчеты, требовалось все больше и больше. А кроме коктейлей — вино За обедом и ужином, виски с содовой, стакан за стаканом, в клубе Риверсайд. Вдобавок на нем вредно отзывался сидячий образ жизни, а общение с окружающими его людьми не способствовало и душевному здоровью. Харниш не любил скрывать свои поступки, и поэтому многие его похождения получили огласку; газеты в сатирических тонах описывали, как большой красный автомобиль Харниша на бешеной скорости несется в Сан-Хосе, а в машине — сильно подвипившая компания.

В жизни Харниша не было ничего, в чем он мог бы найти спасение. Религия так и не коснулась его. О ней он говорил кратко: «Религия умерла». Судьбы человечества не занимали его. Он придерживался своей собственной примитивной теории, что все на свете — азартная игра. Бог — это нечто неощутимое, своенравное, взбалмошное, именуемое Счастьем. Риск начинается с самого появления на свет: кем суждено родиться — дураком или грабителем? Карты сдает Счастье, и невинные младенцы изберут в руки сданные им карты. Возмущаться, жаловаться бесполезно. Вот твои карты, и хочешь не хочешь, а играй, — все равно, горбат ты или строен, урод или красавец, кретин или умница. Тщетно искать справедливости. Большинство играющих попадает в разряд дураков; немногие, благодаря хорошей карте, становятся грабителями. Розыгрыш карт — это и есть жизнь. Скопище игроков — общество. Карточный стол — земля. Ставка — земные блага, от куска хлеба до больших красных автомобилей. А в конечном счете и счастливых игроков и несчастливых ждет одно — смерть и забвение.

Тяжело, конечно, глупым и обездоленным — их проигрыш заранее предрешен. Но чем лучше он узнавал других, тех, кто казался в выигрыше, тем чаще его брало сомнение: так ли уж велик их выигрыш? Ведь они тоже обречены на смерть и забвение, а жизнь их немногого стоит. Это грызня диких зверей между собой: сильные топчут слабых, а сильные, — как он убедился на примере Даусета, Леттона и Гугенхаммера,

— отнюдь не наилучшее. Он вспоминал своих скромных товарищей по Арктике. Они-то и были глупые и обездоленные — те, кто трудится в поте лица и у кого отнимают плоды его труда, как у той старухи, которая делает вино в горах Сонома; а ведь они куда правдивее, честнее, благороднее, чем люди, которые грабят их. Выходит так, что выигрывают-то как раз жулики, предатели, мерзавцы. Но даже и они не хозяева своей судьбы, они только играют картами, которые им достались. Счастье — жестокое, безумное чудовище, держатель вселенского притона,

— усмехаясь, тасует карты. Это оно подбирает крапленую колоду для шулерской игры жизни.

Здесь нет места справедливости. Беспомощных, слабых младенцев даже не спрашивают, хотят ли они участвовать в игре. Им не оставляют выбора. Счастье бросает их в жизнь, припирает к карточному столу и говорит: «Играйте, черт вас возьми, играйте!» И они, бедняги, стараются вовсю. Для одних игра кончается моторными яхтами и особняками, для других — богадельней или койкой в больнице для неимущих. Одни снова и снова ходят с той же карты и до конца дней своих делают вино в безлюдных зарослях, надеясь сколотить денег на вставную челюсть и на гроб. Другие рано выходят из игры, потому что доставшиеся им карты привели к самоубийству, к голодной смерти в лесах Севера, к длительному, тяжелому недугу. Кое-кому карты приносят королевский сан, неограниченную и незаслуженную власть; иным они сулят высокие чины, несметное богатство, другим — позор и поношение, третьим

— вино и женщин.

Что до него, то ему повезло, он вытянул хорошую карту. Правда, еще неизвестно, чем это кончится. Вдруг что-нибудь или что-нибудь испортит ему игру. Счастье, сумасшедший бог,

может быть, нарочно заманивает его, роковое стечение обстоятельств — и через месяц шайка грабителей будет отплясывать воинственный танец на развалинах его финансовой империи. Сегодня же он может попасть под трамвай или с какого-нибудь здания и свалится вывеска и размозжит ему голову. А вечно подстерегающие нас болезни — одна из самых коварных прихотей Счастья? Кто знает? Микроб трупного яда или один из тысяч других микробов нападет на него и погубит. Вот доктор Баском, Ли Баском, который только на прошлой неделе стоял рядом с ним, болтал, смеялся, — воплощение молодости, здоровья, жизненной силы, — и вот в три дня его скрутило: воспаление легких, ревматизм сердца и невесть что еще. И как он мучился перед смертью! Крики его были слышны за целый квартал. Ужасно! Харниш и сейчас не мог вспомнить об этом без дрожи. Когда придет его черед? Кто знает! Что ж, покамест остается только разыгрывать карты, которые у него на руках, карт этих три: драка, месть и коктейли. А Счастье смотрит на его игру и скалит зубы.

Глава одиннадцатая

Однажды, под вечер воскресного дня, Харниш очутился за Оклендом, в Пиедмонтских горах. По обыкновению он ехал в большом автомобиле; но на этот раз машина принадлежала не ему, а Бешеному Чарли, баловню судьбы, который приехал в Штаты прокутить остатки седьмого состояния, добытого из недр промерзшей арктической почвы. Мотать деньги он умел, как никто, и его последнее, седьмое, состояние уже постигла участь шести предыдущих. Это он. Бешеный Чарли, в год основания Доусона извел море шампанского по пятидесяти долларов за бутылку; это он, когда в его мешочке с золотом уже видно было дно, скупил все имевшиеся в продаже яйца — сто десять дюжин, по двадцать четыре доллара за дюжину, — в пику своей вероломной возлюбленной; и он же заказывал для себя экстренные поезда и, щедро оплачивая дополнительную скорость, побивал все рекорды на дистанции между Сан-Франциско и Нью-Йорком. И вот он снова явился — «черт везучий», как называл его Харниш, — и с тем же безрассудством, что и встарь, сорил деньгами.

Компания в машине подобралась дружная, и они очень весело провели день, катаясь вдоль побережья от Сан-Франциско через Сан-Хосе до Окленда; два раза их уже задерживали за превышение дозволенной скорости, а когда это случилось в третий раз, близ Хэйуордса, они увезли констебля с собой в машине. Опасаясь, что полиция передала по телефону приказ задержать их, они, свернув с шоссе, поехали в Окленд кружным путем и, хохоча во все горло, обсуждали между собой: куда же девать злополучного блюстителя порядка?

— Через десять минут мы выедем к БлэрПарку, — сказал один из гостей Чарли. — Вон, гляди, Бешеный, — видишь, дорога идет наперерез? Там, правда, много ворот, но она приведет нас задами в Беркли. Оттуда мы можем вернуться в Окленд с другой стороны, переправиться пароходом, а машину шофер ночью пригонит обратно.

Но Чарли не видел никаких причин, почему ему нельзя въехать в Окленд через Блэр-Парк, и машина помчалась прямо вперед. В следующую минуту за поворотом показалась дорога, на которую Чарли не пожелал сворачивать. Молодая женщина, верхом на гнедой лошади, наклонившись с седла, закрывала за собой ворота, Харнишу почудилось что-то знакомое в облике всадницы. Еще через минуту она выпрямилась, подняла лошадь в галоп и ускакала. Харнишу видна была только ее спина, но по движению, каким она выпрямилась в седле он тотчас узнал Дид Мэсон и вспомнил слова Моррисона о том, что она держит верховую лошадь. Как хорошо, что Дид Мэсон не видела его в этой бесшабашной компании, было первой мыслью Харниша; но Чарли вскочил на ноги и, держась одной рукой за спинку переднего сиденья, другой стал усиленно размахивать, пытаясь привлечь внимание молодой женщины. Он уже вытянул губы для хорошо знакомого Харнишу пронзительного свиста, которым Бешеный издавна славился, однако Харниш, толкнув его под колено и энергично двинув плечом,

водворил ошеломленного Чарли на место.

— Т-ты… т-ты знаешь эту даму? — заикаясь, проговорил Чарли.

— Знаю, — ответил Харниш. — И, пожалуйста, не шуми.

— Ну что ж, поздравляю. Она просто милашка. А верхом-то как ездит!

Высокие деревья заслонили всадницу, и Чарли опять с увлечением занялся вопросом, что делать с констеблем, а Харниш, откинувшись на спинку сиденья и закрыв глаза, все еще видел Дид Мэсон скачущей по проселочной дороге. Чарли сказал правду: ездить она, бесспорно, умеет. В мужском седле, а посадка безупречная. Умница Дид! Это хорошо, что у нее хватает смелости ездить верхом — единственно разумным и естественным способом. Голова у нее крепко сидит на плечах, ничего не скажешь.

В понедельник утром, когда она пришла стенографировать письма, он ничем себя не выдал, только посмотрел на нее с особенным вниманием, и привычное, обыденное занятие началось и закончилось самым обыденным образом. Но в ближайшее воскресенье он переправился через бухту и поехал верхом в Пиедмонтские горы. Он проездил целый день, но Дид Мэсон нигде не повстречалась ему, даже на дороге со многими воротами, которая вела в Беркли. Здесь он объездил все улицы и переулки, гадая, где живет Дид Мэсон. Когда-то Моррисон сказал ему, что она живет в Беркли, и в прошлое воскресенье под вечер она поскакала в ту сторону — видимо, возвращалась домой.

День оказался неудачным — Дид Мэсон он так и не нашел, однако, с другой стороны, он провел его не без пользы для себя: так приятно было дышать свежим воздухом, катаясь верхом, что в понедельник все барышники получили от него распоряжение достать самую лучшую гнедую лошадь, какую можно купить за деньги. Всю неделю он осматривал гнедых лошадей, некоторых даже испытывал, но остался недоволен. Лишь в субботу он наконец увидел Боба. Харниш только взглянул на него и сразу понял, что именно этот конь ему нужен. Боб был несколько крупноват для верховой лошади, но для такого рослого наездника, как Харниш, — в самый раз. Конь был ухоженный, его великолепная шерсть огнем горела на солнце, изогнутая шея сверкала, словно алмазная.

— Хорош! — сказал Харниш.

Однако барышник счел долгом предостеречь его.

Хозяин лошади, поручивший барышнику ее продать, настаивал, чтобы покупатель был поставлен в известность о своенравии Боба. Барышник так и сделал.

— Я бы не сказал, что он очень злой, а все-таки с ним надо держать ухо востро. Коварства в нем нет, зато с причудами и фокусами. Того и гляди искалечит тебя — просто из озорства, понимаете, без злого умысла. Я лично не стал бы ездить на нем. А вообще говоря, он хорош по всем статям. Посмотрите на грудную клетку, на ноги. Никаких изъянов. Ни работы, ни хлыста не знает. Никто еще не сумел с ним справиться. Он вырос в гористой местности, бездорожья не боится, по горам прыгает, как коза, если только не начнет дурить. Не пуглив, не шарахается, но иногда притворяется, что испугался. Задом не бьет, зато на дыбы становится. Без мартингала с ним не обойдетесь. У него скверная привычка — ни с того ни с сего поворачивать обратно, чтобы подразнить седока. Все зависит от его настроения. Бывает, что двадцать миль пройдет тихо и мирно, а на другой день и сесть не даст; просто сладу с ним нет. К автомобилям так привык, что может разлечься рядом и уснуть или сено жевать из кузова. Штук девятнадцать пропустит и глазом не моргнет, а на двадцатом вдруг понесет, точно индейская

лошадка, не нюхавшая города. Одним словом, для джентльменской езды слишком проказлив и беспокоен. Хозяин прозвал его Иудой Искариотом и отказывается продавать, не предупредив покупателя, что это за фрукт. Ну вот, я все вам сказал, что знаю о нем. А теперь обратите внимание на гриву и хвост. Видели вы что-нибудь подобное? Волос тонкий, все равно как у младенца.

Барышник был прав. Харниш пощупал гриву коня и убедился, что такого тонкого, шелковистого волоса он не видел ни у одной лошади, и цвет необыкновенный — почти каштановый. Когда Харниш запустил в гриву пальцы. Боб повернул голову и игриво ткнулся мордой ему в плечо.

— Оседлайте, я проедусь немного, — сказал он барышнику. — Не знаю, как он относится к шпорам. Только не английское седло, дайте хорошее мексиканское, и мундштук помягче, раз он любит становиться на дыбы.

Харниш сам помогал седлать Боба: застегнул мундштук, выровнял стремена, подтянул подпругу. Он неодобрительно покачал головой на мартингал, но все же послушался совета барышника и разрешил надеть. И вот, в наилучшем расположении духа, стоял смирно и только слегка приплясывал. Во время часовой проездки он тоже вел себя образцово, если не считать вполне позволительных курбетов и скачков. Харниш был в восхищении. Покупка состоялась немедля, и Боба вместе с седлом и прочим снаряжением переправили через бухту и водворили на жительство в конюшнях Оклендской школы верховой езды.

На другой день, в воскресенье, Харниш поднялся спозаранку и поехал в Окленд, захватив с собой Волка, головную лайку своей бывшей упряжки; это была единственная собака, которую он вывез с Аляски. Сколько он ни рыскал по Пиедмонтским горам, сколько ни скакал по дороге со многими воротами, ведущей в Беркли, — нигде он не увидел ни Дид Мэсон, ни ее гнедой лошади. Но ему некогда было огорчаться этим — его собственный гнедой конь требовал слишком много внимания. Боб упорно не желал слушаться, пускался на всевозможные выходки и к концу дня измучил своего седока и сам замучился. Харнишу потребовалось все его знание лошадей и умение обращаться с ними. А Боб, со своей стороны, показал все свои фокусы до единого. Обнаружив, что мундштук затянут слабее обычного, он взвился на дыбы и зашагал на задних ногах. Целых десять минут Харниш тщетно пытался переупрямить Боба; тогда он спешился и подтянул мундштук, после чего Боб в течение получаса проявлял ангельскую кротость. На этом Харниш и попался. Решив, что Боб окончательно усмирен, он поехал шагом, развалясь в седле, отпустив шенкеля, и стал скручивать папиросу; поводья свободно лежали на шее лошади. Но Боб внезапно, с молниеносной быстротой, повернул вспять на задних ногах, чуть приподняв передние, Харниш потерял правое стремя и обеими руками схватился за шею лошади; Боб не преминул воспользоваться этим и поскакал галопом. От души надеясь, что Дид Мэсон не встретится ему в эту минуту, Харниш кое-как выправился, остановил лошадь и вернулся на прежнее место. Здесь Боб опять проделал свой фокус. На этот раз Харниш усидел, но и только; правда, он успел натянуть поводья, однако это не помогло. Он уже заметил, что Боб поворачивает направо, и решил дать ему шпору слева, но Боб поворачивал так внезапно и мгновенно, что Харниш не успевал и оглянуться.

— Знаешь, Боб, — сказал Харниш, вытирая пот со лба, — должен сознаться, другого такого живчика, как ты, не скоро сыщешь. Ну что ж, так я буду щекотать тебя шпорой, не отнимая… Ах, дрянь ты этакая!

Не успел Харниш дотронуться шпорой до жеребца, как тот поднял левую заднюю ногу и сильно ударил по левому стремени. Харниш, любопытства ради, несколько раз давал шпору, и каждый раз Боб отвечал пинками по стремени. Тогда Харниш решил, в свою очередь, ошеломить Боба

внезапностью нападения — вонзил ему в бока обе шпоры и вытянул хлыстом по брюху.

— Никто тебя еще не учил по-настоящему, — пробормотал он, когда Боб, сообразив, что нашла коса на камень, перестал артачиться и поскакал вперед.

Еще раз десять Харниш пускал в ход шпоры и хлыст и только после этого решил насладиться бешеным галопом своего резвого скакуна. Проскакав с полмили. Боб, не чувствуя больше ни шпор, ни хлыста, чуть сбавил аллюр. Отставший было Волк уже догонял их, и все, казалось, шло как по маслу.

— Ты у меня скоро забудешь, как поворачивать обратно, — сказал Харниш; и в ту же секунду Боб повернул.

Он вдруг затормозил на всем скаку, упершись в землю передними ногами. Харниш припал к его шее, обхватив ее обеими руками, а Боб немедленно встал на дыбы и повернул обратно. Только первоклассный ездок мог усидеть в седле при таком маневре, и Харниш едва не свалился с лошади. Когда он выправился. Боб уже мчался во весь опор, и Волк шарахался в кусты от его копыт.

— Ну ладно, погоди малость! — проворчал Харниш, снова и снова вонзая шпоры и работая хлыстом. — Хочешь дурить? Посмотрим, кому раньше надоест.

Немного погодя Боб попытался перейти на легкий галоп, но Харниш продолжал подгонять его. Наконец Харниш решил, что с Боба хватит, круто повернул его и пустил рысью, потом остановил, чтобы проверить, как он дышит. Боб, с минуту постояв смирно, повернул голову и ткнулся мордой в стремя, всем своим видом показывая, что довольно, мол, прохлаждаться, пора двигаться дальше.

— Ах, черт тебя возьми совсем! — восхитился Харниш. — Ни злобы, ни обиды, хоть бы что! А ведь досталось тебе на орехи. Да ты просто золото, а не конь!

И опять Боб обманул бдительность своего седока. Целый час он вел себя примерно, а потом, так же внезапно, как всегда, повернул и поскакал обратно. Харниш снова при помощи шпор и хлыста прогнал его галопом несколько миль, прежде чем повернуть. Но тут Бобу пришла новая фантазия: он начал пугаться деревьев, коров, кустарника. Волка, собственной тени — словом, любого пустяка. Каждый раз, как Боб шарахался в сторону. Волк ложился в тень и ждал, когда Харниш справится с конем.

Так прошел день. У Боба в запасе оказался еще один фокус: он делал вид, что сейчас повернет обратно, но не поворачивал. Это было так же утомительно, как сам поворот, потому что Харниш каждый раз понапрасну сжимал шенкеля и напрягал все мышцы. А после нескольких мнимых поворотов, усыпив подозрения своего седока. Боб и в самом деле поворачивал, и Харниш опять, едва удержавшись в седле, хватался за его шею. До самого вечера Боб не прекращал своих выходок; спокойно пропустив десяток машин на дороге в Окленд, он вдруг вздумал разыграть панический страх перед каким-то миниатюрным автомобильчиком. И уже под конец, возвращаясь в конюшню, он достойно закончил день, так круто повернув и так высоко задрав передние ноги, что мартингал лопнул. Боб встал во весь рост на задних ногах, ремень стремени разорвался, и Харниш чудом удержался в седле.

Но конь полюбился ему, и он не сожалел о покупке. Он видел, что в Бобе нет ни злобы, ни коварства, — просто энергия его бьет через край; и вдобавок у него больше ума, чем у обыкновенных лошадей. Живость, сметка и редкая проказливость — вот его отличительные свойства. Для того чтобы подчинить его своей воле, нужна твердая рука, неуклонная строгость,

а время от времени и суровое наказание.

— Увидим, кто кого. Боб, — неоднократно повторял Харниш своему норовистому коню.

А вечером он сказал конюху:

— Ну и мошенник! Видели вы что-нибудь подобное? Лучшего конского мяса мне не попадалось, а я на своем веку перепробовал его немало.

Потом он добавил, обращаясь к Бобу, который, по своему обыкновению, нагнул голову и тыкался мордой ему в плечо:

— До свиданья, золотко мое! Увидимся в воскресенье утром. Не забудь прихватить с собой все свои фокусы, разбойник ты этакий!

Глава двенадцатая

Всю неделю Харниш думал о Бобе чуть ли не столько же, сколько о Дид; а так как в эти дни особенно крупных операций не проводилось, то мысли его, вероятно, были заняты ими обоими в гораздо большей степени, чем финансовой игрой. Привычка Боба на всем скаку поворачивать обратно сильно тревожила Харниша. Как отучить его от этого? Вдруг он встретит в горах Дид и вдруг ему повезет и так выйдет, что они поедут рядом, а Боб возьмет и завертится волчком, — вот будет некстати! Ему вовсе не улыбается, чтобы она видела, как он валится вперед и цепляется за шею лошади. Да и не очень красиво получится, если ему придется ускакать от своей спутницы, обрабатывая жеребца хлыстом и шпорами.

Нужно придумать средство предупреждать эти молниеносные повороты, останавливать Боба прежде, чем он повернет. Поводьями тут ничего не сделаешь. И шпоры не помогут. Остается хлыст. Но как остановить Боба хлыстом? В эту неделю было много минут, когда Харниш, сидя в кресле за письменным столом, забывал, где он, и, мысленно оседлав своего чудесного гнедого жеребца, пытался помешать ему повернуть обратно. Одна из таких минут наступила в конце недели, во время делового совещания с Хиганом. Адвокат, который излагал какой-то новый умопомрачительный проект, пленивший его воображение, вдруг заметил, что патрон не слушает. Глаза Харниша глядели куда-то в пространство — у него тоже разыгралось воображение.

— Нашел! — вдруг закричал Харниш. — Хиган, поздравьте меня! Это же проще простого. Надо стукнуть его по носу, и стукнуть крепко — только и всего.

Объяснив изумленному Хигану, в чем дело, Харниш опять стал внимательно слушать, хотя и не мог удержаться, чтобы время от времени не усмехнуться про себя, предвкушая воскресную прогулку. Теперь он знает, что делать. Боб всегда поворачивает вправо. Отлично. Он перегнет хлыст пополам и будет держать его наготове, и в ту секунду, когда Боб начнет поворачивать, он ударит его сдвоенным хлыстом по носу. Ни одна лошадь не станет поворачивать, если уразумеет, что за это она больно получит по носу.

Никогда еще Харниш так сильно не жалел о том, что не может просто, по-человечески, заговорить с Дид. Даже такой безобидный, казалось бы, вопрос: поедет ли она верхом в воскресенье? — и то немыслим для него. Тяжкое и доселе не изведанное им испытание — быть хозяином — красивой девушки. Часто в часы занятий в конторе он взглядывал на нее, и с языка готов был сорваться вопрос: поедет ли она верхом в воскресенье? Но он молчал и, глядя на нее, думал о том, сколько ей может быть лет и много ли у нее было романов с этими

молокососами, с которыми, по словам Моррисона, она водит компанию и танцует на студенческих вечерах. Все шесть дней, от воскресенья до воскресенья, Дид не выходила у него из головы, и одно он понял очень хорошо: его влекло к ней. И так сильно влекло, что его давний страх очутиться во власти женщины рассеялся, как дым. Он, который всю жизнь спасался бегством от преследовавших его женщин, теперь сам отваживался на преследование. В какое-то воскресенье, рано или поздно, он встретится с ней вне стен конторы, гденибудь в окрестных горах, и если уж тогда они не разговорятся, значит, она его знать не хочет.

Так Харниш обнаружил новую карту, сданную ему безумным божеством. Ему и не снилось, какое значение в его жизни она приобретет, но он решил, что карта неплохая. Однако сомнения осаждали его. Что, если Счастью вздумалось сыграть с ним злую шутку и его ждет погибель? Вдруг Дид отвергнет его, а он будет любить ее все больше, все сильнее? Ужас, который всегда внушала ему любовь, с новой силой овладевал им. Память воскрешала любовные драмы между мужчинами и женщинами, которых он когда-то знавал. Он вспомнил и Берту Дулитл, дочь старика Дулитла, которая влюбилась в Дартуорти, разбогатевшего на Бонанзе; а тот и не глядел на Берту, зато влюбился в жену полковника Уодтстона и бежал с ней вниз по Юкону; полковник, до безумия любивший свою жену, пустился в погоню за беглецами. И что же получилось? Берта, конечно, очень страдала от своей несчастной любви, а остальным пришлось еще хуже. Полковник догнал влюбленных пониже Минука, и там спор решило оружие. Дартуорти был убит наповал. У полковника оказалось прострелено легкое, и весной он умер от пневмонии. А у жены его не осталось на земле ни одного близкого существа.

Вспомнилась ему и Фреда, которая хотела утопиться в ледяной каше из-за кого-то на другом краю света и возненавидела его, Хариша, за то, что он, случайно проезжая мимо, спас ей жизнь, втащив ее в лодку. А Мадонна… От этих воспоминаний Харнишу становилось страшно. Если он схватит любовную горячку, а Дид отвергнет его, это будет ничуть не лучше, чем лишиться всего своего состояния по милости Даусета, Леттона и Гугенхаммера. Будь его увлечение Дид менее глубоко, страх одержал бы верх и он отказался бы от всякой мысли о ней. Но отказываться ему не хотелось, и он успокаивал себя тем, что не всегда же любовь кончается трагедией. Кто знает? Быть может, Счастье так стасовало карты, что выигрыш достанется ему. Есть же люди, которые родятся счастливыми, живут счастливо всю жизнь и счастливыми умирают. Почему бы ему не оказаться таким счастливцем, которому всегда и во всем везет?

Настало воскресенье, и Боб, носясь по Пиедмонтским горам, вел себя примерно. Правда, иногда он начинал приплясывать и подпрыгивать, но вообще был кроток и послушен, как агнец. Харниш, держа в правой руке согнутый пополам хлыст, с нетерпением ждал, чтобы Боб поворотил обратно хоть один разочек, но Боб, явно издеваясь над своим седоком, и не думал поворачивать. Дид Мэсон, однако, нигде не было видно. Тщетно рыскал Харниш по горным дорогам и наконец уже на исходе дня, взяв крутой подъем, перевалил через вторую гряду. Едва он спустился в долину Марога, как услышал дробный стук копыт. Стук раздавался впереди — лошадь шла ему навстречу. А вдруг это Дид? Он повернул коня и шагом поехал обратно. Если это она, решил он, значит, он рожден для счастья, ибо встреча не могла произойти при более благоприятных обстоятельствах. Они поедут одной дорогой, в том же направлении, лошадь ее идет таким аллюром, что она нагонит его как раз в том месте, где крутой подъем заставит обоих ехать шагом. И хочешь не хочешь, а ей придется конь о конь с ним подняться в гору; а по ту сторону перевала такой же крутой спуск — и опять они поедут шагом.

Стук копыт приближался, но Харниш не поворачивал головы, пока не услышал, что лошадь пошла шагом. Тогда он глянул через плечо. Это была Дид. Они мгновенно узнали друг друга, и на ее лице отразилось удивление. Он слегка повернул Боба и подождал, пока она поравняется с ним. Что могло быть естественней этого? А потом, когда они съехались, разве само собой не

разумелось, что они вместе начнут взбираться наверх!

Харниш с трудом подавил вздох облегчения. Дело сделано, и как просто все вышло: они поздоровались и поехали рядом, а впереди у них еще мили и мили пути.

От него не укрылось, что Дид сначала посмотрела на его лошадь и только потом на него.

— Какой красавец! — воскликнула она, бросив взгляд на Боба; глаза ее вспыхнули, лицо просияло, и Харнишу с трудом верилось, что перед ним та же женщина, которую он привык видеть сдержанной, со строго официальным выражением лица.

— Вот не знала, что вы ездите верхом, — с первых же слов заметила она. — Я думала, вы признаете только автомобиль.

— Я совсем недавно начал ездить, — ответил он. — В последнее время я стал полнеть, надо как-то сгонять жир.

Она посмотрела на него сбоку, одним взглядом охватив его с головы до пят, включая седло и поводья.

— Но вы и раньше ездили верхом, — сказала она.

«Глаз у нее наметанный на лошадей и на все, что их касается», — подумал он.

— Ездил, но это было очень давно. Мальчишкой, в Восточном Орегоне, я, бывало, удирал из лагеря и загонял скот, объезжал лошадей. Тогда я считал себя первоклассным наездником.

Так, к величайшей радости Харниша, между ними завязалась беседа по интересующему обоих предмету. Он рассказал ей про фокусы Боба и какой он придумал способ, чтобы вымуштровать его; она подтвердила, что лошадь нужно держать в строгости, даже если очень любишь ее. Вот ее кобыла, Маб, — она уже восемь лет у нее — вначале пришлось отучать ее от дурной привычки бить ногой в перегородку стойла. Бедной Маб очень доставалось, но она излечилась от этого.

— Вы-то много ездили верхом, — заметил Харниш.

— Знаете, я даже не помню, когда я в первый раз села на лошадь, — сказала Дид. — Я выросла на ранчо, и меня никак нельзя было оторвать от лошадей. Должно быть, я от рождения любила их. В шесть лет у меня был собственный пони, а в восемь я уже могла целый день не слезать с седла, наравне с папой. Когда мне минуло одиннадцать, папа взял меня с собой на охоту, бить оленей. Я просто не знаю, что бы я делала без лошади. Я терпеть не могу сидеть в четырех стенах; и «не будь Маб, я давно бы заболела и умерла.

— Вы любите деревню? — спросил он и впервые заметил, что глаза у нее не всегда только серые.

— И ненавижу город, — ответила она. — Но в деревне женщина не может заработать кусок хлеба, поэтому я довольствуюсь прогулками за город, так же как моя кобыла.

А потом она еще рассказывала о том, как жила на ранчо, когда жив был отец. Харниш ликовал в душе. Вот они и разговорились; уже добрых полчаса они вместе, а разговор ни разу не оборвался.

— Мы с вами почти что земляки, — сказал он. — Я вырос в Восточном Орегоне, а оттуда до Сискийу не так уж далеко.

Он тут же спохватился и прикусил язык, но было поздно.

— Откуда вы знаете, что я из Сискийу? — живо спросила она. — Я вам этого никогда не говорила.

— Не помню, — уклончиво ответил он. — От кого-то я слышал, что вы из тех краев.

Но тут, очень кстати, бесшумной тенью на дорогу выскочил Волк, кобыла Дид Мэсон шарахнулась в сторону, и они заговорили об аляскинских ездовых собаках, а потом опять о лошадях. И всю дорогу вверх до перевала, а потом вниз они проговорили об этом.

Он слушал Дид; внимательно следя за ее словами, и в то же время следил за ходом своих мыслей и проверял свое впечатление о ней. Он никак не мог решить, нравится ему или нет, что она так смело и непринужденно ездит верхом по-мужски. Взгляды Харниша на женщин были в достаточной степени старомодны — они сложились в его ранней юности, на Диком Западе, в ту пору, когда женщины ездили верхом, сидя боком в дамском седле. Всадница, в его представлении, не была двуногим существом. Мужская посадка Дид поразила его. Но он не мог не сознаться, что, хорошо это или плохо, смотреть на нее приятно.

Помимо посадки, он отметил в ней еще две вещи. Во-первых, золотые точечки в ее глазах. Странно, что он раньше их не видел. Может быть, в конторе освещение не такое, как надо, а может быть, эти точечки появляются и опять исчезают? Нет, это уж цвет такой, словно золотистые пятнышки рассеянного света. И даже не золотистые, но все-таки ближе всего к этому цвету. Во всяком случае — они уж никак не желтые. Все вздыхатели видят по-своему предмет своей любви, и очень сомнительно, чтобы кто-нибудь, кроме Харниша, назвал глаза Дид золотистыми. Но сердце его таяло от нежности, и ему хотелось видеть ее глаза золотистыми, и такими они и были для него.

Второе, что удивило и обрадовало его, — это ее простота и естественность. Он был уверен, что разговаривать с ней будет очень трудно, а оказалось, что ничего нет легче. Она совсем не «надутая» — иначе Харниш не умел определить разницу между этой Дид, верхом на гнедой кобыле, и той, которую он привык видеть в конторе. И все же, несмотря на то, что встреча состоялась и у них нашлось так много, о чем поговорить, Харниш в глубине души испытывал разочарование. В конце концов это только пустая болтовня. Харниш был человек действия: его влекло к этой женщине, он хотел любить ее и быть любимым ею; и он хотел, чтобы это счастье наступило безотлагательно. Он привык к стремительным атакам, привык торопить события и распоряжаться людьми, подчинять их своей воле; и сейчас его мучило желание дать почувствовать Дид свою власть над ней. Ему хотелось сказать ей, что он любит ее и что для нее нет иного выхода, как стать его женой. Но он подавил это желание. Женщины — увертливые создания, и — одной властностью их не возьмешь; можно все дело испортить. Он вспомнил, с какой осторожностью и долготерпением выслеживал дичь во время голода, зная, что меткий выстрел или промах означает жизнь или смерть. Правда, от этой женщины еще не зависела его жизнь, но все же зависело многое, очень многое, особенно сейчас, когда он ехал рядом с ней, и боясь слишком часто взглядывать на нее, украдкой любовался ею; несмотря на мужской костюм, придававший ей сходство с отважным всадником, она была пленительно женственна: по-женски улыбалась, смеялась, болтала, а глаза ее сияли, и щеки разгорелись после целого дня под жарким солнцем и летним ветерком.

Глава тринадцатая

Опять подошло воскресенье, и опять седок, конь и собака носились по Пиедмонтским горам. И опять Харниш и Дид Мэсон ехали рядом. Но на этот раз, увидев своего патрона, Дид не только удивилась, — вернее сказать, она удивилась не так, как в прошлое воскресенье: встреча показалась ей подозрительной; тогда они, безусловно, встретились случайно, но вторичное появление Харниша в тех местах, где она любила кататься верхом, наводило на мысль, что тут не просто случайность. Она дала понять это Харнишу, и он, очень кстати вспомнив о своей вынужденной покупке кирпичного завода, поспешил заявить, что намерен приобрести каменный карьер, который видел поблизости от Блэр-Парка. Он остался очень доволен осенившей его идеей, потому что она дала ему повод предложить Дид Мэсон вместе осмотреть карьер.

Итак, он провел в ее обществе несколько часов, и она по-прежнему держала себя с ним по-приятельски просто, непринужденно: беспечно смеялась, шутила и с искренним увлечением говорила о лошадях, приучала к себе малообщительного Волка и просила дать ей покататься на Бобе, уверяя, что она просто влюблена в него. Но на это Харниш не соглашался: Боб слишком норовист, и только злейшему врагу он разрешил бы сесть на него.

— По-вашему, если я женщина, то уж ничего не смыслю в лошадях! — запальчиво возразила она. — Вы думаете, я никогда не вылетала из седла? И я очень осторожна; если лошадь бьет задом, я не сяду на нее — я знаю, что это такое. Никаких других фокусов я не боюсь. А вы сами сказали, что Боб не бьет задом.

— Но вы еще не видали, что он вытворяет, — не сдавался Харниш.

— Зато я видела, что вытворяют другие, и сама ездила на них. Свою Маб я научила не бояться трамваев, паровозов и машин. Она была необъезженным жеребенком, прямо с ранчо, когда попала ко мне в руки. Под седлом, правда, уже ходила, но и только. И не беспокойтесь, ничего я вашему Бобу не сделаю.

Наконец Харниш скрепя сердце уступил, и на безлюдной дороге они поменялись конями.

— Помните, что за ним надо глядеть в оба, — еще раз предостерег он, помогая ей сесть в седло.

Она кивнула, а Боб навострил уши, почуяв незнакомого седока. Не дав Дид опомниться, он мгновенно повернул вспять и галопом понесся обратно по той же дороге, так что она едва успела ухватиться за его шею. Харниш верхом на кобыле поскакал вслед. Он увидел, как Дид быстро остановила Боба, ударила его поводьями по шее и, крепко вонзив левую шпору, погнала обратно.

— Держите хлыст наготове, дайте ему по носу! — крикнул Харниш.

Но Боб снова опередил ее и опять повернул. На этот раз ей хоть и с трудом, а удалось избежать унизительной позы — она не ухватилась за его шею. Заставив Боба сменить галоп на приплясывающий шаг и энергично действуя шпорой, она повернула его. Обращалась она с лошадью по-мужски, решительно и сурово. И Харниш уже не ждал, как в первую минуту, что Дид откажется от своей затеи. Глядя, как она воюет с Бобом, он начал догадываться о некоторых чертах ее характера. Да и достаточно было одного взгляда на ее упрямо сжатые губы и серые глаза, выражавшие едва уловимое недовольство собой, чтобы понять, какова она. Харниш не помогал ей, не давал советов — он только с восторгом глядел на нее, предвкушая урок, который получит Боб за свои проказы. И Боб получил чувствительный урок при первом

же повороте или, вернее, попытке повернуть вспять, ибо не успел он сделать и четверти круга, как хлыст стукнул его по носу — и он сразу же, растерявшись от неожиданности и от боли, опустил чуть приподнятые передние ноги.

— Здорово! — возликовал Харниш. — Еще разок или два, и он поймет. Он умница, понимает, с кем можно ломаться, а с кем нельзя.

Боб сделал еще одну попытку. Но на этот раз удар по носу сдвоенным хлыстом остановил его в самом начале и заставил опустить ноги. И не прибегая ни к поводьям, ни к шпорам, только грозя хлыстом, Дид выровняла Боба.

Она с торжеством посмотрела на Харниша.

— Можно мне проездить его? — попросила она.

Харниш кивнул в знак согласия, и она умчалась. Он следил за ней глазами, пока она не скрылась за изгибом дороги, и потом с нетерпением ждал, когда она снова появится. Как она ездит верхом! Золото, а не девушка! Вот это жена для настоящего мужчины! Рядом с ней все другие женщины кажутся какими-то плюгавыми. И подумать только, что день-деньской она сидит за машинкой. Разве ей место в конторе? Ей надо быть замужем, ничего не делать, ходить в шелку и бархате, осыпанной с ног до головы бриллиантами (таковы были несколько дикарские понятия Харниша о том, что приличествует горячо любимой супруге), иметь своих лошадей, собак и все такое… «Ну что ж, мистер Времяне-ждет, посмотрим, может, мы с вами тут что-нибудь обмозгуем», — прошептал он про себя; вслух же он сказал:

— Вы молодец, мисс Мэсон, просто молодец! Нет той лошади, которая была бы слишком хороша для вас. Никогда не думал, что женщина может так ездить верхом. Нет, нет, не слезайте, мы поедем потихоньку до карьера. — Он засмеялся. — Боб-то даже чуть-чуть застонал, когда вы стукнули его, вот в самый последний раз. Вы слышали? А как он вдруг уперся ногами в землю, будто наткнулся на каменную стену. Смекалки у него хватает, теперь ему известно, что эта стена всегда будет перед ним, как только он начнет дурить.

Когда вечером они расстались у ворот, где начиналась дорога на Беркли, он свернул к роще и, притаившись за деревьями, смотрел ей вслед, пока она не скрылась из глаз. Потом он поехал в сторону Окленда и, смущенно усмехаясь, пробормотал сквозь зубы:

— Ну, теперь дело за мной. Придется купить этот чертов карьер. Иначе как я объясню ей, зачем я шляюсь по этим горам?

Но надобность в этой покупке на время отпала, ибо ближайшее воскресенье он провел в одиночестве. Дид Мэсон не выехала на дорогу из Беркли; то же повторилось и через неделю. Харниш был вне себя от тоски и досады, но в конторе и виду не подавал. Он не замечал никакой перемены в Дид и сам старался держаться с ней по-прежнему. Занятия в конторе шли своим заведенным порядком, но теперь Харниша этот порядок доводил до бешенства. Все существо его восставало против правила, которое запрещает человеку вести себя со своей стенографисткой так, как любому мужчине разрешено вести себя с любой женщиной. «На кой черт тогда миллионы?» — вопросил он однажды, обращаясь к календарю на письменном столе, после того как Дид, кончив стенографировать, вышла из кабинета.

К концу третьей недели, предчувствуя, что его ждет еще одно тоскливое воскресенье, Харниш не выдержал и заговорил с ней. Со свойственной ему прямотой и стремительностью он без обиняков приступил к делу. Когда Дид, кончив работу, собирала свои блокноты и карандаши, он сказал:

— Подождите минуточку, мисс Мэсон. Надеюсь, вы не обидитесь, если я честно скажу, что у меня на душе. Я всегда считал вас девушкой умной, и, думается мне, вы не рассердитесь на мои слова. Вы давно работаете в моей конторе, уже несколько лет. И вы знаете, я всегда обращался с вами по-хорошему, по-честному. Я ни разу, как говорится, не позволил себе чего-нибудь. Именно оттого, что вы у меня служите, я… я очень остерегался, больше, чем если бы вы у меня не служили… ну, вы понимаете. Но ведь я все-таки живой человек. Я очень одинок… только не подумайте, что я говорю это, чтобы разжалобить вас. Просто я хочу объяснить вам, чем для меня были наши две прогулки. А теперь позвольте мне спросить вас, почему вы не катались ни в прошлое, ни в позапрошлое воскресенье?

Он умолк, дожидаясь ее ответа. Ему было очень неловко, его бросило в жар, испарина бусинками выступила на лбу. Она не сразу ответила, и он, подойдя к окну, приподнял стекло повыше.

— Я каталась, — сказала она, — но в другой стороне.

— Почему не… — Он оборвал на полуслове, не зная, как закончить вопрос. — Скажите мне прямо, в чем дело, так же, как сказал я. Почему вы не поехали в Пиедмонтские горы? Я повсюду искал вас.

— Вот именно потому. — Она с улыбкой посмотрела ему прямо в глаза, потом потупилась. — Вы же сами понимаете, мистер Харниш.

Он уныло покачал головой.

— И понимаю и нет. Не привык я еще ко всяким городским выкрутасам. Я знаю, что есть вещи, которых делать нельзя. Ну и пусть, пока мне не хочется их делать.

— А когда хочется? — быстро спросила она.

— Тогда я их делаю. — На его лице с плотно сжатыми губами мелькнуло жесткое, упрямое выражение, но он тут же поспешил оговориться: — Не всегда, конечно. Но если ничего плохого не делаешь, никому не вредишь — вот как наши прогулки, — то это уж просто чепуха.

Она медлила с ответом, вертя в руках карандаш, видимо, обдумывая, что ему сказать. Он молча ждал.

— Наши прогулки, — начала она, — могут вызвать нарекания. Подумайте сами. Вы же знаете, как люди рассуждают. Вы — мистер Харниш, миллионер…

— Биржевой игрок, — с горечью добавил он.

Она кивнула, соглашаясь с этим нелестным определением, и продолжала:

— Я стенографистка в вашей конторе…

— Вы в тысячу раз лучше меня, — попытался он прервать ее, но она не дала ему договорить.

— Я не это хочу сказать. Все очень просто и ясно, и таких случаев сколько угодно. Я ваша служащая. И дело не в том, что думаете вы или я, а в том, что подумают о нас. И мне незачем объяснять вам. Вы сами отлично это понимаете.

Она говорила бесстрастным, деловитым тоном, но от Харниша не укрылось, что щеки у нее

горят лихорадочным румянцем и что она немного задыхается от волнения.

— Очень сожалею, что напугал вас и вы из-за меня бросили любимые места для прогулок, — невпопад проговорил он.

— Вовсе вы меня не напугали, — с живостью возразила она. — Я не школьница. Я давно уже сама о себе забочусь и никакого страха не испытываю. Мы с вами провели два воскресенья, и могу вас заверить, что я не боялась ни вас, ни Боба. Не об этом речь. Я отлично могу сама о себе позаботиться. Но люди непременно тоже хотят проявить заботу, вот в чем беда! Что скажут люди обо мне, если я каждое воскресенье буду кататься по горам с моим патроном? Это нелепо — и все же это так. Никто слова бы не сказал, если бы я ездила с кем-нибудь из сослуживцев, а с вами — нельзя.

— Но никто не знает и знать не должен! — воскликнул он.

— Тем хуже. Не чувствовать за собой никакой вины и прятаться на глухих дорогах, будто у тебя совесть нечиста. Тогда уж лучше прямо и открыто…

— Позавтракать со мной в будний день, — докончил он, угадав ход ее мыслей.

Она кивнула.

— Это не совсем то, что я хотела сказать, но более или менее. Я предпочла бы действовать в открытую, и пусть все об этом знают, чем прятаться с риском быть уличенной. Вы только не подумайте, что я жду приглашения на завтрак, — добавила она с улыбкой, — но вы понимаете, что я имею в виду.

— Тогда почему же вы не хотите ездить со мной в горы, не скрываясь? — спросил он.

Она покачала головой, и Харнишу показалось, что на ее лице мелькнула едва уловимая тень сожаления. Внезапно его охватил панический страх потерять ее.

— Послушайте, мисс Мэсон. Я знаю, вы не любите разговоров о личных делах в конторе. И я не люблю. Это все то же: не полагается говорить со своей стенографисткой ми о чем, кроме как о работе. Давайте встретимся в воскресенье, переговорим как следует и что-нибудь придумаем. В горах мы можем разговаривать не только о делах конторы. Вы, надеюсь, достаточно хорошо знаете меня. Я человек прямой. Я всей душой уважаю вас и… и все такое… я… — Он умолк, и рука, которой он опирался на письменный стол, заметно дрожала. С трудом овладев собой, он продолжал: — Я очень хочу этой встречи, больше всего на свете. Я… я не знаю, как вам объяснить, но это так, вот и все. Согласны? Встретимся в воскресенье? Завтра?

Харнишу и во сне не снилось, что вполголоса произнесенному «да», которым она ответила на его просьбу, он больше всего обязан каплям пота, выступившим у него на лбу, дрожанию руки и мучительной тревоге, написанной на его лице.

Глава четырнадцатая

Все горе в том, что из слов никогда нельзя узнать точно, для чего они сказаны. — Харниш задумчиво потер хлыстом правое ухо Боба и, мысленно повторив свои собственные слова, остался недоволен: совсем не это он хотел сказать. — Послушайте, вы говорите, что не будете больше встречаться со мной, и объясняете почему. А если у вас другие причины? Может, вам просто не хочется видеть меня, а вы только так говорите, чтобы я не обиделся. Понимаете? Не в моих привычках навязываться. Будь я уверен, что вам наплевать на меня, я тут же исчез бы

— только вы меня и видели.

Дид ничего не сказала, но улыбнулась в ответ, и Харниш подумал, что более изумительной улыбки он еще никогда в жизни не видел. Он уверял себя, что эта улыбка особенная, так она еще ни разу не улыбалась ему. Она дала понять, что он ей не чужой, что она немного знает его. Конечно, тут же поправил он себя, это у нее вышло нечаянно и ничего необыкновенного тут нет. Любой мало-мальски знакомый человек, будь то делец или конторский служащий — все равно кто, — после нескольких даже мимолетных встреч проявляет известное дружелюбие. Это в порядке вещей… Но все-таки Дид не кто-нибудь. И как чудесно она улыбается! Что ни одна женщина из тех, которых он видел на своем веку, не умела так улыбаться, в этом Харниш ни секунды не сомневался.

Воскресенье прошло весело и беззаботно. Они съехались на дороге в Беркли и почти весь день провели вместе. Только теперь, с приближением вечера, когда вдали уже показались ворота, где им предстояло расстаться, Харниш приступил к серьезному разговору.

Она быстро перебила его, и он весь обратился в слух.

— Ну, а если у меня нет других причин, если дело не в том, что я не хочу вас видеть?

— Тогда я от вас не отстану, — сказал он. — Я уже давно приметил, что если людям чего-нибудь хочется, то их легко уговорить. А будь у вас другая причина… ну, скажем, вы меня знать не хотите, а скрываете это от меня, боитесь обидеть, потому что дорожите местом в моей конторе… — Тут ему пришло в голову, что соображение, которое он привел в качестве примера, быть может, и есть истинная причина ее отказа встречаться с ним, и эта мысль так испугала его, что он потерял нить своих рассуждении. — В общем, скажите одно только слово, и я исчезну. И никакой обиды не будет. Просто мне, значит, не повезло. Ответьте мне прямо, мисс Мэсон, так это или нет. Чует мое сердце, что я верно угадал.

Она взглянула на него, и в ее вдруг увлажнившихся глазах он прочел и гнев и боль.

— Это нечестно! — вскричала она. — Вы предлагаете мне на выбор: либо солгать вам и причинить вам боль, чтобы отделаться от вас и оградить себя, либо сказать вам правду и не иметь против вас никакой защиты, потому что вы сами говорите, что не отстанете от меня.

Щеки ее покрылись румянцем, губы дрожали, но она смотрела ему прямо в глаза.

Харниш удовлетворенно усмехнулся.

— Меня очень радуют ваши слова, мисс Мэсон.

— Не радуйтесь, — поспешила она ответить, — мои слова ничего не меняют. Я этого не допущу. Больше воскресных прогулок не будет и… А вот и ворота.

Поставив кобылу боком к изгороди, она наклонилась, подняла щеколду и въехала в отворяющиеся ворота.

— Нет, нет, пожалуйста, — сказала она Харнишу, увидев, что он хочет последовать за ней.

Он покорно осадил Боба, и ворота захлопнулись. Но она не поехала дальше, и разговор продолжался.

— Послушайте, мисс Мэсон, — начал он тихим, срывающимся от волнения голосом. — Я хочу,

чтобы вы твердо знали одно: я не просто от скуки волочусь за вами. Вы мне нравитесь, я к вам привязался, и для меня это не шутка. Ничего дурного в моих намерениях нет. Я честно хочу…

Он умолк, увидев выражение ее лица. Дид явно сердилась, но в то же время едва удерживалась от смеха.

— Хуже этого вы ничего не могли придумать! — воскликнула она. — В точности, как объявление в брачной газете: «Самые честные намерения; цель знакомства — брак». Но поделом мне. Очевидно, именно это вы и имели в виду, когда сказали, что не отстанете от меня.

С тех пор, как Харниш поселился под городскими крышами, его загорелая, обветренная кожа побелела: поэтому лицо его стало ярко-пунцовым, когда краска залила ему щеки и даже шею. Он был слишком смущен и пристыжен, чтобы заметить, что Дид смотрит на его побагровевшее лицо таким ласковым взглядом, каким ни разу не подарила его за весь день. Ей еще не приходилось видеть взрослых мужчин, которые краснели бы, как мальчишки, и она уже сожалела о невольно вырвавшихся у нее резких словах.

— Послушайте меня, мисс Мэсон, — заговорил он, сначала медленно и запинаясь, потом быстрее и под конец так заспешил, что речь его стала почти бессвязной. — Я человек грубый, неотесанный, я сам это знаю, я знаю, что мне не хватает воспитания. Никаким этим тонкостям я не обучен. Я еще никогда не ухаживал за женщинами, никогда не влюблялся, и в таких делах я просто дурак дураком. Ну пусть я глупо говорю, вы не обращайте внимания, ведь дело не в словах, а в том, каков человек. Вот я, например, я хочу только хорошего, хоть и не умею за это взяться.

Отличительной чертой Дид Мэсон была мгновенная смена настроений; искреннее раскаяние звучало в ее голосе, когда она сказала:

— Простите меня, я совсем не хотела посмеяться над вами. Вы меня застали врасплох, и слова ваши показались мне обидными. Видите ли, мистер Харниш, я не привыкла…

Она умолкла, вдруг испугавшись, что под влиянием минуты скажет лишнее.

— Вы хотите сказать, — подхватил Харниш, — что не привыкли к таким скоропалительным объяснениям: «Здравствуйте, очень приятно, предлагаю руку и сердце».

Она кивнула, и они оба весело рассмеялись. Смех разрядил атмосферу, и Харниш, приободрившись, продолжал уже спокойнее:

— Вы сами видите, что я прав. Конечно, у вас есть опыт. Небось, вам уже сто раз предложение делали. Но я-то еще не пробовал и вот барахтаюсь, как рыба, вынутая из воды. Впрочем, это вовсе и не предложение.

Получается все очень нескладно. Я, можно сказать, попал в тупик. На столько-то у меня хватает ума, чтобы понять, что, ежели хочешь подружиться с девушкой, нельзя начинать с того, что, мол, выходи за меня замуж. Вот тут-то и загвоздка. Раз — я не могу разговаривать с вами в конторе. Два — встречаться со мной, кроме как в конторе, вы не желаете. Три — вы говорите, пойдут сплетни, потому что вы у меня служите. Четыре — мне необходимо поближе сойтись с вами и необходимо объяснить вам, что я хочу только хорошего и ничего такого у меня и в мыслях нет. Пять — вот вы уже за воротами и сейчас ускачете, а я перед воротами, и душа у меня болит, и я не знаю, что вам такое сказать, чтобы вы передумали. Шесть — я вам сказал все, что мог. А теперь я вас очень прошу еще раз подумать.

Дид с невольным участием глядела в огорченное, взволнованное лицо Харниша и слушала его признания; оттого, что он облекал их в такие простые, немудреные слова, они звучали особенно искренне и чистосердечно. Как мало он походил на тех мужчин, с которыми ей доводилось встречаться до сих пор! Под конец, углубившись в свои мысли, она почти перестала слушать его. Любовь человека сильного, властного всегда влечет к себе женщину, и никогда еще Дид так полно не отдавалась этому влечению, как сейчас, глядя сквозь решетчатые ворота на Время-не-ждет. Конечно, она и не думает о том, чтобы выйти за него замуж — против этого слишком много серьезных доводов; но почему бы ей не встречаться с ним? Он ей нисколько не противен. Напротив, он ей нравится и всегда нравился, с того самого дня, когда она впервые увидела его худое, индейского склада лицо и черные блестящие глаза. Не одна только великолепно развитая мускулатура отличала его от других мужчин. Его окружал ореол романтики: бесстрашный искатель приключений на далеком Севере, совершивший множество подвигов и наживший миллионы, полудикарь, явившийся из полярной пустыни, чтобы вступить в борьбу с жителями Юга.

Жестокий, как индеец, игрок и распутник, человек без стыда и совести, снедаемый неутолимой жаждой мщения, готовый растоптать каждого, кто станет ему поперек дороги, — о, она отлично знала все бранные слова, которыми его называли! Но ей он не внушал страха. Имя его значило для нее не только это: «Времяне-ждет», значило еще многое другое, о чем можно было прочесть в газетах, в журналах и в книгах о Клондайке. Словом — одно уже имя его способно было поразить воображение любой женщины; обаяние этого имени захватило и Дид Мэсон, когда она глядела на него сквозь решетку и слушала его горячие, грустные признания. Несмотря ни на что, Дид все же была женщина, и ее женскому тщеславию не могло не льстить, что такой человек, как Время-не-ждет, ищет ее любви.

Но не одно тщеславие — многое другое заговорило в ней: она вдруг почувствовала себя одинокой, усталой; какие-то смутные ощущения и еще более смутные желания вторглись в ее душу, точно полчища таинственных призраков; и — еще глуше, еще сокровеннее — зазвучали тихие перекликающиеся голоса, воскрешая трепетные желания забытых поколений, вновь и вновь, нежданно и негаданно оживающих под таинственным, едва уловимым — и всесильным дыханием первозданной жизни, которая под личиной тысячи обольщений извечно творит самое себя. Трудно устоять перед искушением и отказаться от воскресных прогулок с ним. Только прогулки — и все, ибо она ни за что не согласится жить так, как живет он. Других женщин, быть может, удержали бы робость, страх остаться наедине с мужчиной. Но она-то уж сумеет постоять за себя при любых обстоятельствах! Так зачем же отказываться? Ведь это в конце концов безделица.

Жизнь ее в лучшем случае можно назвать однообразной и будничной. Она ест, спит, работает в конторе. Вот, собственно говоря, и все. Чем наполнены ее дни? Шесть дней в неделю уходят на контору и на дорогу туда и обратно; перед сном иногда удается урвать часок-другой для игры на рояле; а нужно еще выстирать кое-что, сшить или починить, подвести итог своим скромным расходам; два вечера в неделю она разрешает себе развлечься; субботние вечера и те часы, которые она выкраивает в будние дни, она проводит в больнице, навещая брата; и только раз в семь дней, в воскресенье, оседлав Маб, она носится по милым сердцу горам. Это ее единственная отрада. Но одной ездить тоскливо. Никто из ее знакомых не катается верхом. Студентки, которых она уговорила попробовать, покатались раза два на наемных клячах и бросили. Только Мадлин купила лошадь и полгода ездила с увлечением, но потом вышла замуж и уехала в Южную Калифорнию. Когда много лет катаешься в полном одиночестве, даже это начинает приедаться.

Какой он еще мальчишка, этот миллионер, финансовый титан, которого боятся самые могущественные богачи Сан-Франциско! Сущее дитя! Вот уж не думала, что он может быть

таким.

— Как люди становятся мужем и женой? — между тем говорил Харниш. — Ну, во-первых, они знакомятся; во-вторых, нравятся друг другу с виду; в-третьих, лучше узнают друг друга; в-четвертых, женятся или не женятся, смотря по тому, понравились они друг другу или нет, когда сошлись поближе. Но как же мы с вами узнаем, достаточно мы нравимся друг другу или нет? Просто ума не приложу. Есть только один выход: мы должны сами помочь горю. Я бы пришел к вам, бывал у вас, но я знаю, вы живете одна в пансионе или комнату снимаете, так что это тоже не годится.

Дид внезапно очнулась от задумчивости и чуть не расхохоталась: уж слишком все это было нелепо. Ей хотелось смеяться — не сердито, не истерически, просто весело смеяться. Ну на что это похоже? Она — скромная стенографистка, он — известный биржевой игрок, миллионер, а между ними ворота, и он рассуждает о том, как люди женятся. Нет, так продолжаться не может, пора это прекратить. Никаких тайных свиданий в горах больше не будет. А если он, не видя другого выхода, начнет ухаживать за ней в конторе — ну что ж, тогда ей придется уйти с очень хорошего места, и дело с концом. Нельзя сказать, чтобы такая перспектива радовала Дид, но она знала жизнь, в особенности городскую жизнь, и ничего хорошего от нее не ждала. Она слишком долго работала ради куска хлеба, чтобы не растерять изрядную долю своих иллюзий.

— Мы не станем таиться и прятаться, — настойчиво продолжал Харниш.

— Мы будем ездить, не скрываясь, а если кто увидит — ну и пусть. Пойдут сплетни? Пока у нас совесть чиста, нам на это наплевать. Ну скажите одно слово, и счастливее нас с Бобом никого на свете не будет.

Она покачала головой, придержала Маб, нетерпеливо переступавшую копытами, и выразительно посмотрела на быстро удлиняющиеся вечерние тени.

— Сейчас все равно уже поздно, — торопливо сказал Харниш, — и мы ни до чего не договорились. Еще одно воскресенье, только одно, чтобы решить окончательно.

— В нашем распоряжении был целый день, — возразила она.

— Но мы заговорили об этом слишком поздно. В другой раз мы начнем пораньше. Для меня это очень, очень важно. Ну как — в будущее воскресенье?

— Вот она — хваленая мужская честность! — сказала она. — Вы же отлично знаете, что, говоря «будущее воскресенье», вы имеете в виду не одно, а много будущих воскресений.

— Тогда пусть их будет много! — с жаром воскликнул он; а Дид подумала, что никогда еще его мужественное лицо не нравилось ей так, как в эту минуту. — Скажите, что вы согласны. Скажите только одно слово. В воскресенье, у каменоломни…

Она подобрала поводья, намереваясь тронуть лошадь.

— Спокойной ночи, — сказала она, — и…

— Да? — прошептал он с едва уловимой властной настойчивостью.

— Да, — ответила она тихо, но внятно.

В тот же миг она подняла кобылу в галоп и, не оглядываясь, поскакала по дороге к дому. Тщетно пыталась она понять, что творится в ее душе. Она же твердо решила сказать «нет» и до последней секунды не меняла своего решения — и вдруг ее губы произнесли «да». А может быть, не одни губы? У нее не было намерения давать согласие. Так почему она согласилась? Сначала Дид только удивлялась и недоумевала: что толкнуло ее на столь неожиданный и необъяснимый поступок? Но она похолодела от страха, когда подумала о том, какие это возымеет последствия. Она знала, что Время-не-ждет не тот человек, с которым можно шутки шутить. За его детским простодушием кроется властная натура зрелого мужчины, своим согласием встречаться с ним она, несомненно, уготовила себе волнения и бури. И она снова и снова спрашивала себя, почему же все-таки она сказала «да» в то самое мгновение, когда бесповоротно решила сказать «нет»?

Глава пятнадцатая

Жизнь в конторе по-прежнему шла своим чередом. Ни единым взглядом или словом не показывали Харниш и Дид, что отношения между ними изменились. Каждое воскресенье они уславливались о будущей встрече, но в конторе никогда не говорили о совместных прогулках. На этот счет Харниш проявлял крайнюю щепетильность. Он знал, что иначе она откажется от места. А терять ее он не хотел — видеть ее в своей конторе было для него постоянной, нетускнеющей радостью. Но он не пытался продлить эту радость: не мешкал, диктуя ей письма, не придумывал для нее лишнюю работу, чтобы подольше удержать в своем кабинете. Поступал он так не только из своекорыстного страха лишиться ее — он оставался верен своим правилам честной игры. Пользоваться случайным преимуществом он считал недостойным приемом. Какой-то внутренний голос говорил ему, что любовь — это нечто более высокое, чем обладание. Он хотел, чтобы его любили ради него самого, чтобы оба партнера имели равные шансы.

С другой стороны, никакие искусно расставленные сети не сослужили бы ему такую службу, как его сдержанное обращение с Дид. Больше всего на свете дорожа своей свободой и меньше всего склонная уступать силе, она не могла не оценить его тактики. Но она не только рассудком отдавала ему должное, — какие-то неуловимые, тончайшие нити, ощутимые только в редкие минуты, протягивались между ними. Шаг за шагом плелась паутина, которой любовь Харниша обволакивала Дид; крепче становились незримые, неосознанные узы, связывающие их. Может быть, в этом надо было искать ключ к тому, что она сказала «да» вместо «нет»? И в будущем, когда речь пойдет о более важном решении, не случится ли так, что она отвергнет все трезвые доводы разума и опять, вопреки своей воле, ответит согласием?

Сближение с Дид имело благотворное влияние на Харниша, хотя бы потому, что он стал меньше пить. Его уже не тянуло так сильно к спиртному, и он даже сам это заметил. В известной степени Дид заменяла ему коктейли. Мысль о ней действовала на него, как крепкое вино. Во всяком случае, ему уже меньше требовалось горячительных напитков, чтобы выдержать противоестественный городской образ жизни и азартнейшую биржевую игру. Он по-прежнему при помощи коктейлей воздвигал стену, за которой укрывался, чтобы передохнуть, но теперь частью этой стены была Дид. Черты ее лица, смех, модуляции голоса, золотистые искрящиеся глаза, отблеск солнца на волосах, фигура, платье, руки, держащие поводья, малейшие движения — все это он вновь и вновь мысленно рисовал себе, забывая о коктейлях и виски с содовой.

Невзирая на принятое ими отважное решение не прятаться от людей, они все же соблюдали осторожность во время прогулок. В сущности, это были просто-напросто тайные свидания. Они отнюдь не выезжали верхом открыто, у всех на глазах. Напротив, они всегда старались встречаться как можно неприметнее, и поэтому Дид, выехав из Беркли по дороге со многими

воротами, поджидала Харниша где-нибудь вне города. Для катания они выбирали глухие, малолюдные дороги; чаще всего они переваливали через второй горный хребет, где их могли видеть только идущие в церковь фермеры, которые не знали Харниша даже по портретам.

Дид оказалась отличной наездницей — не только искусной, но и выносливой. Бывали дни, когда они покрывали шестьдесят, семьдесят и даже восемьдесят миль; и ни разу Дид не пожаловалась на усталость, и не было случая — что особенно ценил Харниш, — чтобы у гнедой кобылы оказалась стертой спина.

«Молодчина, ничего не скажешь», — с неизменным восхищением твердил он про себя.

Во время этих долгих, ничем не прерываемых прогулок они многое узнали друг о друге. Кроме как о себе, им» почти не о чем было говорить. Таким образом, она стала знатоком по части полярных путешествий и добычи золота, а он, слушая ее рассказы, составлял себе все более полную картину ее жизни. Она с увлечением вспоминала свое детство на ранчо, описывала лошадей, собак, людей, предметы, а он мысленно следил за тем, как она из девочки превращалась в женщину. Узнал он и о том, как отец ее разорился и умер, а ей пришлось бросить университет и наняться в контору. Говорила она и о больном брате, о том, что она уже много лет делает все, что в ее силах, чтобы он вылечился, и что уже не верит в его выздоровление. Харниш убедился, что найти с ней общий язык вовсе не так трудно, как он предполагал; однако он постоянно чувствовал, что за всем, что ему известно о ней, таится загадка, именуемая «женщина». И он смиренно признавался самому себе, что об этом безбрежном неисследованном море, по которому ему предстоит пуститься в плавание, он не знает ровно ничего.

Он боялся женщин потому, что не понимал их, и не понимал их, потому что боялся. Дид верхом на гнедой кобыле, Дид, в летний полдень собирающая маки на горном склоне, Дид, быстро и уверенно стенографирующая под диктовку, — все это было ясно и понятно. Но той Дид, у которой мгновенно менялось настроение, которая упорно отказывалась встречаться с ним и вдруг соглашалась, в чьих глазах, словно непонятные ему сигналы, то вспыхивали, то гасли золотые искорки, — той Дид он не знал. Во всем этом он видел таинственные глубины женственности, поддавался их обаянию, но постичь не надеялся.

И еще одна сторона ее жизни, как хорошо понимал Харниш, была закрыта для него. Она любила книги, она обладала тем, что люди с почтением называют загадочным словом «культура». Но, к его величайшему удивлению, эта культура никогда не вторгалась в их отношения. Дид не заговаривала ни о книгах, ни об искусстве, ни о прочих высоких материях. Его неискушенному уму она казалась такой же бесхитростной, как он сам. Она любила все простое и естественное: свежий воздух, лошадей, солнце, цветы. Растительность этого края была ему мало знакома, и она учила его распознавать различные виды дуба, показывала мансаниту и земляничное дерево, перечисляла названия, свойства, места распространения бесконечных разновидностей полевых цветов, кустарников, папоротников. Ее зоркий глаз, от которого ничто лесное не укрывалось, восхищал Харниша. Этим она была обязана детству, проведенному среди природы. Однажды они поспорили, кто из них обнаружит больше птичьих гнезд. И ему, который всегда гордился своей острой наблюдательностью, немало труда стоило победить в этом состязании. К концу дня он опередил ее только на три гнезда, и то одно из них она прямо оспаривала, да и он должен был сознаться, что не верен, кто первым увидел его. Он высказал ей свое «восхищение и прибавил, что — она сама похожа на птицу — такая же зоркая и проворная.

Чем ближе он узнавал ее, тем больше убеждался, что многое в ней напоминает птицу. Вот почему она любит ездить верхом, говорил он себе. Это почти то же, что летать. Поле,

пестрящее маками, лощинка, заросшая папоротником, проселок, окаймленный тополями, красновато-коричневая земля косогора, луч солнца на далекой вершине — все это вызывало у нее радостные возгласы, которые звучали в его ушах, как птичье пение. Она радовалась каждому пустяку, и песня ее не умолкала. Это впечатление не исчезало даже в те минуты, когда она проявляла суровость. Глядя, как она проезжает Боба и старается укротить неуемного жеребца, он мысленно сравнивал ее с орлицей.

Ее маленькие мимолетные радости были радостью и для него. Стоило ей устремить восхищенный взор на что-нибудь, привлекшее ее внимание, как он с не меньшим восхищением впивался глазами в ее лицо. Она же научила его лучше видеть и понимать природу. Она указывала ему на краски пейзажа, которых он без нее ни за что бы не приметил. До сих пор он знал только простые цвета. Все оттенки красного цвета были для него красные, и только. Черное — это черное, коричневое — коричневое, а когда коричневый цвет переходит в желтое — это уже желтый цвет, а не коричневый. Пурпурный он всегда воспринимал как кроваво-красный, но Дид объяснила ему, что он ошибается. Однажды, когда они очутились на высоком гребне, где огненные маки, покачиваемые ветром, достигали коленей лошадей, Дид так и застыла на месте, потрясенная открывшимся перед ними видом. Она насчитала семь планов, и Харниш, который всю свою жизнь смотрел на самые разнообразные пейзажи, впервые узнал, что такое «план» в живописи. После этого он стал более зрячими глазами приглядываться к лику земли и сам научился постигать красоту горных кряжей, которые сомкнутыми рядами высились вокруг, и лиловой дымки летнего вечера, дремлющей в складках далеких гор.

Но сквозь все это золотой нитью проходила любовь.

Сначала он довольствовался воскресными прогулками и чисто приятельскими отношениями, установившимися между ним и Дид, но с каждым днем его все сильнее влекло к ней. Чем ближе он узнавал ее, тем больше находил в ней достоинств. Если бы она держалась неприступно и высокомерно или жеманилась, заигрывала с ним, все было бы иначе. Но его пленяли в ней именно простота, непосредственность, умение быть хорошим товарищем. Этого он не предвидел. Так он еще никогда не смотрел на женщин. Игрушка, хищница, жена и продолжательница рода — только в этих обличьях он представлял себе женщину, только такой мыслил ее. Но женщина — друг и товарищ, какой оказалась Дид, повергала его в изумление. Он открывал в ней все новые совершенства, и любовь его разгоралась все жарче и уже помимо его воли прорывалась в ласковом звуке голоса, вспыхивала в устремленных на нее глазах. Дид отлично все это видела, но, подобно многим женщинам, думала, что можно играть с огнем и все же избежать пожара.

— Скоро настанет зима, — сказала она однажды со вздохом сожаления, но не без лукавства, — и тогда конец прогулкам верхом.

— Но я должен и зимой встречаться с вами!

— Она покачала головой.

— Нам очень хорошо, когда мы вместе, — ответила она, глядя ему прямо в глаза, — и я не забыла ваших смешных рассуждении о цели нашего знакомства. Но это ни к чему не приведет. Я слишком хорошо себя знаю. Уверяю вас, я не ошибаюсь.

Она говорила очень серьезно, даже участливо, явно стараясь смягчить удар, и по-прежнему без смущения смотрела ему в лицо; но в глазах ее мерцал золотистый свет, за которым Харниш угадывал сокровенные тайны женского сердца, — и теперь он уже не страшился их.

— Я, кажется, веду себя примерно, — заговорил он. — Думаю, вы согласитесь со мной. Должен вам сказать, что мне это нелегко дается — Посудите сами. Ни разу я не обмолвился и словом о моей любви, а вы знаете, что я люблю вас. Это не пустяки для человека, который привык все делать по-своему. Я вообще не из тех, кто любит мешкать. Посмотрели бы вы на меня в пути. Сам Господь Бог не догнал бы меня на снежной тропе. Но с вами я не тороплюсь. Из этого вы можете понять, как сильно я вас люблю. Конечно, я хочу, чтобы вы стали моей женой. А говорил я вам об этом? Ни разу ни слова не сказал. Молчал и вел себя примерно, хоть и тошно мне было молчать. Я не просил вас выйти за меня замуж. И сейчас не прошу. Не потому, что я сомневаюсь. Лучше вас мне не найти, это я верно знаю. Но я-то вам подхожу? Можете вы это решить? Или вы еще слишком мало меня знаете? — Он пожал плечами. — Это мне неизвестно, а рисковать я не намерен. Мне нужно знать наверное, думаете ли вы, что могли бы ужиться со мной или нет. Потому-то я и тяну и не иду ва-банк. Не хочу играть втемную.

Так еще никто не объяснялся Дид в любви. Да и по наслышке она не знала ничего подобного. Больше всего его поразил ее рассудительный тон, каким говорил Харниш, но она тут же вспомнила, как у него дрожала рука во время их первого разговора в конторе, с какой нежностью он смотрел на нее и сегодня и во все предыдущие дни и как ласково звучал его голос. Вспомнила она и слова, как-то сказанные им: «Вы, может, не знаете, что такое терпение». А потом он рассказал ей, как стрелял белок из дробовика, когда они с Дэвисом умирали с голоду на реке Стюарт.

— Так что, сами видите, — настаивал Харниш, — мы должны встречаться с вами зимой. Чтобы все было по-честному. Я думаю, вы еще не решили…

— Вы ошибаетесь, — прервала его Дид. — Я никогда не позволю себе полюбить вас. Счастья я с вами не найду. Вы мне нравитесь, мистер Харниш, я не отрицаю, но больше этого ничего быть не может.

— Это потому, что вам не нравится, как я живу, — возразил он, подразумевая кутежи и пьянство в разгульной компании, которые так любили расписывать газеты; он выжидательно посмотрел на нее — постесняется она признать, что ей это известно или нет?

Но она ответила прямо, без обиняков:

— Да, не нравится.

— Я и сам знаю, что иногда хватал через край, — вот о чем в газетах писали, — начал он, пытаясь оправдаться, — и я признаю, что приятели, с которыми я катался, — народ довольно буйный…

— Я не о кутежах говорю, — перебила она его, — хотя и о них мне известно, и не могу сказать, чтобы мне это было по душе. Я имею в виду вашу жизнь вообще, ваш бизнес. Есть женщины, которые охотно вышли бы за такого человека, как вы, и жили бы счастливо. Но это не для меня. И чем сильнее я любила бы такого человека, тем несчастнее была бы. Я и сама страдала бы и его сделала бы несчастным. Я совершила бы ошибку, и он совершил бы ошибку; но он легче перенес бы это, потому что у него остался бы его бизнес.

— Бизнес! — воскликнул Харниш. — А что плохого в моем бизнесе? Я веду честную игру, без всякого надувательства, а этого нельзя сказать почти ни про кого из дельцов, будь то заправила крупной корпорации или хозяин мелочной лавочки, обвешивающий покупателя. Я играю по правилам, и мне не нужно ни врать, ни мошенничать, ни обманывать.

Дид, втайне радуясь, что разговор принял другой оборот, воспользовалась случаем, чтобы

высказать Харнишу свое мнение.

— В древней Греции, — начала она наставительным тоном, — хорошим гражданином слыл тот, кто строил дома, сажал деревья… — Она не докончила цитаты и сразу перешла к выводам: — Сколько домов вы построили? Сколько деревьев посадили?

Он неопределенно мотнул головой, так как не понял, куда она клонит.

— Например, — продолжала она, — в позапрошлую зиму вы скупили весь уголь…

— Только местный, — усмехнулся он. — Я тогда воспользовался нехваткой транспорта и забастовкой в Британской Колумбии.

— Но сами-то вы этот уголь не добывали? А вы подняли цену на четыре доллара с тонны и нажили большие деньги. Это вы называете бизнесом. Вы заставили бедняков платить за уголь дороже. Вы говорите, что играете честно, а на самом деле вы залезли к ним в карман и обобрали их. Я это знаю по опыту. У меня в Беркли комната отапливается камином. И вместо одиннадцати долларов за тонну угля я в ту зиму заплатила пятнадцать. Вы украли у меня четыре доллара. Меня вы этим не разорили. Но есть тысячи бедняков, которым пришлось туго. По-вашему, может быть, это законная спекуляция, а по-моему, это — чистое воровство.

Харниша ее слова не смутили. Ничего нового она ему не сказала. Он вспомнил старуху, которая продавала свое вино в горах Со нома и так же, как миллионы других обездоленных, была предназначена к тому, чтобы ее грабили.

— Вот что я вам скажу, мисс Мэсон: отчасти вы правы, это я признаю. Но вы давно знаете все мои дела, и вам отлично известно, что не в моих привычках грабить бедняков. Я воюю с богачами. Они моя дичь. Они грабят бедных, а я граблю их. Это дело с углем вышло случайно. Я не бедных хотел прижать, а крупных воротил, и я прижал их. Бедняки нечаянно попали в драку, и им досталось, только и всего.

— Разве вы не видите, — продолжал он, — что все на свете просто азартная игра? Все люди так или иначе спекулируют. Фермер спекулирует на погоде и на выгодном сбыте своего урожая. Спекулирует и Стальной трест Соединенных Штатов. Уйма людей только тем и занимается, что обирает бедняков. Но только не я. Вы это сами знаете. Я всегда охочусь за грабителями.

— Вы меня сбили, — сказала Дид, — погодите, я сейчас вспомню.

Несколько минут они ехали молча.

— Я не могу объяснить вам словами, но мне самой это совершенно ясно. Понимаете, существует труд полезный и труд… как бы это сказать… бесполезный. Фермер пашет землю и производит хлеб. Его труд приносит человечеству пользу. Он создает что-то нужное — выращивает хлеб, который накормит голодных.

— А потом железнодорожные компании, спекулянты и прочие преспокойно отнимут у него этот самый хлеб, — вставил Харниш.

Дид улыбнулась и жестом остановила его.

— Погодите, не сбивайте меня. Ну, пусть его грабят, не оставив ему ни крошки, и он умрет с голоду. Но та пшеница, которую он вырастил, ведь не пропадет? Она существует. Понимаете? Фермер что-то создал: вырастил, скажем, десять тонн пшеницы, и эти десять тонн существуют.

Железные дороги доставляют пшеницу на рынок, приближают к тем, кто будет есть ее. Все это полезный труд. Как если бы кто-нибудь принес вам стакан воды или вынул соринку из глаза. Что-то сделано нужное, что-то создано, как хлеб, собранный фермером.

— Но железные дороги бессовестно грабят, — возразил Харниш.

— Значит, их работа только наполовину полезна. А теперь поговорим о вас. Вы ничего не создаете. От ваших финансовых операций не появится ничего нового. Вот хотя бы уголь — вы не добывали его, не перевозили, не доставляли покупателю. Понимаете? Вот все это я и называю: сажать деревья, строить дома. А вы не посадили ни одного дерева, не построили ни одного дома.

— Никогда не думал, что женщина может так рассуждать о бизнесе, — пробормотал Харниш, с почтением глядя на нее, — И вы верно говорите. Но только и я не так уж не прав. Послушайте меня. Я приведу три пункта: Пункт первый: жизнь наша коротка, и все, даже самые лучшие, помирают. Жизнь — сплошная азартная игра. Бывают игроки везучие и бывают невезучие. Все садятся за карточный стол, и каждый норовит обчистить партнеров. Большинство проигрывают, потому что они родились дураками. И вот прихожу я и прикидываю: что мне делать? Я должен выбрать: идти к дуракам или идти к грабителям. Если к дуракам, то я ничего не выиграю, даже последний кусок хлеба у меня отберут грабители. Всю жизнь буду работать как вол и так и помру на работе. И никакой-то радости мне не будет, ничего, одна только работа и работа. Говорят, труд — дело благородное. Никакого благородства в таком труде нет, поверьте мне. Ну, я и решил идти к грабителям и вступил в игру, чтобы заграбастать побольше. И что же? Все для меня: и автомобили, и дорогие рестораны, и мягкая постель.

Пункт второй: грабить вполовину, как железные дороги, которые везут хлеб фермера на рынок, или грабить начисто, как я граблю грабителей, — невелика разница. Да и грабить вполовину мне не подходит. В такой игре скоро не разбогатеешь.

— А зачем вам богатеть? — спросила Дид. — У вас и так Куча денег. Все равно нельзя ездить в двух машинах зараз или спать в двух кроватях.

— На это вам ответит мой третий пункт. Вот слушайте. И люди и животные так устроены, что у всех разные вкусы. Заяц любит травку, а рысь любит мясо. Утки плавают, а куры боятся воды. Один человек собирает марки, другой — бабочек. Есть люди, которые думают только о картинах, а есть такие, которым подавай яхты. Для одних на свете нет ничего лучше охоты, для других — скачек, для третьих — хорошеньких актрис. Кому что на роду написано. От этого никуда не денешься. Вот я люблю азартную игру. Мне это нравится. И я люблю игру крупную, чтобы уж выиграть так выиграть. Я родился игроком. Потому я и играю.

— Но почему бы вам не делать добро вашими деньгами?

Харниш засмеялся.

— Делать добро! Это все равно что дать Богу пощечину: ты, мол, не умеешь править миром, так вот, будь любезен, отойди в сторонку, я сам попробую. Но я вообще Богом не шибко интересуюсь и потому по-другому смотрю на это дело. Разве не смешно ходить с кастетом и здоровенной дубиной, разбивать людям голову, отнимать у них деньги, а когда денег наберется много, вдруг раскаяться и начать перевязывать головы, разбитые другими грабителями? Смешно? А ведь это и значит делать добро своими деньгами. Время от времени какой-нибудь разбойник ни с того ни с сего становится добреньким и начинает играть в «скорую помощь». Что делает Карнеги? В Питсбурге он учинил такой разбой, что проломленных голов и не

счесть, ограбил дураков на сотни миллионов, а теперь по капельке возвращает им деньги. По-вашему, это умно? Посудите сами.

Он начал свертывать папиросу и чуть насмешливо, с любопытством покосился на Дид. Неприкрытый цинизм его теории, резкий тон и резкие слова смутили ее и вынудили к отступлению.

— Я не могу вас переспорить, и вы это знаете. Как бы ни права была женщина, она не может убедить мужчину, потому что мужчины всегда так уверены в себе, что женщина невольно сдается, хотя она и не сомневается в своей правоте. Но ведь есть же и другое — есть радость созидания. Вы называете свой бизнес игрой, пусть так. Но мне кажется, что все-таки приятней что-нибудь сделать, создать, чем с утра до вечера бросать игральные кости. Вот я, например, когда мне хочется поразмяться или забыть о том, что за уголь надо платить пятнадцать долларов, я берусь за Маб и полчаса скребу и чищу ее. И когда я потом вижу, что шерсть у нее блестит и лоснится, как шелк, я чувствую удовлетворение. По-моему, такое же чувство должно быть у человека, который построил дом или посадил дерево. Он может полюбоваться делом рук своих. Это он сделал, это плод его труда. Даже если кто-нибудь вроде вас придет и отнимет у него посаженное им дерево, оно все-таки останется, и все-таки оно посажено им. Этого вы у него отнять не можете, мистер Харниш, невзирая на все ваши миллионы. Вот что я называю радостью созидания, которой нет в азартной игре. Неужели вы никогда ничего не создавали? Там, на Юконе? Ну, хижину, что ли, лодку, плот или еще что-нибудь? И разве вы не помните, как приятно вам было, пока вы работали, и после, когда вы любовались тем, что вами сделано?

Харниш слушал ее, и в его памяти вставали картины прошлого. Он снова видел пустынную террасу на берегу Клондайка, вырастающие на ней бревенчатые хижины, склады, лавки и все прочие деревянные строения, возведенные им, видел свои лесопилки, работающие круглые сутки в три смены.

— Тут вы немножко правы, мисс Мэсон, не спорю.

Да, я сотни домов построил, и я помню, как гордился и радовался, глядя на них. Я и сейчас горжусь, когда вспоминаю. А Офир? Ну самый что ни на есть дрянной лосиный выгон, а что я из него сделал! Я провел туда воду, знаете откуда? Из Ринкабилли, за восемьдесят миль от Офира. Все говорили, что ничего у меня не выйдет, а вот вышло же, и я сам это сделал. Плотина и трубы стоили мне четыре миллиона. Но посмотрели бы вы на этот самый Офир! Машины, электрический свет, сотни людей, работа

— круглые сутки. Я понимаю, что вы хотите сказать, когда говорите, что хорошо чтонибудь сделать. Я сделал Офир, и неплохо сделал, черт меня побери… простите, я нечаянно, — но, право же, Офир был прямо загляденье. Я и сейчас горжусь им, как в тот день, когда мои глаза в последний раз видели его.

— И это дало вам больше, чем просто деньги, — подхватила Дид. — Знаете, что бы я сделала, будь у меня много денег и если уж я никак не могла бы бросить эту игру в бизнес? Взяла бы да и купила здесь все южные и западные безлесные склоны и засадила их эвкалиптами. Просто так — для удовольствия. А если бы у меня была эта страсть к азарту, о которой вы говорите, то я бы все равно посадила деревья и нажила бы на этом деньги. Вот как вы наживаете, но только иначе; вместо того, чтобы поднимать цену на уголь, не увеличив ни на унцию запасы его, я создала бы тысячи и тысячи кубометров дров на голом месте, где раньше не было ничего. И каждый, кто переправится через бухту, посмотрит на лесистые склоны и порадуется на них. А кто радовался тому, что по вашей милости уголь подорожал на четыре доллара?

Теперь уж Харниш не находил ответа и молчал, а она выжидательно смотрела на него.

— Вы хотели бы, чтобы я сделал что-нибудь в этом роде? — наконец спросил он.

— Так было бы лучше для людей и для вас, — ответила она уклончиво.

Глава шестнадцатая

Всю неделю служащие конторы чувствовали, что мысли Харниша заняты какими-то новыми грандиозными планами. Уже несколько месяцев, если не считать сравнительно мелких операций, он почти не интересовался делами. Но теперь он внезапно погрузился в глубокую задумчивость, часами просиживал за своим письменным столом, не двигаясь и не произнося ни слова, или вдруг срывался с места и уезжал в Окленд. При этом видно было, что планы, с которыми он носится, доставляют ему много радости. В конторе стали появляться люди, ни обликом, ни повадками не похожие на тех, с которыми обычно совещался Харниш.

В воскресенье он все рассказал Дид.

— Вы задали мне задачу, — начал он, — и, мне кажется, об этом стоит поразмыслить. И вот я такое придумал, что вы ахнете. Это, как вы говорите, полезное, нужное дело — и в то же время самая что ни на есть азартнейшая игра. Я хочу разводить минуты, чтобы там, где раньше росла одна, теперь вырастали две. Что вы на это скажете? Ну, конечно, немного деревьев я тоже посажу — несколько миллионов. Помните, я сказал вам, что будто бы ездил смотреть каменоломню. Так вот, эту каменоломню я собираюсь купить. И все эти горы я куплю — отсюда до Беркли и в ту сторону до СанЛеандро. Могу вам сказать, что кое-что здесь уже мое. Но покамест — молчок. Я еще успею много купить, раньше чем об этом догадаются. Я вовсе не желаю, чтобы цены подскочили под самое небо. Видите вон ту гору? Она вся моя, все склоны, которые спускаются к Пиедмонту, и дальше вдоль холмов, почти до самого Окленда. И все это пустяки по сравнению с тем, что я собираюсь купить.

Он замолчал и с торжеством посмотрел на Дид.

— И все это для того, чтобы на том месте, где росла одна минута, выросли две? — спросила она и тут же расхохоталась, заметив таинственно-хитрое выражение его лица.

Пока она смеялась, Харниш не сводил с нее восхищенного взгляда: Она так по-мальчишески задорно откидывала голову, так весело заливалась смехом, показывая все свои зубы — не мелкие, но ровные и крепкие, без единого изъяна. Харниш был убежден, что таких здоровых, ослепительно белых и красивых зубов нет ни у кого, кроме Дид, — недаром он уже много месяцев сравнивал ее зубы с зубами каждой попадавшейся ему на глаза женщины.

Только после того как она перестала смеяться, он снова обрел дар речи.

— Переправа между Сан-Франциско и Оклендом работает из рук вон плохо. Вы пользуетесь ею каждый день, шесть раз в неделю, — значит, двадцать пять раз в месяц, итого: триста раз в год. Сколько времени вы тратите в один конец? Сорок минут. А я вас переправлю в двадцать минут. Вот и вырастут две минуты вместо одной. Скажете, нет? Я вам сберегу двадцать минут в один конец. Это выходит сорок минут в день, тысяча минут в месяц, двенадцать тысяч в год. И это только вам, одному человеку. Давайте подсчитаем. Двенадцать тысяч минут — это ровно двести часов. Вот вы и вообразите себе: если тысячи людей сберегут по двести часов в год… это ведь хорошо, как, по-вашему?

Дид только молча кивнула головой; у нее даже дух захватило от грандиозной затеи Харниша, о

которой он говорил с таким искренним увлечением, что увлек и ее, хотя она не имела ни малейшего представления, как эта затея может осуществиться.

— Погодите, — сказал он. — Взберемся в гору, а когда мы будем наверху, я вам кое-что покажу, и вы все поймете.

По узенькой тропинке они спустились к пересохшему руслу на дне ущелья, миновали его и начали подниматься к вершине. Лошади, скользя и спотыкаясь, с трудом продирались сквозь густые заросли кустарника, покрывавшие крутой склон. Бобу это наконец надоело, и он повернул вспять, сильно толкнув Маб; кобыла боком отскочила в заросли и чуть не упала. Выровнявшись, она всей тяжестью налегла на Боба; ноги обоих седоков оказались зажатыми между лошадьми, и, когда Боб ринулся под гору, Дид едва не вылетела из седла. Харниш одной рукой резко осадил Боба, а другой поддержал Дид. С деревьев на них дождем посыпались сухие ветки и листья. Таких приключений было еще несколько, прежде чем они, запыхавшиеся, но веселые, одолели подъем. Гора, на которую они взобрались, немного выступала вперед от линии хребта, вершина ее была безлесная, поэтому Харниш и Дид могли обозреть почти весь окружающий ландшафт. Вдали, на плоском берегу бухты, виднелся Окленд, по ту сторону бухты — Сан-Франциско; между обоими городами курсировали белые пароходики. Направо лежал Беркли, налево — деревушки, разбросанные между Оклендом и СанЛеандро. А внизу под ними раскинулись фермерские усадьбы и пашни Пиедмонта, волнами спускавшиеся к Окленду.

— Взгляните, — сказал Харниш, вытянув руку и широким жестом обводя окрестность. — Здесь живет сто тысяч людей. А почему бы не жить полумиллиону? Вот где вместо одного человека можно вырастить пятерых. Сейчас я вам все объясню в двух словах. Почему в Окленде не живет больше народу? Потому что плохое сообщение с Сан-Франциско; и кроме того, Окленд спит мертвым сном. А жить в Окленде куда лучше, чем в Сан-Франциско. Вот я и думаю скупить все трамвайные линии Окленда, Беркли, Аламеды, Сан-Леандро и так далее, чтобы у них было одно общее управление, но зато хорошее. Я могу наполовину сократить время, нужное на переправу: построю мол почти до Козьего острова и пущу по заливу настоящие катера вместо этих допотопных посудин. Тогда все захотят жить на этой стороне. Очень хорошо. Людям понадобится земля под стройку. Значит, я первым делом скупаю землю. Сейчас она дешевая. Почему? Да потому, что здесь не город, нет хорошего сообщения, мало трамвайных линий — никто даже не подозревает, что скоро их будет много. Я их проложу. Тогда земля сразу подорожает. Как только люди увидят, что сообщение стало лучше и переправа короче, мои участки пойдут нарасхват.

Земля вздорожает потому, что я проложу трамвайные линии, понимаете? Тогда я продам землю и верну свои деньги. А трамваи будут развозить людей и приносить большой доход. Дело верное. Да разве одно это! Тут миллионами пахнет. Я могу, к примеру, похозяйничать на побережье. Между старым молом и новым, который я построю, — мелководье. Я могу углубить дно и построить гавань, куда будут входить сотни судов. Порт Сан-Франциско забит до отказа, там уже нет места. Если сотни судов смогут грузиться и разгружаться у этого берега, да еще подвести прямо к пристаням три железнодорожные ветки, да пустить по ним товарные составы, тогда начнут строить заводы здесь, а не в Сан-Франциско. А под заводы нужна земля. Значит, мне сейчас надо скупать землю, пока еще никто не знает, когда кошка прыгнет и куда кинется. А на заводы потянутся десятки тысяч рабочих с семьями. Значит, понадобятся дома, под дома — опять-таки участки. А я буду тут как тут: пожалуйста, покупайте у меня землю. Потом десятки тысяч рабочих и их семьи будут ездить на моем трамвае, и каждый день я буду собирать с них десятки тысяч за проезд. Понадобятся новые лавки, банки, всякая всячина. И опять ко мне придут, потому что у меня будет земля под любую стройку. Ну, что вы на это скажете?

Прежде чем она успела ответить, он уже опять заговорил, одержимый мечтой о новом городе, который он мысленно возводил на Аламедских холмах, откуда начинался путь в Азию.

— Знаете, я проверил: Ферт-оф-Клайд — вот где англичане строят броненосцы — наполовину уже, чем наш Оклендский рукав. А у нас только старые калоши стоят. Почему здесь нет таких верфей, как в Ферт-офКлайде? Потому что оклендское городское управление из пустого в порожнее переливает. Тут нужен человек с размахом и нужна организация. Это я могу. Недаром я создал Офир. А завертится колесо — деньги так и хлынут со всех сторон. Мое дело только начать. «Господа, — скажу я, — здесь все, что нужно для большого современного города. Сам Бог так устроил и меня надоумил. Желаете выгружать свой чай и шелка, привезенные из Азии, и прямым сообщением отправлять в Восточные штаты? Пожалуйста, — вот пристани для ваших пароходов, а вот железнодорожный транспорт. Желаете строить заводы, откуда товар можно вывозить по морю и по суше? Вот вам земля и вот вам благоустроенный поселок со всеми удобствами — для вас и для ваших рабочих».

А вода? Почти все водные ресурсы так или иначе окажутся у меня в руках. Так почему бы мне не купить заодно и водопровод? Сейчас в Окленде две компании снабжают город водой. Грызутся между собой, как кошка с собакой, и обе вот-вот лопнут. Большому городу нужно хорошее водоснабжение. А они этого не могут. Сами в луже сидят. Я приберу их к рукам и дам городу настоящий водопровод. Тут капитал можно нажить, за что ни возьмись. Одно другое тянет. Что-нибудь усовершенствуешь, глядишь — все кругом подымется в цене. Цену набивают люди. Чем больше народу соберется в одном месте, тем недвижимость дороже, а здесь самое место для большого стечения народа. Вы только взгляните! Видите? Где же еще быть большому городу, как не здесь? Дело только за народом, а я в два года нагоню сюда сотни тысяч людей. И не подумайте, что это будет какой-нибудь дутый земельный бум. Ничего подобного, все честь по чести. Через двадцать лет на этом берегу уже будет миллион жителей. И вот еще что: нужны гостиницы. Сейчас в Окленде ни одной порядочной гостиницы нет. Я настрою отелей, да таких, что люди только рот разинут. И пусть сначала ни гроша дохода не приносят, зато шику много; а свои денежки я с лихвой верну, выколочу из других предприятий. Ну и, само собой, посажу эвкалипты, миллионы эвкалиптов, по всем этим горам.

— Но каким образом вы рассчитываете это сделать? — спросила Дид. — У вас денег не хватит.

— У меня есть тридцать миллионов, а если понадобится еще, я могу занять подо что-нибудь, хотя бы под недвижимость. Проценты по закладной — пустяки. Ведь земля-то пойдет втридорога, когда я начну продавать ее.

Целый месяц Харниш был занят по горло. Почти все свое время он проводил в Окленде, лишь изредка появляясь в конторе. Он задумал и контору перевести в Окленд, но, как он объяснил Дид, не раньше, чем закончится тайная скупка земель. Каждое воскресенье, взбираясь то на одну, то на другую вершину, они смотрели на город и на окружавшие его фермы, и Харниш показывал Дид, что он успел приобрести за неделю. Сначала это были разбросанные отдельные клочки и участки, но с каждой неделей их становилось все больше, и в конце концов среди владений Харниша остались только редкие островки не принадлежавшей ему земли.

Действовать приходилось быстро и в невиданных масштабах, ибо и в самом Окленде и в его окрестностях уже почуяли, что кто-то прибирает землю к рукам. Но Харниш располагал наличным капиталом, а стремительность удара всегда была его главным козырем. Он многое успел, прежде чем другие дельцы догадались о готовящемся земельном буме. Пока его агенты скупали отдельные участки, даже целые кварталы в деловом центре города и пустыри на окраинах под постройку заводов, он, добившись одним наскоком санкции городского управления, захватил в свои руки обе обанкротившиеся водопроводные компании, все восемь

или девять трамвайных линий и уже подобрался к Оклендскому рукаву и прибрежной полосе земли, где задумал строить порт. Эта прибрежная — полоса уже много лет была предметом тяжбы, и Харниш взял быка за рога

— дал частным владельцам отступного, а остальную землю получил в аренду у отцов города.

Когда в Окленде наконец поняли, что готовится что-то небывалое, оклендцы пробудились от спячки, и все в смятении спрашивали друг друга: что же происходит? К этому времени Харниш успел сделаться тайным владельцем самой крупной республиканской газеты и самой влиятельной демократической газеты Окленда; затем он открыто перекочевал в новое конторское помещение. Его широко разветвленная деятельность требовала простора, и он обосновался в четырехэтажном здании — единственном, по словам Харниша, которое не придется сносить в ближайшем будущем. В этой новой конторе были десятки отделов и сотни клерков и стенографисток.

— У меня здесь, — говорил он Дид, — столько предприятий, что и не счесть: Земельный синдикат Аламеда и Контра-Коста, Объединенный трамвайный трест. Переправа Йерба-Буэна, Водопроводная компания, Пиедмонтский земельный концерн. Акционерное общество отелей Фэрвью и Портола и еще с десяток, названия которых я даже не помню. Потом еще Пиедмонтское прачечное заведение и Редвудская компания каменоломен. Я начал с нашей каменоломни, а кончил тем, что все их купил. Потом судостроительная компания, но для нее я покамест названия не придумал. Мне ведь понадобятся суда для переправы, и я решил, что лучше всего их строить самому. Они как раз поспеют к тому времени, когда готов будет мол. Ух ты! Нет, далеко покеру до такой игры! А заодно и грабителям от меня досталось. Водопроводчики и сейчас еще пищат. Не сладко им пришлось. Правда, их дела и так уже были плохи, но я доконал их.

— За что вы всех так ненавидите? — спросила Дид.

— За то, что они трусливые вонючки.

— А разве вы не ту же игру ведете?

— Да, но по-другому, чем они. — Харниш задумчиво посмотрел на нее.

— Я недаром называю их трусливыми вонючками. Они притворяются, будто они невесть какие азартники, а на самом деле, может, у одного из тысячи хватает духу быть игроком. Сплошной блеф — вот как в покере. Все они обыкновенные зайцы, а корчат из себя свирепых волков. Вечно затевают какой-нибудь подвох, а чуть что неладно — вильнут хвостом и в кусты. Вот вам пример: когда большие тузы захотели отделаться от акций «Литтл Коппер», они послали Джейки Фэллоу на нью-йоркскую биржу. Он пришел туда и кричит: «Беру „Литтл Коппер“ по пятьдесят пять!» А курс был пятьдесят четыре. И в полчаса эти самые зайцы — коекто именует их «финансисты» — взвинтили акции до шестидесяти. А еще через час они юркнули в кусты — выбросили акции по сорок пять и даже по сорок.

Они только подручные крупных воротил. Не успеют они ограбить дураков, как тузы отнимают у них добычу; либо тузы пользуются ими, чтобы грабить друг друга. Вот в последнюю биржевую панику угольный Трест таким манером слопал Чаттанугскую компанию. Трест сам и устроил панику. Он добивался краха нескольких банкирских домов и хотел прижать с десяток конкурентов — ну, он и выпустил биржевых зайцев. Зайцы свое дело сделали, и угольная компания попала в лапы треста. Любой человек, если у него есть смекалка и он не боится рискнуть, может загнать зайцев в кусты. Не то чтобы я их так уж ненавидел, но противны они

мне, потому что трусы.

Глава семнадцатая

На несколько месяцев Харниш с головой ушел в дела. Издержки требовались колоссальные, а доходов не поступало никаких. Недвижимость, правда, поднялась в цене, но в остальном Окленд не откликнулся на бурную деятельность Харниша. Оклендские дельцы выжидали, что же он будет делать дальше. И Харниш не замедлил удовлетворить их любопытство. Для осуществления своих широких планов он нанимал лучших специалистов, каких только можно было достать за деньги. Он всегда считал, что хорошее начало — половина дела, и твердо решил с первых же шагов не допускать ошибок. Руководство постройкой трамвайных линий он поручил Уилкинсону, которого переманил из Чикаго, удвоив его и без того огромное жалованье. День и ночь рабочие артели прокладывали рельсы, день и ночь вбивали сваи в илистое дно бухты Сан-Франциско. Новый мол должен был иметь три мили в длину, и на сваи понадобилось столько дерева, что с горных склонов вокруг Беркли сводили целые рощи старых эвкалиптов.

Трамвайные линии тянули в горы, а в то же время шел обмер окрестных лугов, разбивка их на городские кварталы, намечались места будущих бульваров и парков — все по последнему слову науки. Прокладывали канализационные и водопроводные трубы, широкие ровные улицы мостили щебнем из принадлежащих Харнишу каменоломен, тротуары заливали цементом. Покупателю оставалось только выбрать участок, нанять архитектора и начать строить. Когда открылись пригородные трамвайные линии, окрестности Окленда сразу оживились, и задолго до того, как был закончен мол для переправы, их стали заселять новые домовладельцы. Земельные участки принесли Харнишу огромную прибыль. Чуть ли не в один день силой своих миллионов он сумел превратить сельскую местность в образцовый квартал городских особняков.

Но все деньги, которые текли ему в руки, он немедля вкладывал в другие предприятия. Трамвайных вагонов требовалось так много, что он открыл собственный вагоностроительный завод. И, несмотря на то, что земля сильно вздорожала, он продолжал приобретать участки под строительство фабрик и домов. По совету Уилкинсона он приступил к переделке почти всех ранее действовавших трамвайных путей. Легкие, устаревшего образца рельсы были сняты и заменены новыми, тяжелыми. Он скупал угловые участки на узких улицах и без сожаления отдавал их городу, чтобы можно было срезать углы и трамваи могли свободно мчаться на полной скорости. Кроме того, еще предстояло проложить трамвайную линию до конца мола, с ответвлениями, которые охватят все районы Окленда, Аламеды и Беркли. С таким же размахом планировалась система водоснабжения. Только образцовое обслуживание могло оправдать огромную затрату капитала, вложенного Харнишем в земельную собственность. Он был полон решимости превратить Окленд в такой город, где каждому хотелось бы поселиться. Выстроив несколько больших отелей, он открыл общедоступные парки с аттракционами, а для более изысканной публики — картинные галереи и загородные клубы. Еще до того, как увеличилось население Окленда, городской транспорт стал приносить хороший доход. Харниш был уверен, что риск оправдает себя и что он весьма разумно помещает свой капитал.

— Окленду требуется первоклассный театр, — решил он и, после безуспешных попыток заинтересовать местных капиталистов, сам взялся за это дело: только он один предвидел, что недалеко то время, когда в городе появится двести тысяч новых жителей.

Но как бы он ни был завален делами, воскресные дни он посвящал прогулкам в горы. Однако, вопреки ожиданиям, не зимняя непогода прекратила эти прогулки в обществе Дид. В одну из суббот она сказала ему, чтобы он не рассчитывал встретить ее завтра, а на его настойчивые

вопросы ответила:

— Я продала Маб.

С минуту Харниш не мог выговорить ни слова. Ее поступок допускал так много толкований, что Харниш не знал, как отнестись к нему. Ведь это граничило с изменой. А может, она очутилась без средств? А вдруг она хочет таким способом дать ему понять, что он ей надоел? Или…

— Что случилось? — с трудом выдавил он наконец.

— Я не могу платить сорок пять долларов за тонну сена, — ответила Дид.

— Только потому вы продали Маб? — спросил он, пристально глядя ей в лицо; он отлично помнил ее рассказы о том, как пять лет назад она сумела продержать кобылу всю зиму, хотя сено стоило шестьдесят долларов.

— Нет, не только. Содержание брата тоже обходится теперь дороже, и мне пришлось сделать выбор. Я решила, что раз я не могу прокормить обоих, то лучше отказаться от Маб, чем от брата.

Глубокая печаль охватила Харниша. Он вдруг ощутил гнетущую пустоту. Что же это будет за воскресенье — без Дид? И еще много-много воскресений без нее? Он в полной растерянности барабанил пальцами по столу.

— Кто купил Маб? — спросил он.

Глаза ее вспыхнули, как вспыхивали всегда, когда она сердилась.

— Посмейте только перекупить ее для меня! — вскричала она. — И посмейте отрицать, что именно об этом вы думали.

— Я и не отрицаю. Вы угадали совершенно точно.

Но я бы этого не сделал, не спросив вашего согласия, а теперь, когда я вижу, что вы сердитесь, я и спрашивать не буду. Но вы очень любили свою кобылу, и вам, должно быть, нелегко было расстаться с нею. Очень, очень жалко. А еще хуже, что завтра вы не поедете со мной кататься. Просто не знаю, что я буду с собой делать.

— Я тоже, — с грустью созналась Дид. — Одно хорошо: я наконец займусь шитьем.

— А у меня и шитья нет.

Харниш сказал это шутливо-жалобным тоном, но с тайным ликованием: ведь она созналась, что ей тоже будет скучно. Ради этого можно даже примириться с мыслью о продаже кобылы. Значит, он ей не совсем безразличен, во всяком случае — не противен.

— Я очень просил бы вас еще раз подумать, — негромко сказал он. — Не только из-за Маб, но из-за меня тоже. О деньгах тут и говорить не стоит. Для меня купить вашу кобылу — все равно что для других мужчин послать знакомой даме букет цветов или коробку конфет. А я никогда не посылал вам ни цветов, ни конфет. — Заметив, что у нее опять загораются глаза, он продолжал торопливо, пытаясь предотвратить немедленный отказ: — Я знаю, что мы сделаем. Я куплю кобылу для себя и буду одалживать ее вам, когда вы захотите кататься. Тут ничего такого нет. Всем известно, что кто угодно может взять лошадь у кого угодно.

Он опять прочел на ее лице решительный отказ и опять не дал ей заговорить.

— Мужчины постоянно катаются с дамами в колясках. Что же тут такого? И всегда коляску и лошадь достает мужчина. Какая же разница? Почему я могу завтра пригласить вас покататься со мной и предоставить коляску и лошадь и не могу пригласить вас покататься со мной верхом и предоставить вам лошадь?

Она ничего не ответила, но отрицательно покачала головой и взглянула на дверь, словно давая понять, что пора кончать этот неделовой разговор. Он сделал еще одну попытку:

— Известно ли вам, мисс Мэсон, что, кроме вас, у меня на всем свете нет ни единого друга? Я хочу сказать, настоящего друга — все равно мужчина или женщина, — к которому ты привязан… радуешься, когда он с тобой, и скучаешь, когда его нет. Ближе других мне Хиган, а ведь между нами миллионы миль. Мы с ним только дела вместе делаем, а все прочее — врозь. У него большая библиотека, и он человек образованный. В свободное время он читает какие-то чудные книжки — по-французски, по-немецки и еще невесть на каких языках, а то сам пишет стихи или драмы. Я ни с кем не дружу, кроме вас, и вы сами знаете, часто ли мы с вами бываем вместе, — только по воскресеньям, и то когда нет дождя. Мне без вас трудно будет. Вы стали для меня, как бы это сказать…

— Привычкой, — улыбнувшись, подсказала она.

— Вроде того. Я так и вижу, как вы едете мне навстречу на вашей гнедой кобыле, в тени деревьев или на солнце, по открытому месту… а теперь не будет ни Маб, ни вас… Я всю неделю, бывало, ждал воскресенья. Если бы вы только позволили мне купить ее…

— Нет, нет, ни в коем случае, — нетерпеливо прервала его Дид и повернулась к двери, но на глазах у нее выступили слезы. — Очень прошу вас, не говорите со мной больше о Маб. Если вы думаете, что мне легко было с ней расстаться, то вы сильно ошибаетесь. Но я это сделала и теперь хочу забыть о ней.

Харниш ничего не ответил, и она вышла из комнаты.

Через полчаса перед ним уже сидел Джонс, бывший лифтер и бунтующий пролетарий, которого Харниш когда-то содержал целый год, чтобы открыть ему доступ в литературу. Но усилия Джонса не увенчались успехом: издатели и редакторы отвергли написанный им роман; и с тех пор разочарованный автор состоял на службе в частном детективном агентстве, которое Харнишу пришлось открыть для своих личных нужд. Джонс утверждал, что после знакомства с железнодорожными тарифами на перевозку дров и древесного угля его уже ничто удивить не может; он и сейчас ничем не выдал своего удивления, выслушав приказ Харниша разыскать человека, купившего некую гнедую кобылу.

— Сколько можно заплатить за нее? — спросил он.

— Любую цену. Купите ее во что бы то ни стало.

Поторгуйтесь для вида, чтобы никто не догадался, но купите непременно. И сейчас же отведите ее на мое ранчо в округе Сонома. Вот вам адрес. Сдайте кобылу сторожу да скажите ему, чтобы получше ходил за ней. А потом забудьте про нее. И не говорите мне, у кого вы ее купили. Вообще ничего не говорите, только дайте знать, что вы купили ее и доставили на место. Понятно?

Но не прошло и недели, как Харниш опять увидел сердитый огонек в глазах Дид.

— Чем вы недовольны? Что-нибудь случилось? — спросил он с самым невинным видом.

— Человек, который купил Маб, уже перепродал ее, — ответила Дид. — И если вы к этому причастны…

— Я даже не знаю, кому вы ее продали, — заявил Харниш. — А кроме того, я давно и думать о ней забыл.

Это была ваша кобыла, и меня не касается, что вы с ней сделали. Сейчас у вас ее нет, и это очень жаль. А теперь, раз уж у нас зашел такой разговор, то я хочу сказать вам еще кое-что. И, пожалуйста, не сердитесь, потому что, в сущности, это вас совсем не касается.

Он помолчал; Дид с явным подозрением смотрела на него.

— Речь идет о вашем брате. Вы не можете сделать для него все, что ему нужно. Вы продали кобылу, но этих денег не хватит, чтобы отправить его в Германию. А все врачи говорят, что он должен ехать. Там его вылечит этот сумасшедший немец, который берет человека, делает кашу из его костей и мускулов, а потом опять заново собирает их. Ну, я и хочу отправить вашего брата в Германию, пусть немец себя покажет. Вот и все.

— Ах, если бы это было возможно! — воскликнула она, очень взволнованная и отнюдь не сердясь. — Но этого нельзя, вы сами знаете почему. Не могу я брать у вас деньги…

— Постойте, — прервал ее Харниш. — Если бы вы умирали от жажды, вы согласились бы выпить воды из рук одного из двенадцати апостолов? Или заподозрили бы его в злом умысле? (Дид протестующе подняла руку.) Или побоялись бы сплетен?

— Это совсем другое, — начала она.

— Послушайте, мисс Мэсон. Вы как-то чудно судите о некоторых вещах. Бросьте вы это. Вот хотя бы насчет денег. Ну не смешно ли? Вообразите себе, что вы падаете в пропасть, а я хватаю вас за руку и удерживаю. Дурно это? Конечно, нет. Ну, а если вам нужна другая помощь? Не моя рука, а мой карман? И что же — это дурно? Так все говорят. А почему все так говорят? Потому что грабителям выгодно, чтобы дураки были честные и уважали деньги. Если бы дураки не были честные и не уважали бы деньги, что бы сталось с грабителями? Неужели вы не понимаете? Хватаю я вас за руку, чтобы не дать вам упасть, или нет, — это им наплевать. У них одна хватка — доллары. Пожалуйста, спасай сколько хочешь, только не долларами. Доллары — дело святое, такое святое, что вы боитесь взять их у меня, когда я предлагаю вам помощь. И еще примите во внимание, — продолжал он, чувствуя, что не сумел убедить ее, — вы не отказываетесь от силы моей руки, когда падаете в пропасть. Но если я эту же силу приложу к заступу и за день работы получу два доллара, то вы не дотронетесь до них. А ведь это все та же сила моей руки, только в другом виде. А вообще я вовсе не к вам обращаюсь. И не вам предлагаю деньги взаймы. Хочу удержать вашего брата, чтобы он не упал в пропасть. А вы подскочили ко мне и кричите: «Стой, пусть падает!» Хороша сестра, нечего сказать! Если этот сумасшедший немец может вылечить ногу вашего брата, то я хочу помочь ему, вот и все.

Поглядели бы вы на мою комнату: все стены увешаны уздечками из конского волоса, — там их десятки, больше сотни. Они мне не нужны, а за них плачены большие деньги. Их делают арестанты, а я покупаю. Да я за одну ночь трачу на виски столько, что мог бы на эти деньги пригласить лучших специалистов к десятку таких больных, как ваш брат, и еще оплатить все расходы по лечению. И помните, вас это совершенно не касается. Если ваш брат хочет считать это займом, пожалуйста! Это его дело. А вы потрудитесь отойти в сторонку и не мешать мне.

Но Дид не сдавалась, и он стал выставлять другие доводы, более личного свойства.

— Я догадываюсь, почему вы не хотите, чтобы я помог вашему брату: вам кажется, что я это придумал потому, что ухаживаю за вами. Ничего подобного. С таким же успехом вы можете сказать, что я ухаживаю за арестантами, у которых покупаю уздечки. Я не прошу вас быть моей женой, а если когда-нибудь попрошу, то не стану покупать ваше согласие. И — уж будьте покойны — попрошу напрямик, без уверток.

Дид вся вспыхнула от гнева.

— Если бы вы знали, до чего вы смешны, вы бы давно замолчали! — воскликнула она. — Ни с одним мужчиной я не чувствовала себя так нелепо, как с вами. Вы то и дело напоминаете мне, что не просите меня быть вашей женой. Я этого не жду, я с самого начала предупреждала вас, что у вас нет никаких надежд. А вы постоянно грозитесь, что когда-нибудь, в неопределенном будущем, вы явитесь и предложите мне руку и сердце. Так уж лучше предложите сейчас, я вам отвечу, и дело с концом.

Харниш посмотрел на нее с нескрываемым восхищением.

— Это слишком важно для меня, мисс Мэсон, я боюсь промахнуться, — сказал он с такой комичной серьезностью, что Дид откинула голову и залилась мальчишеским смехом. — Ведь я вам уже говорил, что у меня нет опыта, я еще никогда ни за кем не ухаживал и не хочу делать ошибок.

— Да вы сплошь одни ошибки и делаете! — с горячностью ответила она. — Кто же ухаживает за женщиной, все время, точно дубинкой, грозя ей предложением?

— Больше не буду, — смиренно пообещал он. — Да и не об этом сейчас речь. Все равно то, что я сказал, остается в силе. Вы мешаете мне помочь вашему брату. Что бы вы там ни забрали себе в голову, вы должны посторониться и не мешать. Вы мне позволите навестить его и поговорить с ним? Разговор у нас будет чисто деловой. Я ссужу его деньгами на лечение и взыщу с него проценты.

Дид молчала, но по лицу ее видно было, что она колеблется.

— И не забывайте, мисс Мэсон, что я хочу вылечить его ногу, а не вашу.

Она опять ничего не ответила, и Харниш продолжал уже с большей уверенностью:

— И еще прошу запомнить: к вашему брату я пойду один. Он мужчина, и с глазу на глаз, без бабьих фокусов, мы в два счета договоримся. А пойду я к нему завтра же.

Глава восемнадцатая

Харниш не преувеличивал, когда сказал Дид, что у него нет настоящих друзей. Шапочных знакомых он насчитал бы тысячи, собутыльников и приятелей — сотни, но друга у него не было. Он не сумел найти человека или кружка людей, с которыми мог бы сойтись поближе. Городская жизнь не располагала к дружбе — не то, что снежная тропа на Аляске. Да и люди здесь были другие. Дельцов Харниш ненавидел и презирал, а с политическими боссами Сан-Франциско он сошелся только ради достижения своих целей. Правда, с ними и с их подручными он чувствовал себя свободнее, чем с дельцами: они не лицемерили, не скрывали своей грубости и бесстыдства. Но уважать их он не мог. Слишком они оказались жуликоваты. В этом цивилизованном мире никто не верил человеку на слово, верили только всяким

бумажонкам, да и тут надо было глядеть в оба. Там, на Юконе, дело обстояло не так. Бумажонки хождения не имели. Каждый говорил, сколько у него есть, и никто не сомневался в его слове, даже когда резались в покер.

Ларри Хиган, которому оказались по плечу самые головокружительные планы Харниша и которому в равной степени чужды были и самообольщение и ханжество, мог бы стать закадычным другом своего патрона, но этому мешал его странный нрав. Этот своеобразный гений. Наполеон юриспруденции, обладавший несравненно более богатым воображением, чем сам Харниш, никогда не общался с ним вне стен конторы. Все свободное время он сидел над книгами, а Харниш терпеть не мог книги. Вдобавок Хиган упорно писал пьесу за пьесой, невзирая на то, что ни одна из них так и не увидела свет. Было еще одно обстоятельство, о котором Харниш только смутно догадывался и которое препятствовало их сближению: Хиган был хоть и умеренный, но весьма преданный приверженец гашиша и жил в мире фантастических грез, запершись со своими книгами. Жизни на вольном воздухе он не признавал и слышать о ней не хотел. В пище и питье был воздержан, точно монах, мысль о прогулке внушала ему ужас.

Итак, за неимением лучшего, Харниш проводил время в, компании пьяниц и кутил. С тех пор как прекратились воскресные прогулки с Дид, он все чаще прибегал к такого рода развлечениям. Стену из коктейлей, которой он отгораживал свое сознание, он стал возводить усерднее прежнего. Большой красный автомобиль все чаще покидал гараж, а проезжать Боба, чтобы он не застоялся, было поручено конюху. В первые годы после переселения в Сан-Франциско он позволял себе передышку между двумя финансовыми операциями; теперь-же, когда он осуществлял свой грандиознейший замысел, он не знал и минуты покоя. Не месяц и не два требовалось на то, чтобы с успехом завершить спекуляцию таких масштабов, как спекуляция землей, затеянная Харнишем. Непрерывно приходилось разрешать все новые вопросы, распутывать сложные положения. Изо дня в день, как всегда быстро и решительно управившись с делами, Харниш садился в красную машину и со вздохом облегчения уезжал из конторы, радуясь ожидавшему его двойной крепости мартини. Напивался он редко — слишком сильный был у него организм. Он принадлежал к самой страшной породе алкоголиков — к тем, кто пьет постоянно, сознательно не теряя власти над собой, и поглощает неизмеримо больше спиртного, чем обыкновенный пьяница, время от времени напивающийся до бесчувствия.

Целых шесть недель Харниш виделся с Дид только в конторе и, верный своему правилу, даже не делал попыток заговорить с ней. Но когда наступило седьмое воскресенье, его охватила такая тоска по ней, что он не устоял. День выдался ненастный. Дул сильный юговосточный ветер, потоки дождя то и дело низвергались на город. Образ Дид неотступно преследовал Харниша, он мысленно рисовал себе, как она сидит у окна и шьет какие-нибудь женские финтифлюшки. Когда ему подали в комнату первый утренний коктейль, он не дотронулся до него. Приняв внезапное решение, он разыскал в записной книжке номер телефона Дид и позвонил ей.

Сначала к телефону подошла дочь хозяйки, но уже через минуту в трубке послышался голос, по которому он так сильно стосковался.

— Я только хотел сказать вам, что сейчас приеду, — объявил он. — Неудобно все-таки врываться, даже не предупредив. Вот и все.

— Что-нибудь случилось? — спросила Дид.

— Скажу, когда приеду, — ответил он уклончиво.

Он вышел из машины за два квартала и пешком направился к нарядному трехэтажному дому с гонтовой крышей. Подойдя к двери, он на одну секунду остановился, словно колеблясь, но тут же нажал звонок. Он знал, что поступает вопреки желанию Дид и ставит ее в фальшивое положение: не так-то просто принимать у себя в качестве воскресного гостя мультимиллионера Элама Харниша, имя которого не сходит со столбцов газет. С другой стороны, он был уверен, что, как бы ни отнеслась к его визиту Дид, никаких, по выражению Харниша, «бабьих выкрутасов» не будет.

И в этом смысле ожидания его оправдались.

Она сама открыла дверь, впустила его и протянула ему руку. Войдя в просторную квадратную прихожую, он снял плащ и шляпу, повесил их на вешалку и повернулся к Дид, не зная, куда идти.

— Там занимаются, — объяснила она, указывая на открытую дверь в столовую, откуда доносились громкие молодые голоса; в комнате, как успел заметить Харниш, сидело несколько студентов. — Придется пригласить вас в мою комнату.

Она повела его к другой двери, направо, и он, как вошел, так и застыл на месте, с волнением оглядывая комнату Дид и в то же время изо всех сил стараясь не глядеть. Он так растерялся, что не слышал, как она предложила ему сесть, и не видел ее приглашающего жеста. Здесь, значит, она живет. Непринужденность, с какой она открыла ему доступ в свою комнату, поразила его, хотя ничего другого он от нее и не ждал. Комната была разделена аркой; та половина, где он стоял, видимо, служила гостиной, а вторая половина — спальней. Однако, если не считать дубового туалетного столика, на котором аккуратно были разложены гребни и щетки и стояло множество красивых безделушек, ничто не указывало на то, что это спальня. Харниш решил, что, вероятно, широкий диван, застланный покрывалом цвета блеклой розы и заваленный подушками, и служит ей ложем, хотя диван меньше всего походил на то, что в цивилизованном мире называется кроватью.

Разумеется, в первые минуты крайнего смущения Харниш не разглядел во всех подробностях убранство комнаты. У него только создалось общее впечатление тепла, уюта, красоты. Ковра не было, по полу были разбросаны шкуры койота и волка. Особенно привлекла его внимание украшавшая пианино Сидящая Венера, которая отчетливо выступала на фоне висевшей на стене шкуры кугуара.

Но как ни изумляла Харниша непривычная обстановка комнаты, изумительнее всего ему казалась сама хозяйка. В наружности Дид его всегда пленяла женственность, так ясно ощущавшаяся в линиях ее фигуры, прическе, глазах, голосе, в ее смехе, звонком, словно птичье пение; но здесь, у себя дома, одетая во что-то легкое, мягко облегающее, она была воплощенная женственность. До сих пор он видел ее только в костюмах полумужского покроя и английских блузках, либо в бриджах из рубчатого вельвета, и этот новый для него и неожиданный облик ошеломил его. Она казалась несравненно мягче, податливее, нежней и кротче, чем та Дид, к которой он привык. Она была неотъемлемой частью красоты и покоя, царивших в ее комнате, и так же на месте здесь, как и в более строгой обстановке конторы.

— Садитесь, пожалуйста, — повторила она.

Но Харниш был как изголодавшийся зверь, которому долго отказывали в пище. В безудержном порыве, забыв и думать о долготерпении, отбросив всякую дипломатию, он пошел к цели самым прямым и коротким путем, не отдавая себе отчета, что лучшего пути он и выбрать не мог.

— Послушайте, — проговорил он срывающимся голосом, — режьте меня, но я не стану делать вам предложение в конторе. Вот почему я приехал. Дид Мэсон, я не могу, просто не могу без вас.

Черные глаза Харниша горели, смуглые щеки заливала краска. Он стремительно подошел к Дид и хотел схватить ее в объятия, она невольно вскрикнула от неожиданности и едва успела удержать его за руку.

В противоположность Харнишу она сильно побледнела, словно вся кровь отхлынула у нее от лица, и рука, которая все еще не выпускала его руки, заметно дрожала. Наконец пальцы ее разжались, и Харниш опустил руки. Она чувствовала, что нужно что-то сказать, что-то сделать, как-то сгладить неловкость, но ей решительно ничего не приходило в голову. Смех душил ее; но если в ее желании рассмеяться ему в лицо и было немного от истерики, то в гораздо большей степени это вызывалось комизмом положения. С каждой секундой нелепость разыгравшейся между ними сцены становилась для нее все ощутимей. Дид чувствовала себя так, словно на нее напал разбойник, и она, дрожа от страха, ждала, что он сейчас убьет ее, а потом оказалось, что это обыкновенный прохожий, спрашивающий, который час.

Харниш опомнился первым.

— Ну и дурак Же я, — сказал он. — Если позволите, я сяду. Не бойтесь, мисс Мэсон, я вовсе не такой страшный.

— Я и не боюсь, — с улыбкой ответила она, усаживаясь в кресло; на полу, у ее ног, стояла рабочая корзинка, через край которой свешивалось что-то воздушное, белое, из кружев и батиста. Она посмотрела на него и снова улыбнулась. — Хотя, признаюсь, вы несколько удивили меня.

— Смешно даже, — почти с сожалением вздохнул Харниш. — Вот я здесь, перед вами; силы во мне довольно, чтобы согнуть вас пополам и вязать из вас узлы. Не помню такого случая, когда бы я не настоял на своем, — с людьми ли, с животными, все равно с кем и с чем. И вот, не угодно ли, сижу на этом стуле, слабосильный и смирный, как ягненок. Скрутили вы меня, ничего не скажешь!

Дид тщетно ломала голову в поисках ответа на его рассуждения. Больше всего ее занимал вопрос: чем объяснить, что он так легко оборвал свое страстное признание в любви и пустился философствовать? Откуда у него такая уверенность? Он, видимо, нисколько не сомневается, что добьется ее, и поэтому может позволить себе не спешить и немного порассуждать о любви и о действии, которое она оказывает на влюбленных.

Она заметила, что он знакомым ей движением опустил руку в карман, где у него всегда лежал табак и папиросная бумага.

— Если хотите курить, пожалуйста, — сказала она.

Он резко отдернул руку, как будто накололся на что-то в кармане.

— Нет, я и не думал о куреве. Я думал о вас. Что же человеку делать, если он любит женщину, как не просить ее стать его женой? Именно это я и делаю. Я знаю, что не умею делать предложение по всей форме. Но я, кажется, выражаюсь достаточно ясно. Я очень сильно люблю вас, мисс Мэсон. Вы, можно сказать, у меня из головы не выходите. И я хочу знать только одно: вы-то как? Хотите за меня замуж? Вот и все.

— Лучше бы… лучше бы вы не спрашивали, — тихо сказала она.

— Пожалуй, вам следует кое-что узнать обо мне, раньше, чем вы дадите ответ, — продолжал он, не обращая внимания на то, что она, собственно говоря, уже ответила ему. — Что бы обо мне ни писали, я еще в жизни не ухаживал ни за одной женщиной. Все, что вы читали про меня в газетах и книжках, будто я известный сердцеед, — это сплошное вранье. Там ни одного слова правды нет. Каюсь, в карты я играл лихо и в спиртном себе не отказывал, но с женщинами не связывался. Одна женщина наложила на себя руки, но я не знал, что она без меня жить не может, не то я бы женился на ней — не из любви, а чтобы она не убивала себя. Она была лучше всех там, но я никогда не обнадеживал ее. Рассказываю я вам потому, что вы об этом читали, а я хочу, чтобы вы от меня узнали, как дело было.

— Сердцеед! — фыркнул он. — Я уж вам сознаюсь, мисс Мэсон: ведь я всю жизнь до смерти боялся женщин. Вы первая, которой я не боюсь, вот это самое чудное и есть. Я души в вас не чаю, а бояться — не боюсь. Может, это потому, что вы не такая, как другие. Вы никогда меня не ловили. Сердцеед! Да я, с тех пор как себя помню, только и делал, что бегал от женщин. Счастье мое, что у меня легкие здоровые и что я ни разу не упал.

У меня никогда и в мыслях не было жениться, пока я вас не встретил, да и то не сразу. Вы мне с первого взгляда понравились, но я никак не думал, что до того дойдет, что нужно будет жениться. Я уже ночи не сплю, все думаю о вас, тоска меня заела.

Он умолк и выжидательно посмотрел на нее. Пока он говорил, она достала из корзинки кружево и батист, быть может, с целью овладеть собой и собраться с мыслями. Пользуясь тем, что она усердно шьет, не поднимая головы, Харниш так и впился в нее глазами. Он видел крепкие ловкие руки — руки, которые умели справиться с таким конем, как Боб, печатать на машинке почти с такой же быстротой, с какой человек произносит слова, шить красивые наряды и, конечно, умели играть на пианино, что стоит вон там в углу. Потом взгляд его упал на ее бронзового цвета туфли. Никогда он не думал, что у нее такие маленькие ножки. Он видел на них только ботинки для улицы или сапоги для верховой езды и понятия не имел, какие они на самом деле. Бронзовые туфельки совсем заворожили его, и он глаз не мог оторвать от них.

В дверь постучали, и Дид вышла в прихожую. Харниш невольно подслушал разговор: Дид звали к телефону.

— Попросите его позвонить через десять минут, — сказала она, и это местоимение мужского рода кольнуло Харниша в самое сердце.

Ладно, решил он про себя, кто бы он ни был, Время-не-ждет еще потягается с ним. Это вообще чудо, что такая девушка, как Дид, давным-давно не вышла замуж.

Она вернулась в комнату, улыбнулась ему и снова принялась за шитье. Он опять посмотрел на ее руки, на ножки, опять на руки и подумал, что не много найдется на свете таких стенографисток. Должно быть, это потому, что она не из простой семьи и получила хорошее воспитание. Иначе откуда бы взялась такая обстановка, ее красивые платья и умение носить их?

— Десять минут скоро кончатся, — напомнил он.

— Я не могу быть вашей женой, — сказала она.

— Вы меня не любите? Она отрицательно покачала головой.

— Но я хоть чуточку нравлюсь вам?

Она кивнула в ответ, но при этом насмешливо улыбнулась. Впрочем, в ее насмешке не было презрения. Просто она не могла не видеть комической стороны их разговора.

— Ну что ж, это уже кое-что, — объявил Харниш. — Лиха беда — начало. Ведь и вы мне сперва только нравились, а глядите, что получилось. Помните, вы говорили, что вам не по душе, как я живу? Теперь я живу по-другому. Я уже не просто играю на бирже, а делаю дела, как вы советовали, — выращиваю две минуты, где раньше росла одна, и триста тысяч жителей, где раньше жило всего сто тысяч. А через год, в это время, в горах уже будут расти два миллиона эвкалиптов. Скажите, может, я нравлюсь вам больше, чем чуточку?

Она подняла глаза от работы и посмотрела ему прямо в лицо.

— Вы мне очень нравитесь, но…

Харниш молчал, дожидаясь конца ответа, но она не продолжала, и он заговорил сам:

— Я не из тех, кто много о себе воображает, но могу сказать, не хвастая, что муж из меня выйдет неплохой. Я не любитель пилить и придираться. И я хорошо понимаю, что такая женщина, как вы, любит все делать по-своему. Ну что ж, вы и будете все делать по-своему. Полная воля. Живите, как вам нравится. А уж я для вас… я все вам дам, чего бы вы ни…

— Кроме самого себя, — прервала она почти резко.

Харниш на секунду опешил, но не замедлил ответить:

— Это вы оставьте. Все будет по-честному, без обмана и без фальши. Я свою любовь делить не намерен.

— Вы меня не поняли, — возразила Дид. — Я хочу сказать, что вы не жене будете принадлежать, а тремстам тысячам жителей Окленда, вашим трамвайным линиям и переправам, двум миллионам деревьев на горных склонах… и всему, что с этим связано.

— Уж это моя забота, — сказал он твердо. — Уверяю вас, я всегда буду к вашим услугам…

— Это вам так кажется, но получится подругому. — Она досадливо поморщилась. — Давайте прекратим этот разговор. Мы с вами точно торгуемся: «Сколько дадите?» «Столько-то…» «Мало. Надбавьте немножко», и так далее. Вы мне нравитесь, но недостаточно, чтобы выйти за вас, и никогда вы мне настолько не понравитесь.

— Почему вы так думаете? — спросил он.

— Потому что вы мне нравитесь все меньше и меньше.

Харниш молчал, сраженный ее словами. Лицо его исказилось от боли.

— Ах, ничего вы не понимаете! — воскликнула она почти с отчаянием, теряя самообладание. — Ну как вам объяснить? Вы мне нравитесь, и чем ближе я вас узнаю, тем больше вы мне нравитесь. И в то же время чем ближе я вас узнаю, тем меньше я хочу выйти за вас.

От этих загадочных слов Харниш окончательно растерялся.

— Неужели вы не можете понять? — торопливо продолжала она. — Да мне в сто раз легче было

бы стать женой Элама Харниша с Клондайка, еще давно, когда я впервые увидела его, чем теперь принять ваше предложение.

Он медленно покачал головой.

— Это выше моего разумения. Чем ближе вы узнаете человека и чем больше он вам нравится, тем меньше вы хотите выйти за него замуж. Не знаешь — мил, а узнаешь — постыл, так, что ли?

— Нет, нет! — начала она с жаром, но стук в дверь не дал ей договорить.

— Десять минут кончились, — сказал Харниш.

Когда Дид вышла, его зоркие, как у индейца, глаза быстро обшарили комнату. Он еще сильнее почувствовал, как здесь тепло, уютно, красиво, хотя и не сумел бы объяснить, почему это так. Особенно его пленяла простота убранства — дорогая простота, решил он; вся обстановка, вероятно, осталась после отца, когда он разорился и умер. Он никогда бы не подумал, что голый пол и волчьи шкуры — это так красиво, ни один ковер не сравнится. Он мрачно посмотрел на шкаф, в котором стояли сотни две книг. Книги оставались для него неразрешимой загадкой. Как это можно писать такую уйму, о чем? Писать или читать о чем-нибудь — это совсем не то, что делать, а Харнишу, человеку действия, только действие и было понятно.

Он перевел взгляд с Сидящей Венеры на чайный столик, уставленный очаровательным хрупким фарфором, потом на сверкающий медный чайник и медную жаровню. Такие жаровни были ему знакомы, и он подумал, что Дид, должно быть, на этой вот стряпает ужин для тех студентов, о которых говорил ему Моррисон. На стене висело несколько акварелей, и он решил, что она сама писала их. Он скользнул взглядом по фотографиям лошадей, по репродукциям с картин старых мастеров; пурпурные складки на одной из фигур «Положения во гроб» привлекли его внимание. Но снова и снова глаза его обращались к Венере, стоявшей на пианино. Его бесхитростный, полудикарский ум отказывался понимать, как может порядочная женщина выставлять напоказ, в своей собственной комнате, такую смелую, чтобы не сказать непристойную вещь. Однако он отогнал эту мысль и положился на свою веру в Дид. Раз она так делает, значит, это хорошо. Видимо, того требует культура. У Ларри Хигана, в его заваленной книгами квартире, тоже есть статуэтки и картины в том же роде. Впрочем, Ларри Хиган совсем другой. В его присутствии Харниша всегда коробило от ощущения чего-то болезненного, противоестественного. Дид, напротив, неизменно радовала его своим здоровьем, избытком сил; от нее веяло солнцем, ветром и пылью открытых дорог. Что ж, если такая чистая, цветущая женщина, как она, хочет, чтобы у нее на пианино стояла голая баба, да еще в такой позе, следовательно, это не может быть плохо. Это хорошо, потому что так делает Дид. Все, что бы она ни сделала, хорошо. А кроме того, что он понимает в культуре?

Она вошла в комнату и направилась к своему креслу, а он любовался ее походкой и пожирал глазами бронзовые туфельки.

— Я хочу задать вам несколько вопросов, — начал он сразу, как только она села. — Вы собираетесь замуж за кого-нибудь другого?

Она весело засмеялась и покачала головой.

— Кто-нибудь вам нравится больше меня? Ну, к примеру, тот, что звонил сейчас?

— Никого другого нет. Я никого не знаю, кто бы нравился мне настолько, чтобы выйти за него

замуж. И вообще, мне кажется, я не создана для замужества. Должно быть, работа в конторе оказывает такое действие.

Харниш недоверчиво покачал головой и окинул ее столь выразительным взглядом от волос до носка бронзовой туфельки, что Дид покраснела.

— Сдается мне, что нет на свете другой женщины, которой бы так подходило замужество, как вам. Но ответьте мне еще на один вопрос. Видите ли, мне необходимо точно знать границы моей заявки. Есть кто-нибудь, кто нравится вам так же, как я?

Но Дид крепко держала себя в руках.

— Это уж нечестно, — сказала она. — И если вы неумного подумаете, то сами поймете, что вы делаете как раз то, от чего только что отрекались, — именно пилите меня. Я отказываюсь Отвечать на дальнейшие вопросы. Поговорим о чем-нибудь другом. Как поживает Боб?

Полчаса спустя, возвращаясь под проливным дождем в Окленд по Телеграф-авеню, Харниш закурил и попытался отдать себе отчет: что же, собственно, произошло? К Не так уж плохо, подытожил он, хотя многое ставило его в тупик. И прежде всего ее заявление, что чем больше она его узнает, тем больше он ей нравитсяя и тем меньше она хочет за него замуж. Просто головоломка какая-то!

Она отказала ему, но в ее отказе есть и хорошая сторона. Отвергая его любовь, она отвергла и его тридцать миллионов. Это не пустяк для стенографистки, которая живет на девяносто долларов в месяц и к тому же видела лучшие времена. За деньгами она не гонится, это ясно. Все женщины, которых он знавал, зарились на его миллионы и в придачу к ним готовы были взять и его. А ведь с тех пор, как она поступила к нему на службу, он удвоил свой капитал, нажил еще пятнадцать миллионов. И вот поди ж ты! Если у нее и было когда-нибудь желание стать его женой, то это желание убывало по мере того, как он богател.

— Черт! — пробормотал он. — А вдруг я сорву сотню миллионов на продаже земли, тогда она и говорить со мной не захочет.

Но шутками делу не поможешь. Она задала ему трудную задачу, сказав, что ей куда легче было бы выйти за Элама Харниша, только что явившегося с Клондайка, чем за теперешнего Элама Харниша. Выходит, опять надо стать похожим на того Время-не-ждет, который когда-то приехал с Севера попытать счастья в крупной игре. Но это невозможно. Нельзя повернуть время вспять. Одного желания тут мало, об этом и мечтать нечего. С таким же успехом он мог бы пожелать снова стать ребенком.

И еще одна мысль утешала его, когда он припоминал их разговор. Ему случалось слышать о стенографистках, которые отказывали своему хозяину, и все они немедля уходили с работы. Но Дид даже словом об этом не обмолвилась. Какие бы загадки она ни загадывала, бабьего жеманства за ней не водится. Головы не теряет. Но тут есть и его заслуга, — он тоже не терял голову. Он не навязывался ей в конторе. Правда, он дважды нарушил это правило, но только дважды, и больше этого не делал. Она знает, что ему можно доверять. Но все равно, большинство молодых девушек по глупости не остались бы на службе у человека, которого они отвергли. Дид не чета им. Когда он толком объяснил ей, почему хочет помочь ее брату, она тоже не стала ломаться и позволила ему отправить его в Германию.

— Ну и ну! — заключил он свои рассуждения, выходя из машины у подъезда гостиницы. — Жаль, что я раньше этого не знал, а то бы в первый же день, как она пришла на работу, предложил ей руку и сердце. Послушать ее — в самую точку бы попал. Я, видите ли, нравлюсь

ей все больше и больше, и чем больше ей нравлюсь, тем меньше она хочет выходить за меня! Ну что вы на это скажете? Да она просто пошутила, вот и все.

Глава девятнадцатая

Прошло несколько недель, и снова в дождливый воскресный день Харниш сделал предложение Дид. Как и в первый раз, он крепился до тех пор, пока тоска по ней не овладела им с такой силой, что он кинулся к красному автомобилю и помчался в Беркли. Он остановил машину за несколько кварталов и пешком пошел к ее крыльцу. Но Дид не было дома, о чем сообщила ему дочь хозяйки; подумав немного, она прибавила, что Дид пошла погулять в горы, и даже объяснила, где он скорее всего найдет ее.

Харниш последовал совету девушки и вскоре вышел на окраину, где начинались крутые горные склоны. Воздух был влажный, ветер усиливался, предвещая грозовой дождь. Харниш оглядел поросшее травой подножие горы, но Дид нигде не было видно. Справа от него, по краям и на дне небольшой лощины, густо росли эвкалипты; высокие стройные деревья раскачивались на ветру, громко шумела листва. Но и шум листвы, и скрип, и стоны гнущихся стволов покрывал низкий прерывистый звук, словно дрожала струна гигантской арфы.

Хорошо зная Дид, Харниш не сомневался, что найдет ее именно в этой эвкалиптовой роще, где так неистово бушевала буря. И он не ошибся. Он увидел ее сквозь деревья на открытом всем ветрам гребне противоположного склона.

Если манера Харниша предлагать руку и сердце и отличалась некоторым однообразием, все же ее никак нельзя было назвать банальной. Не искушенный в дипломатии и притворстве, он пошел напролом, не уступая в стремительности самому ветру.

— Я опять с тем же, — сразу начал он, не теряя времени на извинения и приветствия. — Я вас люблю, и я пришел за вами. Ничего вам не поможет, Дид: сдается мне, что я вам нравлюсь, и не просто нравлюсь, а побольше. Посмейте сказать, что нет! Ну, посмейте!

Дид молчала. Он все еще не выпускал ее — руки, которую она протянула ему; и вдруг она почувствовала, что он мягким, но решительным движением привлекает ее к себе. Невольно, на одно мгновение, она поддалась его порыву, потом резко отстранилась, но руки не отняла.

— Вы боитесь меня? — спросил он виновато.

— Нет. — Она грустно улыбнулась. — Не вас я боюсь, а себя.

— Вы мне не ответили, — сказал он, ободренный ее словами.

— Пожалуйста, не спрашивайте. Мы никогда не будем мужем и женой. Не надо об этом говорить.

— А я ручаюсь, что вы не угадали, — сказал он почти весело, ибо даже в самых смелых мечтах не мнил себя так близко к цели. Она любит его, это ясно; ей не противно, что он держит ее руку в своей, не противно, что он стоит так близко от нее.

Она отрицательно покачала головой.

— Нет, это невозможно. Не ручайтесь — проиграете.

Впервые у Харниша мелькнула страшная догадка: не в этом ли причина ее упорного

сопротивления?

— Уж не состоите ли вы с кем-нибудь в тайном браке?

Такой неподдельный ужас прозвучал в его голосе и отразился на лице, что Дид не выдержала и расхохоталась весело и звонко, — казалось, ликующая птичья трель рассыпалась по лесу.

Харниш понял, что сказал глупость, и в досаде на самого себя решил лучше помолчать и заменить слова делом. Поэтому он стал вплотную к Дид, загораживая ее от ветра. Как раз в эту минуту ветер с такой силой налетел «на них и так громко зашумел в верхушках деревьев, что оба подняли головы и прислушались. Листья целыми охапками посыпались на них; как только ветер пронесся, упали первые капли дождя. Харниш посмотрел на Дид, увидел ее лицо, растрепанные ветром волосы, и оттого, что она была так близко и от мучительно острого сознания, что он не в силах отказаться от нее, по телу его прошла дрожь, и дрожь эта передалась Дид, которую он все еще держал за руку. Она вдруг прижалась к нему и положила голову ему на грудь. Снова налетел порыв ветра, осыпая их листьями и брызгами дождя. Дид подняла голову и посмотрела ему в лицо.

— Знаете, — сказала она, — я ночью молилась о вас. Я молилась о том, чтобы вы разорились, чтоб вы все, все потеряли.

Харниш только глаза вытаращил, услышав такое неожиданное и загадочное признание.

— Хоть убей, не понимаю. Я всегда чувствую себя дураком, когда разговариваю с женщинами, но уж это — дальше ехать некуда! Как же можно, чтобы вы желали мне разориться, когда вы меня любите…

— Никогда я вам этого не говорила.

— Но вы не посмели сказать, что не любите. Так вот, посудите: вы меня любите, а сами желаете, чтобы я разорился дотла. Воля ваша, тут что-то не то. Это под стать другой вашей головоломке: мол, чем больше я вам нравлюсь, тем меньше вы хотите за меня замуж. Ну, что ж, придется вам объяснить мне, только и всего.

Он обнял ее и привлек к себе, и на этот раз она не противилась. Голова ее была опущена, он не видел ее лица, но ему показалось, что она плачет. Однако он уже знал цену молчанию и не торопил ее. Дело зашло так далеко, что она должна дать ему точный ответ. Иначе быть не может.

— Я слишком трезвый человек, — заговорила она, подняв на него глаза. — Я и сама не рада. Не будь этого, я могла бы очертя голову сделать глупость и потом всю жизнь каяться. А меня удерживает мой несносный здравый смысл. В том-то и горе мое.

— Вы меня совсем запутали, — сказал Харниш, видя, что она не намерена продолжать. — Нечего сказать — объяснили! Хорош здравый смысл, если вы молитесь, чтобы я поскорей остался на мели. Маленькая женщина, я очень, очень люблю вас и прошу вас быть моей женой. Просто, понятно и без обмана. Ну как, согласны?

Она медленно покачала головой, потом заговорила не то с грустью, не то с досадой, и Харниш почувствовал, что в этой досаде кроется какая-то опасность для него.

— Хорошо, я отвечу вам, отвечу так же просто и ясно, как вы спросили. — Она помолчала, словно не зная, с чего начать. — Вы человек прямодушный и честный. Так вот решайте: хотите

вы, чтобы и я говорила так прямодушно и откровенно, как женщине не полагается говорить? Чтобы я не щадила вас? Призналась в том, в чем признаваться стыдно? Словом, чтобы я позволила себе то, что многие мужчины назвали бы неженским поведением? Хотите?

В знак согласия он только крепче сжал ее плечи.

— Я ничего бы так не желала, как стать вашей женой, но я боюсь. Я с гордостью и смирением думаю о том, что такой человек, как вы, мог полюбить меня. Но вы слишком богаты. Вот против чего восстает мой несносный здравый смысл. Даже если бы я вышла за вас, вы никогда не стали бы для меня мужем, возлюбленным, никогда не принадлежали бы мне. Вы принадлежали бы своему богатству. Я знаю, что это глупо, но я хочу, чтобы муж был мой, и только мой. А вы собой не располагаете. Богатство владеет вами, оно поглощает ваше время, ваши мысли, энергию, силы. Вы идете туда, куда оно вас посылает, делаете то, что оно вам велит. Разве не так? Быть может, это чистейший вздор, но мне кажется, что я способна любить очень сильно, отдать всю себя и в обмен я хочу получать если не все, то очень много, — гораздо больше, чем ваше богатство позволит вам уделить мне.

А кроме того, ваше богатство губит вас. Вы становитесь все хуже и хуже. Мне не стыдно признаться вам, что я вас люблю, потому что я никогда не буду вашей женой. Я уже тогда любила вас, когда совсем вас не знала, когда вы только что приехали с Аляски и я в первый раз пришла в контору. Вы были моим героем. Вы были для меня Время-не-ждет золотых приисков, отважный путешественник и золотоискатель. И вы были таким — стоило только взглянуть на вас. Мне кажется, ни одна женщина, увидев вас, не могла бы устоять перед вами тогда. Но теперь вы уже не тот.

Простите меня, не сердитесь, — я знаю, что вам больно это слушать. Но вы сами требовали прямого ответа, и я отвечаю вам. Все последние годы вы вели противоестественный образ жизни. Вы привыкли жить среди природы, а закупорили себя в городе и переняли все городские привычки. Вы уже совсем не тот, что были когда-то, и это потому, что ваше богатство губит вас. Вы становитесь другим каким-то, в вас уже меньше здоровья, чистоты, обаяния. В этом повинны ваши деньги и ваш образ жизни. Вы сами знаете — у вас и наружность изменилась. Вы полнеете, но это нездоровая полнота. Со мной вы добры и ласковы, это верно; но когда-то вы были добры и ласковы со всеми, а теперь этого нет. Вы стали черствым и жестоким. Я хорошо это знаю. Не забудьте, я месяц за месяцем, год за годом вижу вас шесть дней в неделю. И я больше знаю о малейших ваших черточках, чем вы вообще знаете обо мне. Жестокость не только в вашем сердце и в мыслях — она видна на вашем лице. Это она проложила на нем морщины. Я видела, как они появились, как становились все глубже. Виной тому ваше богатство и та жизнь, которую оно заставляет вас вести. Вы огрубели, опустились. И чем дальше, тем будет все хуже и хуже, пока вы не погибнете безвозвратно…

Он попытался прервать ее, но она остановила его и продолжала говорить, задыхаясь, дрожащим голосом:

— Нет, нет, дайте мне досказать до конца. Все последние месяцы, с тех самых пор, когда мы стали вместе ездить верхом, я все думаю, думаю, думаю — и теперь, раз уж я заговорила, я выскажу вам все, что у меня на душе. Я люблю вас, но я не могу выйти за вас и погубить свою любовь. Вы постепенно превращаетесь в человека, которого в конечном счете я вынуждена буду презирать. Вы бессильны изменить это. Как бы вы ни любили меня, свою игру в бизнес вы любите больше. Этот ваш бизнес, который, в сущности, совсем вам не нужен, безраздельно владеет вами. Я иногда думаю, что мне легче было бы делить вас с другой женщиной, чем с вашим бизнесом. Тогда хоть половина принадлежала бы мне. Но бизнес потребует не половину, а девять десятых или девяносто девять сотых.

Поймите, для меня смысл замужества не в том, чтобы тратить деньги мужа. Мне нужны не его деньги, а он сам. Вы говорите, что я нужна вам. Допустим, я согласилась бы выйти за вас, но только на одну сотую принадлежала бы вам. А девяносто девять сотых принадлежали бы чему-то другому в моей жизни, и вдобавок я бы от этого растолстела, под глазами появились бы мешки, у висков — морщины, и весь облик, и внешний и внутренний, утратил бы всякую привлекательность. Согласились бы вы, чтобы я принадлежала вам на одну сотую? А вы только одну сотую себя и предлагаете мне. Почему же вас удивляет, что я не хочу, не могу быть вашей женой?

Харниш молчал, не зная, все ли она высказала; и Дид опять заговорила:

— Не думайте, что это эгоизм с моей стороны. В конце концов любить

— это значит отдавать, а не получать. Но я слишком ясно вижу, что, сколько бы я ни отдавала вам, пользы от этого не будет никакой. Вас словно гложет какой-то недуг. Вы и бизнесом занимаетесь не как другие. Вы предаетесь ему сердцем, душой, всем своим существом. Вопреки вашему желанию, вопреки вашей воле жена для вас была бы только мимолетным развлечением. Вспомните, как вы восхищались Бобом. А сейчас этот великолепный конь томится в конюшне. Вы купите мне роскошный особняк и бросите меня там. А я буду либо зевать до одурения, либо слезами обливаться оттого, что не могу, не умею спасти вас. Вы одержимы своей игрой в бизнес, и эта болезнь будет неуклонно точить вас, разъедать, как ржавчина. Вы играете в бизнес с таким же азартом, с каким вы делаете все. На Аляске вы точно так же играли в трудную жизнь снежной тропы. Вы во всем хотели быть первым: никто не смел ездить с такой быстротой, забираться так далеко, как вы, никто, кроме вас, не мог выдержать столь тяжкого труда и суровых лишений. Вы отдаетесь весь до конца, вкладываете все без остатка во всякое дело…

— Играю без лимит, — мрачно подтвердил он.

— И если бы вы так же могли играть в любовь…

Голос у нее дрогнул, она опустила глаза под его взглядом, и краска залила ее мокрые от слез щеки.

— Больше я не скажу ни слова, — помолчав, заключила она. — Я и так прочла вам целую проповедь.

Они стояли обнявшись, не замечая влажного порывистого ветра, налетавшего все чаще и стремительнее, и Дид, уже не скрываясь и не борясь с собой, доверчиво прижималась к его плечу. Ливня все еще не было. Харниш в полном смятении молчал. Наконец он заговорил нерешительно:

— Даже и не знаю, что сказать. Ум за разум заходит. Брожу, как в потемках. Мисс Мэсон… нет — Дид, я люблю ваше имя… я признаю, что вы попали в самую точку. Стало быть, я так понимаю: если бы я остался без гроша и не толстел, вы бы вышли за меня. Нет, нет, я не шучу. Я просто добираюсь до сути, вытаскиваю ее и говорю, как оно есть. Значит, если бы у меня не было ни гроша и я жил бы здоровой жизнью и мог бы сколько душе угодно любить вас и нежить, вместо того чтобы по уши залезать в дела и все прочее, вы бы вышли за меня.

Это ясно, как дважды два четыре. Ваша правда, только мне это никогда в голову не приходило. Ничего не скажешь — глаза вы мне открыли. Но где же выход? Как мне теперь быть? Вы верно сказали: бизнес заарканил меня, повалил и клеймо поставил; я связан по рукам и ногам, где уж мне пастись на зеленой лужайке. Вы знаете про охотника, который поймал медведя за

хвост? Вот и я так. Мне нельзя его выпустить… а я хочу жениться на вас; а чтобы жениться на вас, я должен выпустить хвост медведя.

Ума не приложу, что делать, но как-нибудь это устроится. Я не могу отказаться от вас. Просто не могу, и все тут. И ни за что не откажусь! Вы уже сейчас нагоняете мой бизнес, того и гляди выйдете на первое место. Никогда не бывало, чтобы из-за бизнеса я ночи не спал.

Вы приперли меня к стене. Я и сам знаю, что не таким я вернулся с Аляски. Мне бы сейчас не под силу бежать по тропе за упряжкой собак. Мышцы у меня стали мягкие, а сердце — жесткое. Когда-то я уважал людей. Теперь я их презираю. Я всю жизнь жил на вольном воздухе, и, надо думать, такая жизнь как раз по мне. Знаете, в деревушке Глен Эллен у меня есть ранчо, маленькое, но такое красивое — просто загляденье. Это там же, где кирпичный завод, который мне подсунули. Вы, наверное, помните мои письма. Только увидел я это ранчо, прямо влюбился в него и тут же купил. Я катался верхом по горам без всякого дела и радовался, как школьник, сбежавший с уроков. Живи я в деревне, я был бы другим человеком. Город мне не на пользу, это вы верно сказали. Сам знаю. Ну, а если Бог услышит вашу молитву и я вылечу в трубу и буду жить поденной работой?

Она ничего не ответила, только крепче прижалась к нему.

— Если я все потеряю, останусь с одним моим ранчо и буду там кур разводить, как-нибудь перебиваться… вы пойдете за меня, Дид?

— И мы никогда бы не расставались? — воскликнула она.

— Совсем никогда — не выйдет, — предупредил он. — Мне и пахать придется и в город за припасами ездить.

— Зато конторы уж наверняка не будет, и люди не будут ходить к вам с утра до вечера… но все это глупости, ничего этого быть не может, и надо поторапливаться: сейчас дождь польет.

И тут-то, прежде чем они стали спускаться в лощину, была такая минута, когда Харниш мог бы под сенью деревьев прижать ее к груди и поцеловать. Но его осаждали новые мысли, вызванные словами Дид, и он не воспользовался представившимся случаем. Он только взял ее под руку и помог ей пройти по неровной каменистой тропинке.

— А хорошо там, в Глен Эллен, красиво, — задумчиво проговорил он.

— Хотелось бы мне, чтобы вы посмотрели.

Когда роща кончилась, он сказал, что, может быть, им лучше расстаться здесь.

— Вас тут знают, еще сплетни пойдут.

Но она настояла на том, чтобы он проводил ее до самого дома.

— Я не прошу вас зайти, — сказала она, остановившись у крыльца и протягивая ему руку.

Ветер по-прежнему со свистом налетал на них, но дождя все не было.

— Знаете, — сказал Харниш, — скажу вам прямо, что нынче — самый счастливый день в моей жизни. — Он снял шляпу, и ветер взъерошил его черные волосы. — И я благодарю Бога, — добавил он проникновенно, — или уж не знаю, кого там надо благодарить… за то, что вы

живете на свете. Потому что вы меня любите. Большая радость — услышать это от вас. Я… — Он не договорил, и на лице его появилось столь знакомое Дид выражение задора и упрямства. — Дид, — прошептал он, — мы должны пожениться. Другого выхода нет. И положись на счастье — все будет хорошо.

Но слезы опять выступили у нее на глазах, и, покачав головой, она повернулась и стала подниматься по ступенькам крыльца.

Глава двадцатая

Когда открылось новое сообщение между Оклендом и Сан-Франциско и оказалось, что на переправу требуется вдвое меньше времени, чем раньше, огромные суммы, затраченные Харнишем, стали притекать обратно. Впрочем, деньги у него не залеживались — он немедленно вкладывал их в новые предприятия. Тысячи участков раскупались под особняки, возводились тысячи домов. Хорошо сбывались участки и под заводы на окраине и под торговые постройки в центре города. Все это привело к тому, что необъятные владения Харниша стали неуклонно подниматься в цене. Но, как некогда на Клондайке, он упорно следовал своему чутью и шел на еще больший риск. Он уже раньше брал ссуды в банках. На баснословные прибыли, которые приносила ему продажа участков, он увеличивал свою земельную собственность и затевал новые предприятия; и вместо того чтобы погашать старые ссуды, он еще больше залезал в долги. Так же как в Доусоне, он и в Окленде громоздил издержки на издержки, с тою, однако, разницей, что здесь он знал, что это солидное капиталовложение, а не просто крупная ставка на непрочные богатства россыпного прииска.

Другие, более мелкие дельцы, идя по его стопам, тоже покупали и перепродавали земельные участки, извлекая прибыль из его работ по благоустройству города. Но Харниш это предвидел и без злобы взирал на то, как они за его счет сколачивали себе скромные состояния — за одним только исключением. Некий Саймон Долливер, располагавший достаточным капиталом, человек изворотливый и не трусливый, явно задался целью за счет Харниша нажить несколько миллионов. Долливер умел рисковать не хуже Харниша, действуя быстро и без промаха, снова и снова пуская деньги в оборот. Харниш то и дело натыкался на Долливера, как Гугенхаммеры натыкались на Харниша, когда их внимание привлек ручей Офир.

Строительство гавани подвигалось быстро; но это предприятие поглощало громадные средства и не могло быть закончено в такой короткий срок, как новый мол для переправы. Было много технических трудностей, углубление морского дна и земляные работы требовали поистине циклопических усилий. На одни сваи пришлось затратить целое состояние. Каждая свая, доставленная на строительство, стоила в среднем двадцать долларов, и забивали их тысячами. На сваи пошли все окрестные рощи старых эвкалиптов, и, кроме того, приводили на буксире большие сосновые плоты из Пыоджет-Саунда.

Сначала Харниш, по старинке, снабжал свой трамвайный транспорт электрической энергией, вырабатываемой на городских силовых станциях, но этого ему показалось мало, и он учредил Электрическую компанию Сиерра и Сальвадор — предприятие огромного масштаба. За долиной Сан-Хоакин, по холмам КонтраКоста, было расположено много поселков и даже один городок покрупнее, которые нуждались в электрической энергии для промышленных целей и для освещения улиц и жилищ. Таким образом, для компании открылось широкое поле деятельности. Как только покупка земли под электростанции была в срочном порядке узаконена местными властями, начались съемки и строительные работы.

Так оно и шло. Деньги Харниша непрерывным потоком текли в тысячу ненасытных утроб. Но это было вполне разумное и к тому же полезное помещение капитала, и Харниш, завзятый

игрок, прозорливый и расчетливый, смело шел на необходимый риск. В этой азартнейшей игре у него были все шансы на выигрыш, и он не мог не увеличивать ставку. Его единственный друг и советчик, Ларри Хиган, тоже не призывал к осторожности. Напротив, Харнишу зачастую приходилось удерживать в границах необузданное воображение своего отравленного гашишем поверенного. Харниш не только брал крупные ссуды в банках и трестах, дело дошло до того, что он скрепя сердце выпустил акции некоторых своих предприятий. Однако большинство учрежденных им крупных компаний осталось полностью в его руках. В числе компаний, куда он открыл доступ чужому капиталу, были: Компания гавани Золотых ворот. Компания городских парков. Объединенная водопроводная компания, Судостроительная компания и Электрическая компания Сиерра и Сальвадор. Но даже и в этих предприятиях Харниш — один или в доле с Хиганом — оставлял за собой контрольный пакет акций.

О Дид он, казалось, и думать забыл, но это только так казалось. Его, напротив, все сильнее тянуло к ней, хоть он и отложил на время все попытки найти выход из тупика. Он говорил себе, пользуясь своим любимым сравнением, что по прихоти Счастья ему выпала самая лучшая карта из всей колоды, а он годами не замечал ее. Карта эта — любовь, и она бьет любую другую. Любовь — наивысший козырь, пятый туз, джокер; сильней этой карты нет ничего, и он все поставит на нее, когда начнется игра. Как она начнется, он еще не знал. Сперва ему предстояло так или иначе закончить финансовую игру, которую он вел сейчас.

И все же, как он ни гнал от себя воспоминания, он не мог забыть бронзовых туфелек, мягко облегающего платья, женственной теплоты и кротости, с какой Дид принимала его в своей уютной комнате. Еще раз, в такой же дождливый воскресный день, предупредив ее по телефону, он поехал в Беркли. И, как это бывает всегда, с тех самых пор, когда мужчина впервые взглянул на женщину и увидел, что она хороша, снова произошел поединок между слепой силой мужской страсти и тайным желанием женщины уступить. Не в привычках Харниша было просить и вымаливать, властность натуры сказывалась во всем, что бы он ни делал; но Дид куда легче было бы устоять перед униженными мольбами, чем перед его забавной напористостью. Свидание кончилось нерадостно: Дид, доведенная до отчаяния внутренней борьбой, готовая сдаться и презирая себя за эту готовность, крикнула в запальчивости:

— Вы уговариваете меня пойти на риск: стать вашей женой и положиться на счастье — будь что будет! Жизнь, по-вашему, азартная игра. Отлично, давайте сыграем. Возьмите монету и подбросьте ее. Выпадет орел, я выйду за вас. А если решка, то вы оставите меня в покое и никогда больше не заикнетесь о нашей женитьбе.

Глаза Харниша загорелись любовью и игорным азартом. Рука невольно потянулась к карману за монетой. Но он тотчас спохватился, и взгляд его затуманился.

— Ну, что же вы? — резко сказала она. — Скорей, не то я могу передумать, и вы упустите случай.

— Маленькая женщина, — заговорил он проникновенно и торжественно, и хотя слова его звучали шутливо, он и не думал шутить. — Я могу играть от сотворения мира до Страшного суда; могу поставить золотую арфу против ангельского сияния, бросать кости в преддверье святого града; метать банк у его жемчужных ворот; но будь я проклят во веки веков, если стану играть любовью. Любовь для меня слишком крупная ставка, я не могу идти на такой риск. Любовь должна быть верным делом; и наша любовь — дело верное. Будь у меня хоть сто шансов против одного, все равно на это я не пойду.

Весной того года разразился кризис. Первым предвестником его явилось требование банков

возвратить ссуды, не имеющие достаточного обеспечения. Харниш поспешил оплатить несколько предъявленных ему долговых обязательств, но очень скоро догадался, куда ветер дует, и понял, что над Соединенными Штатами вот-вот понесется одна из тех страшных финансовых бурь, о которых он знал понаслышке. Какой ужасающей силы окажется именно эта буря, он не предвидел, но тем не менее принял все доступные ему меры предосторожности и ничуть не сомневался, что устоит на ногах.

С деньгами становилось туго. После краха нескольких крупнейших банкирских домов в Восточных штатах положение настолько ухудшилось, что по всей стране не осталось ни единого банка, который не потребовал бы возврата выданных ссуд. Харниш очутился на мели, и очутился потому, что впервые в жизни решил стать солидным финансистом. В былые дни такая паника с катастрофическим падением ценных бумаг означала бы для него золотую пору жатвы. А сейчас он вынужден был смотреть со стороны, как биржевые спекулянты, воспользовавшись волной ажиотажа и обеспечив себя на время кризиса, теперь либо прятались в кусты, либо готовились собрать двойной урожай. Харнишу оставалось только не падать духом и стараться выдержать бурю.

Картина была ему ясна. Когда банки потребовали от него уплаты долгов, он знал, что они сильно нуждаются в деньгах. Но он нуждался в деньгах еще сильнее. И он также знал, что банкам мало пользы от ценных бумаг, которые лежали на его онкольном счету. При таком падении курсов продажа этих бумаг ничего бы не дала. Акции, положенные Харнишем в банки в обеспечение взятых им ссуд, никому не внушали тревоги; это было вполне надежное, прочное обеспечение; но оно не имело никакой цены в такое время, когда все в один голос кричали: денег, денег, наличных денег! Натолкнувшись на упорное противодействие Харниша, банки потребовали дополнительного обеспечения, и по мере того как нехватка наличных денег становилась все ощутимее, они начинали требовать вдвое и втрое больше того, на что соглашались раньше. Иногда Харниш удовлетворял их требования, но это случалось редко и то лишь после ожесточенного боя.

Он точно сражался под прикрытием обваливающейся стены, вместо щита пользуясь глиной. Вся стена была под угрозой, и он только и делал, что замазывал самые уязвимые места. Глиной ему служили деньги, и он то там, то сям залеплял новые трещины, но лишь в тех случаях, когда иного выхода не было. Его главными опорными пунктами оказались Компания Йерба Буэна, Трамвайный трест и Объединенная водопроводная компания, никто теперь не покупал землю под жилые дома, заводы и торговые помещения, но люди не могли не ездить на его трамвае, не переправляться через бухту на его катерах, не потреблять его воду. Между тем как весь финансовый мир задыхался от нехватки денег, в первый день каждого месяца в мошну Харниша текли тысячи долларов, взимаемые с населения за воду, и каждый день приносил ему десять тысяч долларов, собранных по грошам за проезд на трамвае и за пользование переправой.

Наличные деньги — вот что требовалось постоянно; и если бы Харниш мог располагать всей своей наличностью, он не знал бы забот. Но беда была в том, что ему непрерывно приходилось драться за нее. Всякие работы по благоустройства прекратились, производили только самый необходимый ремонт. Особенно ожесточенно воевал Харниш с накладными расходами, цепляясь буквально за каждый цент. Издержки безжалостно урезались — начиная от смет на поставку материалов, жалованья служащим и кончая расходом канцелярских принадлежностей и почтовых марок. Когда директора его предприятий и заведующие отделами совершали чудеса бережливости, он одобрительно хлопал их по плечу и требовал новых чудес. Когда же у них опускались руки, он поучал их, как можно достигнуть большего.

— Я плачу вам восемь тысяч долларов в год, — сказал он Мэтьюсону.

— Такого жалованья вы в жизни не получали. Мы с вами одной веревочкой связаны. Вы должны взять на себя часть риска и кое-чем поступиться. В городе у вас есть кредит. Пользуйтесь им. Гоните в шею мясника, булочника и прочих. Понятно? Вы получаете ежемесячно что-то около шестисот шестидесяти долларов. Эти деньги мне нужны. С сегодняшнего числа вы будете забирать все в долг, а получать только сто долларов. Как только окончится эта заваруха, я все верну вам и заплачу проценты.

Две недели спустя, сидя с Мэтьюсоном над платежной ведомостью, Харниш заявил:

— Кто этот бухгалтер Роджерс? Ваш племянник? Так я и думал. Он получает восемьдесят пять долларов в месяц. Теперь будет получать тридцать пять. Остальные пятьдесят я верну ему с процентами.

— Это немыслимо! — возмутился Мэтьюсон. — Он и так не может свести концы с концами, у него жена и двое детей…

Харниш яростно выругался.

— Немыслимо! Не может! Что у меня — приют для слабоумных? Вы что думаете — я стану кормить, одевать и вытирать носы всяким сопливым кретинам, которые не могут сами о себе позаботиться? И не воображайте. Я верчусь как белка в колесе, и пусть все, кто у меня работает, тоже малость повертятся. Очень мне нужны этакие пугливые пташки — капли дождя боятся. Сейчас у нас погода скверная, хуже некуда, и нечего хныкать. Я же вот не хнычу. В Окленде десять тысяч безработных, а в Сан-Франциско — шестьдесят тысяч. Ваш племянник и все, кто у вас тут в списке, сделают по-моему, а не желают, могут получить расчет. Понятно? Если кому-нибудь придется совсем туго, вы самолично обойдете лавочников и поручитесь за моих служащих. А платежную ведомость извольте урезать. Я достаточно долго содержал тысячи людей, могут месяц-другой и без меня прожить.

— По-вашему, этот фильтр надо заменить новым? — говорил он управляющему водопроводной сетью. — И так обойдутся. Пусть оклендцы раз в жизни попьют грязную водицу: Лучше будут понимать, что такое хорошая вода. Немедля приостановите работы. Прекратите выплату жалованья рабочим. Отмените все заказы на материалы. Подрядчики подадут в суд? Пусть подают, черт с ними! Раньше чем суд вынесет решение, мы либо вылетим в трубу, либо будем плавать деньгах.

— Отмените ночной катер, — заявил он Уилкинсону. — Ничего, пусть пассажиры скандалят — пораньше к жене будут возвращаться. И последний трамвай на линии Двадцать Вторая — Гастингс не нужен. Как люди попадут на катер, который отходит в двенадцать сорок пять? Наплевать, я не могу пускать трамвай ради двух-трех пассажиров. Пусть идут пешком или едут домой предыдущим катером. Сейчас не время заниматься благотворительностью. И заодно подсократите еще малость число трамваев в часы пик. Пусть едут стоя. Пассажиров от этого меньше не станет, в них-то все наше спасение.

— Вы говорите, этого нельзя, того нельзя, — сказал он другому управляющему, восставшему против его свирепой экономии. — Я вам покажу, что можно и чего нельзя. Вы будете вынуждены уйти? Пожалуйста, я вас не держу. Не имею привычки цепляться за своих служащих. А если кто-нибудь думает, что мне без него не обойтись, то я могу сию минуту вразумить его и дать ему расчет.

И так он воевал, подстегивая, запугивая, даже улещая. С раннего утра до позднего вечера шли беспрерывные бои. Целый день в его кабинете была толчея. Все управляющие приходили к

нему, или он сам вызывал их. Одного он утешал тем, что кризис вот-вот кончится, другому рассказывал анекдот, с третьим вел серьезный деловой разговор, четвертого распекал за неповиновение. А сменить его было некому. Он один мог выдержать такую бешеную гонку. И так это шло изо дня в день, а вокруг него весь деловой мир сотрясался, и крах следовал за крахом.

— Ничего, друг, ничего, выкрутимся, — каждое утро говорил он Хигану; и весь день он этими словами подбадривал себя и других, за исключением тех часов, когда он, стиснув зубы, силился подчинить своей воле людей и события.

В восемь часов он уже сидел за письменным столом. В десять ему подавали машину, и начинался ежедневный объезд банков. Почти всегда он прихватывал с собой десять тысяч долларов, а то и больше, полученные накануне за пользование трамваем и катерами переправы, — этими деньгами он затыкал самые опасные бреши своей финансовой дамбы. Между Харнишем и каждым директором банка по очереди разыгрывалась приблизительно одна и та же сцена. Директора дрожали от страха, и Харниш прежде всего напускал на себя несокрушимый оптимизм. Горизонт проясняется. Верно, верно, никаких сомнений. Это чувствуется по всему, нужно только немного потерпеть и не сдаваться. Вот и все. На Востоке уже наблюдается некоторое оживление. Достаточно посмотреть на сделки Уолл-стрита за истекшие сутки. Сразу видно, что ветер переменился. Разве не сказал Райан то-то и то-то? И разве не стало известно, что Морган готовится к тому-то и тому-то?

А что до него, так ведь трамвай с каждым днем приносит все больше дохода. Вопреки тяжелым временам население города увеличивается. Даже появился спрос на недвижимость. Он уже закинул удочку: думает продать кое-какую мелочь — с тысячу акров в пригородах Окленда. Разумеется, убытка не миновать, зато всем немного легче станет, а главное — трусы приободрятся. Ведь от трусов все и пошло; без них никакой паники бы не было. Вот только что один из восточных синдикатов запросил его, не продаст ли он контрольный пакет Электрической компании Сиерры и Сальвадора. Значит, уже чуют, что подходят лучшие времена.

Если директора банков не поддавались на оптимистический тон и, начав с просьб и уговоров, теряли терпение и пускали в ход угрозы, Харниш отвечал им тем же. Пугать он умел не хуже их. Когда ему отказывали в отсрочке, он уже не просил, а требовал ее. А когда они, отбросив всякую видимость дружелюбия, вступали с ним в открытый бой, он задавал им такую баню, что они только отдувались.

Но он знал также, где и когда надо уступать. Если часть стены шаталась слишком сильно и грозила обвалиться, он подпирал ее наличностью, которую черпал из своих трех доходных предприятий. Судьба банков — его судьба. Во что бы то ни стало они должны выдержать. Если банки лопнут и все его акции с онкольного счета будут выброшены на рынок, где царит полный хаос, он пропал. И чем дольше продолжался кризис, тем чаще Харниш увозил в красном автомобиле, помимо наличных денег, самое ценное свое обеспечение — акции все тех же компаний. Но расставался он с ними неохотно и только в случае крайней нужды.

Когда директор Коммерческого банка «СанАнтонио» указал Харнишу, что у банка и так много клиентов, не возвращающих ссуды, Харниш возразил:

— Это все мелкая рыбешка. Пусть разоряются.

Гвоздь вашего дела — я. С меня вы возьмите больше, чем с них. Конечно, вы не можете давать отсрочку всем. Надо давать с разбором. Вот и все. Ясно: либо они выживут, либо вы. Со мной

вы ничего не сделаете. Вы можете прижать меня — и только. Но тогда вам самим несдобровать. У вас один выход: выбросить вон рыбешку, и я помогу вам это сделать.

Заодно, пользуясь анархией в мире бизнеса, Харниш приложил руку к окончательному разорению своего соперника Саймона Долливера; собрав все нужные сведения о состоянии его дел, он отправился к директору Национального банка Золотых ворот, главной опоры финансовой мощи Долливера, и заявил ему:

— Мне уже случалось выручать вас. Теперь вы сели на мель, а Долливер ездит на вас, да и на мне тоже. Так дальше не пойдет. Я вам говорю: не пойдет. Долливер и десяти долларов не наскребет, чтобы поддержать вас. Пошлите его ко всем чертям. А я вот что сделаю: уступлю вам трамвайную выручку за четыре дня — сорок тысяч наличными. А шестого числа получите еще двадцать тысяч от Водопроводной компании.

— Он пожал плечами. — Вот мои условия. Не хотите — не надо.

— Такой уж закон: кто кого съест; и я своего упускать не намерен,

— сказал он Хигану, вернувшись в контору. И Саймон Долливер разделил горькую участь всех дельцов, которых паника застала с грудой бумаг, но без денег.

Харниш проявлял поразительную изобретательность. Ничто, ни крупное, ни мелкое, не укрывалось от его зорких глаз. Работал он как каторжный, даже завтракать не ходил; дня не хватало, и в часы перерыва его кабинет так же был битком набит людьми, как и в часы занятий. К закрытию конторы, измученный и одуревший, он едва мог дождаться той минуты, когда опьянение воздвигнет стену между ним и его сознанием. Машина кратчайшим путем мчалась к гостинице, и, не медля ни секунды, он поднимался в свой номер, куда ему тотчас же подавали первый, но отнюдь не последний стакан мартини. К обеду в голове у него уже стоял туман, и кризиса как не бывало. При помощи шотландского виски к концу вечера он был готов: не шумел, не буянил, даже не впадал в отупение, — он просто терял чувствительность, словно под воздействием легкого и приятного анестезирующего средства.

Наутро он просыпался с ощущением сухости во рту и на губах и с тяжелой головой, но это быстро проходило. В восемь часов он во всеоружии, готовый к бою, сидел за письменным столом, в десять объезжал банки и потом до самого вечера без передышки распутывал сложное переплетение осаждавших его промышленных, финансовых и личных дел. А с наступлением вечера — обратно в гостиницу, и опять мартини и шотландское виски; и так день за днем, неделя за неделей.

Глава двадцать первая

Со стороны казалось, что Харниш все тот же — неизменно бодрый, неутомимый, преисполненный энергии и кипучих жизненных сил, но в глубине души он чувствовал себя донельзя усталым. И случалось, что в его одурманенном коктейлями уме мелькали мысли куда более здравые, чем те, которыми он был поглощен в трезвом состоянии. Так, например, однажды вечером, сидя с башмаком в руке на краю постели, он задумался над изречением Дид, что никто не может спать сразу в двух кроватях. Он посмотрел на уздечки, висевшие на стенах, потом встал и, все еще держа в руке башмак, сосчитал уздечки сначала в спальне, а затем и в двух других комнатах. После этого он опять уселся на кровать и заговорил вдумчиво, обращаясь к башмаку:

— Маленькая женщина права. В две кровати не ляжешь. Сто сорок уздечек — а что толку?

Больше одной уздечки ведь не нацепишь. И на две лошади не сядешь. Бедный мой Боб! Надо бы выпустить тебя на травку. Тридцать миллионов; впереди — либо сто миллионов, либо нуль. А какая мне от них польза? Есть много такого, чего не купишь на деньги. Дид не купишь. Силы не купишь. На что мне тридцать миллионов, когда я не могу влить в себя больше одной кварты мартини в день? Вот если бы я выдувал по сто кварт в день — ну, тогда разговор другой. А то одна кварта, одна разнесчастная кварта! У меня тридцать миллионов, надрываюсь я на работе, как ни один из моих служащих не надрывается, а что я за это имею? Завтрак и обед, которые и есть-то неохота, одну кровать, одну кварту мартини и сто сорок никому не нужных уздечек. — Он уныло уставился на стену. — Мистер Башмак, я пьян. Спокойной ночи.

Из всех видов закоренелых пьяниц худшие те, кто напивается в одиночку, и таким пьяницей именно и становился Харниш. Он почти перестал пить на людях; вернувшись домой после долгого изнурительного дня в конторе, он запирался в своей комнате и весь вечер одурманивал себя; потом ложился спать, зная, что, когда утром проснется, будет горько и сухо во рту; а вечером он опять напьется.

Между тем страна вопреки присущей ей способности быстро восстанавливать свои силы все еще не могла оправиться от кризиса. Свободных денег по-прежнему не хватало, хотя принадлежавшие Харнишу газеты, а также все другие купленные или субсидируемые газеты в Соединенных Штатах усердно убеждали читателей, что денежный голод кончился и тяжелые времена отошли в прошлое. Все публичные заявления финансистов дышали бодростью и оптимизмом, но зачастую эти же финансисты были на краю банкротства. Сцены, которые разыгрывались в кабинете Харниша и на заседаниях правления его компаний, освещали истинное положение вещей правдивее, чем передовицы его собственных газет; вот, например, с какой речью он обратился крупным держателям акций Электрической компании, Объединенной водопроводной и некоторых других акционерных обществ:

— Ничего не попишешь — развязывайте мошну. У вас верное дело в руках, но пока что придется отдать кое-что, чтобы продержаться. Я не стану распинаться вперед вами, что, мол, времена трудные и прочее. Кто же этого не знает? А для чего же вы пришли сюда? Так вот надо раскошелиться. Контрольный пакет принадлежит мне, и я заявляю вам, что без доплаты не обойтись. Либо доплата, либо труба. А уж если я вылечу в трубу, вы и сообразить не успеете, куда вас занесло. Мелкая рыбешка

— та может отступиться, а вам нельзя. Корабль не пойдет ко дну, если вы останетесь на нем. Но если сбежите — потонете как миленькие, и не видать вам берега. Соглашайтесь на доплату — и дело с концом.

Крупным оптовым фирмам, поставщикам провизии для гостиниц Харниша и всей армии кредиторов, неустанно осаждавших его, тоже приходилось несладко. Он вызывал представителей фирм в свою контору и по-свойски разъяснял им, что значит «можно» или «нельзя», «хочу» или «не хочу».

— Ничего, ничего, потерпите! — говорил он им. — Вы что думаете — мы с вами в вист по маленькой играем? Захотел — встал из-за стола и домой пошел? Ничего подобного! Вы только что сказали, Уоткинс, что больше ждать не согласны. Так вот, послушайте меня: вы будете ждать, и очень даже будете. Вы будете по-прежнему поставлять мне товар и в уплату принимать векселя, пока не кончится кризис. Как вы ухитритесь это сделать — не моя забота, а ваша. Вы помните, что случилось с Клинкнером и Алтамонтским трестом? Я лучше вас знаю всю подноготную вашего дела. Попробуйте только подвести меня — изничтожу. Пусть я сам загремлю — все равно, уж я улучу минутку, чтобы вас зацепить и потащить за собой. Тут круговая порука, и вам же хуже будет, если вы дадите мне утонуть.

Но самый ожесточенный бой ему пришлось выдержать с акционерами Водопроводной компании, когда он заставил их согласиться на то, чтобы почти вся огромная сумма доходов была предоставлена в виде займа лично ему для укрепления его широкого финансового фронта. Однако он никогда не заходил слишком далеко в деспотическом навязывании своей воли; хотя он и требовал жертв от людей, чьи интересы переплетались с его собственными, но если кто-нибудь из них попадал в безвыходное положение, Харниш с готовностью протягивал ему руку помощи. Только очень сильный человек мог выйти победителем из таких сложных и тяжелых передряг, и таким человеком оказался Харниш. Он изворачивался и выкручивался, рассчитывал и прикидывал, подстегивал и подгонял слабых, подбадривал малодушных и беспощадно расправлялся с дезертирами.

И вот наконец с приходом лета по всей линии начался поворот к лучшему. Настал день, когда Харниш, ко всеобщему удивлению, покинул контору на час раньше обычного по той простой причине, что впервые с тех пор, как разразился кризис, к этому времени все текущие дела были закончены. Прежде чем уйти, он зашел поболтать с Хиганом в его кабинет. Прощаясь с ним, Харниш сказал:

— Ну, Хиган, можем радоваться. Много мы снесли в эту ненасытную ссудную кассу, но теперь выкрутимся и все заклады до единого выкупим. Худшее позади, и уже виден конец. Еще недельки две пожмемся, еще нас встряхнет разок-другой, а там, глядишь, отпустит, и можно будет опять настоящие дела делать.

В тот день он нарушил обычный порядок — не поехал прямо в гостиницу, а стал ходить из кафе в кафе, из бара в бар, выпивая у каждой стойки по коктейлю, а то и по два и по три, если попадался знакомый или приятель. Так продолжалось с добрый час, пока он не забрел в бар отеля Парфенона, где намеревался пропустить последний стакан перед тем, как ехать обедать. От выпитого вина Харниш чувствовал приятное тепло во всем теле и вообще находился в наилучшем расположении духа. На углу стойки несколько молодых людей по старинке развлекались тем, что, поставив локти и переплетя пальцы, пытались разогнуть руку соперника. Один из них, широкоплечий, рослый силач, как поставил локоть, так и не сдвигал его с места и по очереди прижимал к стойке руки всех приятелей, желавших сразиться с ним. Харниш с любопытством разглядывал победителя.

— Это Слоссон, — сказал бармен в ответ на вопрос Харниша. — Из университетской команды метателей молота. Все рекорды побил в этом году, даже мировой. Молодец, что и говорить!

Харниш кивнул, подошел к Слоссону и поставил локоть на стойку.

— Давайте померяемся, сынок, — сказал он.

Тот засмеялся и переплел свои пальцы с пальцами Харниша; к великому изумлению Харниша, его рука тотчас же была прижата к стойке.

— Постойте, — пробормотал он. — Еще разок. Я не успел приготовиться.

Пальцы опять переплелись. Борьба продолжалась недолго. Мышцы Харниша, напруженные для атаки, быстро перешли к защите, и после минутного противодействия рука его разогнулась. Харниш опешил. Слоссон победил его не каким-нибудь особым приемом. По умению они равны, он даже превосходит умением этого юнца. Сила, одна только сила — вот что решило исход борьбы. Харниш заказал коктейли для всей компании, но все еще не мог прийти в себя и, далеко отставив руку, с недоумением рассматривал ее, словно видел какой-то новый, незнакомый ему предмет. Нет, этой руки он не знает. Это совсем не та рука, которая была при

нем всю его жизнь. Куда девалась его прежняя рука? Ей-то ничего бы не стоило прижать руку этого мальчишки. Ну, а эта... Он продолжал смотреть на свою руку с таким недоверчивым удивлением, что молодые люди расхохотались.

Услышав их смех, Харниш встрепенулся. Сначала он посмеялся вместе с ними, но потом лицо его стало очень серьезным. Он нагнулся к метателю молота.

— Юноша, — заговорил он, — я хочу сказать вам коечто на ушко: уйдите отсюда и бросьте пить, пока не поздно.

Слоссон вспыхнул от обиды, но Харниш продолжал невозмутимо:

— Послушайте меня, я старше вас и говорю для вашей же пользы. Я и сам еще молодой, только молодости-то во мне нет. Не так давно я посовестился бы прижимать вашу руку: все одно что учинить разгром в детском саду.

Слоссон слушал Харниша с явным недоверием; остальные сгрудились вокруг него и, ухмыляясь, ждали продолжения.

— Я, знаете, не любитель мораль разводить. Первый раз на меня покаянный стих нашел, и это оттого, что вы меня стукнули, крепко стукнули. Я кое-что повидал на своем веку, и не то, чтоб я уж больно много требовал от жизни. Но я вам прямо скажу: у меня черт знает сколько миллионов, и я бы все их, до последнего гроша, выложил сию минуту на эту стойку, лишь бы прижать вашу руку. А это значит, что я отдал бы все на свете, чтобы опять стать таким, каким был, когда я спал под звездами, а не жил в городских курятниках, не пил коктейлей и не катался в машине. Вот в чем мое горе, сынок; и вот что я вам скажу: игра не стоит свеч. Мой вам совет — поразмыслите над этим и остерегайтесь. Спокойной ночи!

Он повернулся и вышел, пошатываясь, чем сильно ослабил воздействие своей проповеди на слушателей, ибо было слишком явно, что говорил он с пьяных глаз.

Харниш вернулся в гостиницу, пообедал и улегся в постель. Но понесенное им поражение не выходило у него из головы.

— Негодный мальчишка! — пробормотал он. — Раз — и готово, побил меня. Меня!

Он поднял провинившуюся руку и тупо уставился на нее. Рука, которая не знала поражения! Рука, которой страшились силачи Серкла! А какой-то молокосос, безусый студент, шутя прижал ее к стойке, дважды прижал! Права Дид. Он стал не тем человеком. Дело дрянь, теперь не отвертишься, пора вникнуть серьезно. Но только не сейчас. Утро вечера мудренее.

Глава двадцать вторая

Харниш проснулся с привычным ощущением сухости в горле, во рту и на губах, налил себе полный стакан воды из стоявшего возле кровати графина и задумался; мысли были те же, что и накануне вечером. Начал он с обзора финансового положения. Наконец-то дела поправляются. Самая грозная опасность миновала. Как он сказал Хигану, теперь нужно только немножко терпения и оглядки, и все пойдет на лад. Конечно, еще будут всякие бури, но уже не такие страшные, как те, что им пришлось выдержать. Его изрядно потрепало, но кости остались целы, чего нельзя сказать о Саймоне Долливере и о многих других. И ни один из его деловых друзей не разорился. Он ради своего спасения заставил их не сдаваться, и тем самым они спасли самих себя.

Потом он вспомнил о вчерашнем случае в баре Парфенона, когда молодой чемпион прижал его руку к стойке. Неудача уже не поражала Харниша, но он был возмущен и опечален, как всякий очень сильный человек, чувствующий, что былая сила уходит. И он слишком ясно видел причину своего поражения, чтобы хитрить и увиливать от прямого ответа. Он знал, почему его рука сплоховала. Не потому, что он уже не молод. Он только-только достиг первой поры зрелости, и понастоящему не его рука, а рука Слоссона должна была лечь на стойку. Он сам виноват — распустился. Он всегда думал, что сила его нечто непреходящее, а она, оказывается, все последние годы убывала капля за каплей. Как он накануне объяснил студентам, он променял ночлег под открытым небом на городские курятники. Он почти разучился ходить. Ноги его давно не касались земли, его катали в машинах, колясках, вагонах трамвая. Он забыл, что значит двигаться, и мышцы его разъело алкоголем.

И ради чего? На что ему, в сущности, его миллионы?

Права Дид. Все равно больше чем в одну кровать сразу не ляжешь; зато он сделался самым подневольным из рабов. Богатство так опутало его, что не вырваться. Вот и сейчас он чувствует эти путы. Захоти он проваляться весь день в постели — богатство не позволит, потребует, чтобы он встал. Свистнет — и изволь ехать в контору. Утреннее солнце заглядывает в окна; в такой день только бы носиться по горам — он на Бобе, а рядом Дид на своей кобыле. Но всех его миллионов не хватит, чтобы купить один-единственный свободный день. Может случиться какая-нибудь заминка в делах, и он должен быть на своем посту. Тридцать миллионов!

И они бессильны перед Дид, не могут заставить ее сесть на кобылу, которую он купил и которая пропадает даром, жирея на подножном корму. Чего стоят тридцать миллионов, если на них нельзя купить прогулку в горы с любимой девушкой? Тридцать миллионов! Они гоняют его с места на место, висят у него на шее, точно жернова, губят его, пока сами растут, помыкают им, не дают завоевать сердце скромной стенографистки, работающей за девяносто долларов в месяц.

«Что же делать?» — спрашивал он себя. Ведь это и есть то, о чем говорила Дид. Вот почему она молилась о его банкротстве. Он вытянул злополучную правую руку. Это не прежняя его рука. Конечно, Дид не может любить эту руку и все его тело, как любила много лет назад, когда он еще весь был чистый и сильный. Ему самому противно смотреть на свою руку и на свое тело. Мальчишка, студентик, походя справился с ней. Она предала его. Он вдруг сел в кровати. Нет, черт возьми, он сам предал себя. Он предал Дид. Она права, тысячу раз права, и у нее хватило ума понять это и отказаться выйти замуж за раба тридцати миллионов, насквозь пропитанного виски.

Он встал с постели и, подойдя к зеркальному шкафу, посмотрел на себя. Хорошего мало. Исчезли когда-то худые щеки, вместо них появились одутловатые, обвисшие. Он поискал жестокие складки, о которых говорила Дид, и нашел их; он отметил также черствое выражение глаз, мутных от бесчисленных коктейлей, которые он выпил накануне, как выпивал каждый вечер, из месяца в месяц, из года в год. Он посмотрел на очень заметные мешки под глазами и ужаснулся. Потом он засучил рукава пижамы. Неудивительно, что метатель молота одолел его. Разве это мускулы? Да они заплыли жиром. Он скинул пижамную куртку. И опять ужаснулся, увидев, как он растолстел. Глядеть противно! Вместо подтянутого живота — брюшко. Выпуклые мышцы груди и плеч превратились в дряблые валики мяса.

Он отвернулся от зеркала, и в памяти его замелькали картины минувших дней, когда все было ему нипочем; вспомнились лишения, которые он переносил лучше всех; индейцы и лайки, загнанные им в суровые дни и ночи на снежной тропе; чудеса силы и ловкости, поставившие

его королем над богатырским племенем первооткрывателей.

Итак — старость. И вдруг перед его внутренним взором возник образ старика, которого он встретил в Глен Эллен; восьмидесятичетырехлетний старец, седовласый и седобородый, поднимался по крутой тропинке в лучах пламенеющего заката; в руке он нес ведерко с пенящимся молоком, а на лице его лежал мирный отблеск уходящего летнего дня. Вот то была старость! «Да, сударь, восемьдесят четыре годочка, а еще покрепче других буду! — явственно слышал он голос старика. — Никогда не сидел сложа руки. В пятьдесят первом перебрался сюда с Востока на паре волов. Воевал с индейцами. Я уже был отцом семерых детей».

Вспомнилась ему и старуха, которая жила в горах и делала вино на продажу; и маленький Фергюсон, точно заяц, выскочивший на дорогу, бывший заведующий редакцией влиятельной газеты, мирно живущий в глуши, радостно смотрящий на свой родничок и ухоженные плодовые деревья. Фергюсон нашел выход из тупика. Заморыш, пьянчуга, он бросил врачей и курятник, именуемый городом, и, словно сухая губка, с жадностью начал впитывать в себя здоровье. Но если больной, от которого отказались врачи, мог превратиться в здорового хлебопашца, рассуждал Харниш, то чего только не добьется он сам в таких условиях, раз он не болен, а только растолстел? Он уже мысленно видел себя стройным, помолодевшим; потом подумал о Дид и вдруг резким движением сел на кровать, потрясенный величием осенившей его идеи.

Сидел он недолго. Ум его всегда действовал, как стальная пружина, и он мгновенно обдумал свой замысел со всеми его последствиями. Идея была грандиозная — грандиознее всех когда-либо осуществленных им планов. Но он не оробел перед нею и, смело взяв в руки, поворачивал во все стороны, чтобы лучше рассмотреть. Простота ее восхитила его. Он засмеялся от радости, окончательно принял решение и начал одеваться. Но ему не терпелось приступить к делу, и он, полуодетый, подошел к телефону.

Первой он вызвал Дид.

— Не приходите сегодня в контору, — сказал он. — Я сам заеду к вам на минутку.

Он позвонил еще кое-кому. Велел подать машину. Джонсу он дал поручение — отправить Боба и Волка в Глен Эллен. Хигана он ошеломил просьбой: разыскать купчую на ранчо и составить новую на имя Дид Мэсон.

— На чье имя? — переспросил Хиган.

— Дид Мэсон, — невозмутимо ответил Харниш. — Телефон, должно быть, плохо работает. Ди-ид Мэ-сон. Поняли?

Полчаса спустя он уже мчался в Беркли. И впервые большая красная машина остановилась у самого дома. Дид попросила его в гостиную, но он замотал головой и показал подбородком на дверь ее комнаты.

— Только там, — сказал он, — и больше нигде.

Едва за ними закрылась дверь, как он протянул к Дид руки и обнял ее. Потом он взял ее за плечи и заглянул ей в лицо.

— Дид, если я скажу вам прямо и честно, что я решил поселиться на своем ранчо в Глен Эллен, что я не возьму с собой ни цента и буду жить на то, что сумею заработать, и никогда больше и близко не подойду к игре в бизнес, — вы поедете со мной?

Она вскрикнула от радости, и он крепко прижал ее к себе. Но уже в следующее мгновение она отстранилась, и он опять положил ей руки на плечи.

— Я… я не понимаю, — задыхаясь, проговорила она.

— Вы не ответили ни да, ни нет, но, пожалуй, можно обойтись и без ответа. Мы просто-напросто сейчас обвенчаемся и уедем. Я уже послал вперед Боба и Волка. Когда вы будете готовы?

Дид не могла сдержать улыбки.

— Да это какой-то ураган, а не человек! Вы меня совсем завертели. Объясните хоть толком, в чем дело?

Глядя на нее, улыбнулся и Харниш.

— Видите ли, Дид, у шулеров это называется — карты на стол. Довольно уж нам финтить и водить друг друга за нос. Пусть каждый скажет начистоту — правду, всю правду и одну только правду. Сначала вы ответьте на мои вопросы, а потом я отвечу на ваши. — Он помолчал. — Так вот, у меня к вам, собственно, только один вопрос: любите ли вы меня, хотите быть моей женой?

— Но… — начала было Дид.

— Никаких «но», — резко прервал он ее. — Я уже сказал — карты на стол. Стать моей женой — это значит поехать со мной на ранчо и жить там. Ну как, идет?

Она с минуту смотрела ему в лицо, потом опустила глаза, всем своим существом выражая согласие.

— Тогда едем. — Он сделал движение, словно хотел немедля повести ее к двери. — Моя машина ждет внизу. Надевайте шляпу. — Он наклонился к ней. — Теперь, я думаю, можно, — сказал он и поцеловал ее.

Поцелуй был долгий; первой заговорила Дид:

— Но вы не ответили на мои вопросы. Как это мыслимо? Разве вы можете бросить свои дела? Чтонибудь случилось?

— Нет, пока ничего не случилось, но случится, и очень даже скоро. Недаром вы меня отчитывали, вот я и раскаялся. Вы для меня господь бог, и я хочу послужить вам. А все остальное — ну его к шуту! Вы верно рассудили, ничего не скажешь. Я был рабом своих денег, а раз я не могу служить двум господам, то пусть пропадают деньги. Я вас не променяю на все богатства мира, вот и все. — Он крепче прижал ее к себе. — И теперь ты моя, Дид, моя.

И знаешь, что я тебе скажу? Пить я больше не стану.

Ты выходишь за пьянчугу, но муж твой будет трезвенник. Он так переменится, что ты его не узнаешь! Не проживем мы и полгода в Глен Эллен, как ты проснешься в одно прекрасное утро и увидишь, что у тебя в доме какой-то чужой мужчина и надо заново с ним знакомиться. Ты скажешь: «Я миссис Харниш, а вы кто такой?» А я отвечу: «Я младший брат Элама Харниша. Я только что приехал с Аляски на похороны». «Чьи похороны?» — спросишь ты. А я скажу: «Да на похороны этого бездельника, картежника, пьяницы, которого звали Время-не-ждет, того

самого, что умер от ожирения сердца, потому что день и ночь играл в бизнес. Да, сударыня, — скажу я, — ему крышка, но я пришел, чтобы занять его место, и вы будете счастливы со мной. А сейчас, сударыня, с вашего позволения, я схожу на лужок и подою нашу корову, пока вы будете собирать завтрак».

Он опять схватил ее за руку и хотел потащить к двери, но Дид не поддавалась; тогда он стал осыпать ее лицо поцелуями.

— Стосковался я по тебе, маленькая женщина, — прошептал он. — Рядом с тобой тридцать миллионов все равно что тридцать центов.

— Сядьте, ради Бога, и будьте благоразумны, — сказала Дид, вся раскрасневшаяся, глядя на него сияющими глазами, в которых ярко, как никогда, вспыхивали золотистые огоньки.

Однако Харниша уже нельзя было остановить, и хотя он согласился сесть, но только посадив Дид подле себя и обняв ее одной рукой за плечи.

— «Да, сударыня, — скажу я. — Время-не-ждет был славный малый, но это к лучшему, что он помер. Когда-то он спал на снегу, завернувшись в заячий мех, а потом забрался в курятник. Он разучился ходить, разучился работать и стал накачиваться коктейлями и шотландским виски. Он воображал, что любит вас, сударыня, и старался изо всех сил, но и коктейли, и свои деньги, и самого себя, и еще много-много другого он любил больше, чем вас». А потом я скажу: «Теперь взгляните на меня, и вы сразу увидите разницу. Никаких коктейлей мне не нужно, а денег у меня — один доллар л сорок центов, и те уйдут на новый топор, потому старый вконец иступился; а любить я буду этак раз в одиннадцать сильнее, чем ваш первый муж. Понимаете, сударыня, он весь заплыл жиром. А на мне и капли жиру нет». Потом я засучу рукав, чтобы показать мышцы, и скажу: «Миссис Харниш, после того, как вы побывали за старым жирным денежным мешком, вы, может быть, не откажетесь выйти за такого статного молодца, как я?» Ну, а ты прольешь слезу над покойничком, потом ласково взглянешь на меня и протянешь мне губы, а я, надо быть, зальюсь краской, потому что больно молод, и обниму тебя… вот так… потом возьму да и женюсь на вдове своего брата и пойду хлопотать по хозяйству, а она пока приготовит нам поесть.

— Но вы все еще не ответили на мои вопросы, — с упреком сказала Дид, розовая и сияющая, высвобождаясь из объятия, которым он сопроводил заключительные слова своего рассказа.

— Ну, что ты хочешь знать? — спросил он.

— Я хочу знать, как это возможно? Как вы можете бросить свои дела в такое время? Что вы имели в виду, когда сказали, что очень скоро что-нибудь случится? Я… — Она запнулась и покраснела. — Я-то ведь ответила на ваш вопрос.

— Поедем венчаться, — весело сказал он, и глаза его блеснули задором. — Ты же знаешь, я должен уступить место своему лихому братцу, и мне недолго осталось жить. — Она досадливо надула губы, и он заговорил серьезно: — Сейчас я тебе объясню, Дид. С самого начала этой чертовой паники я работал не как лошадь, а как сорок лошадей, и все время твои слова пускали ростки в моей голове. Ну, а нынче утром ростки вылезли на свет божий, вот и все. Я проснулся и стал подыматься с постели, чтобы, как всегда, ехать в контору. Но в контору я не поехал. Все перевернулось в одну минуту. Солнце светило в окна, и я подумал, что хорошо бы такой день провести в горах. И я подумал, что в тридцать миллионов раз приятнее кататься с тобой в горах, чем сидеть в конторе. Потом я подумал, что хоть и приятнее, но нельзя. А почему нельзя? Из-за конторы. Контора не пустит. Все мои миллионы сразу встанут на дыбы и

не пустят. Деньги это хорошо умеют, сама знаешь.

И тогда я понял, что я на распутье: одна дорога — в контору, другая — в Беркли. И я выбрал дорогу в Беркли. Ноги моей больше не будет в конторе. С этим покончено, и пропади оно пропадом. Я уж так решил. Видишь ли, я человек верующий и верую по старине — в тебя и в любовь, и старее этой веры нет на земле. Это и есть то — «То» с большой буквы.

Она почти с испугом смотрела на него.

— Вы хотите сказать… — начала она.

— Я хочу сказать то, что говорю. Начинаю жить сызнова. Все пошлю к черту. Когда мои тридцать миллионов встали передо мной и запретили мне погулять с тобой в горах, я понял, что пришло время действовать. И вот я действую. У меня есть ты, есть сила, чтобы работать для тебя, и маленькое ранчо в долине Сонома. Это все, что мне нужно, и это все, что я сохраню, не считая Боба, Волка, чемодана и ста сорока уздечек. Остальное к черту — туда ему и дорога. Мусор это — и больше ничего.

Но Дид не унималась.

— Так, значит, в потере вашего огромного состояния нет никакой необходимости? — спросила она.

— Как это нет необходимости? Именно есть. Уж если дошло до того, что мои деньги запрещают мне кататься с тобой…

— Бросьте шутить, — прервала его Дид. — Вы отлично понимаете, о чем я говорю. Я спрашиваю вас: вызвано ли ваше банкротство состоянием ваших дел?

Он отрицательно покачал головой.

— Ничего подобного. В этом-то вся соль. Я не потому бросаю свой бизнес, что паника меня разорила и я должен все бросить. Наоборот, я одолел панику и расправился с ней. А бизнес я просто вышвырнул, потому что мне плевать на него. Только ты мне нужна, маленькая женщина, вся моя ставка на тебя.

Но Дид выскользнула из его объятий и отодвинулась.

— Элам, ты с ума сошел.

— Еще раз назови меня так, — прошептал он с нежностью. — Это куда приятнее для уха, чем звон долларов.

Но она не слушала его.

— Это безумие. Ты сам не знаешь, что делаешь…

— Не беспокойся, отлично знаю. Исполняется самое заветное мое желание. Мизинца твоего не стоит…

— Образумься хоть на одну минуту.

— В жизни своей не делал ничего разумнее. Я знаю, что мне нужно, и добьюсь этого. Мне нужна ты и вольный воздух. Не желаю больше ходить по мощеным улицам, не желаю говорить

в телефонную трубку. Я хочу иметь домик на маленьком ранчо в самой что ни на есть красивой местности, и я хочу работать около этого домика — доить коров, колоть дрова, чистить лошадей, пахать землю и прочее; и я хочу, чтобы в доме со мной была ты. А все другое мне осточертело, с души воротит. И счастливее меня нет человека на свете, потому что мне досталось такое, что ни за какие деньги не купишь. Ты мне досталась, а я не мог бы купить тебя ни за тридцать миллионов, ни за три миллиарда, ни за тридцать центов…

Стук в дверь прервал поток его слов. Дид пошла к телефону, а Харниш, оставшись один, погрузился в созерцание, Сидящей Венеры, картин и безделушек, украшавших комнату.

— Это мистер Хиган, — сказала Дид, появляясь в дверях. — Он ждет у телефона. Говорит, что дело очень важное.

Харниш с улыбкой покачал головой.

— Пожалуйста, скажи мистеру Хигану, чтобы он повесил трубку. С конторой я покончил, и я ничего и ни о чем знать не хочу.

Через минуту Дид вернулась.

— Он отказывается повесить трубку. Он просит передать вам, что в конторе вас дожидается Энвин и что Гаррисон тоже там. Мистер Хиган сказал, что с «Гримшоу и Ходжкинс» плохо. Похоже, что лопнет. И еще он что-то сказал о поручительстве.

Такая новость хоть кого ошеломила бы. Энвин и Гаррисон были представителями крупных банкирских домов; Харниш знал, что если банк «Гримшоу и Ходжкинс» лопнет, то это повлечет за собой крах и нескольких других банков и положение может стать весьма серьезным. Но он только улыбнулся и, покачав головой, сказал официальным тоном, каким еще накануне говорил с Дид в конторе:

— Мисс Мэсон, будьте любезны, передайте мистеру Хигану, что ничего не выйдет и что я прошу его повесить трубку.

— Но нельзя же так, — вступилась было Дид.

— Ах, нельзя? Увидим! — с угрозой посулил он.

— Элам!

— Повтори еще раз! — воскликнул он. — Повтори, и пусть десять Гримшоу и Ходжкинсов летят в трубу!

Он схватил ее за руку и притянул к себе.

— Хиган может висеть на телефоне, пока ему не надоест. В такой день, как нынче, мы не станем тратить на него ни секунды. Он влюблен только в книги и всякое такое, а у меня есть живая женщина, и я знаю, что она меня любит, сколько бы она ни брыкалась.

Глава двадцать третья

— Я ведь знаю, какую ты вел воину, — возражала Дид. — Если ты сейчас отступишься, все пропало. Ты не имеешь права это делать. Так нельзя.

Но Харниш стоял на своем. Он только качал головой и снисходительно улыбался.

— Ничего не пропадет, Дид, ничего. Ты не понимаешь этой игры в бизнес. Все делается на бумаге. Подумай сама: куда девалось золото, которое я добыл на Клондайке? Оно в двадцатидолларовых монетах, в золотых часах, в обручальных кольцах. Что бы со мной ни случилось, монеты, часы и кольца останутся. Умри я сию минуту, все равно золото будет золотом. Так и с моим банкротством. Богатства мои — на бумаге. У меня имеются купчие на тысячи акров земли. Очень хорошо. А если сжечь купчие и меня заодно с ними? Земля-то останется, верно? По-прежнему будет поливать ее дождь, семя будет прорастать в ней, деревья пускать в нее корни, дома стоять на ней, трамвай ходить по ней. Все сделки заключаются на бумаге. Пусть я лишусь бумаги, пусть лишусь жизни — все едино. Ни одна песчинка на этой земле не сдвинется, ни один листок не колыхнется.

Ничего не пропадет, ни одна свая в порту, ни один костыль на трамвайных путях, ни одна унция пара из пароходного котла. Трамваи будут ходить, у кого бы ни хранились бумаги, у меня или у другого владельца. В Окленде все на ходу. Люди стекаются сюда отовсюду. Участки опять раскупают. Этот поток ничем не остановишь. Меня может не быть, бумаги может не быть, а триста тысяч жителей все равно явятся. И для них готовы трамваи, которые будут возить их, и дома, где они поселятся, и хорошая вода для питья, и электричество для освещения, и все прочее.

Но тут с улицы донесся автомобильный гудок. Подойдя к открытому окну, Харниш и Дид увидели машину, остановившуюся рядом с большим красным автомобилем. В машине сидели Хиган, Энвин и Гаррисон, а рядом с шофером Джонс.

— С Хиганом я поговорю, — сказал Харниш, — остальных не нужно. Пусть дожидаются в машине.

— Пьян он, что ли? — шепотом спросил Хиган, когда Дид открыла ему дверь.

Она отрицательно покачала головой и провела его в комнату.

— Доброе утро, Ларри, — приветствовал гостя Харниш. — Садитесь и отдохните. Я вижу, вы малость не в себе.

— Да, не в себе, — огрызнулся щуплый ирландец. — «Гримшоу и Ходжкинс» грозит крах, надо немедленно что-то предпринять. Почему вы не приехали в контору? Как вы думаете помочь банку?

— Да никак, — лениво протянул Харниш. — Крах так крах.

— Но…

— Я никогда не был клиентом «Гримшоу и Ходжкинс». Я ничего им не должен. А кроме того, я сам вылетаю в трубу. Послушайте, Ларри, вы меня знаете. Вы знаете, что если я что-нибудь решил, то так и будет. Так вот, я решил окончательно: вся эта возня мне надоела. Я хочу как можно скорей выйти из игры, а самый скорый способ — банкротство.

Хиган с ужасом уставился на своего патрона, потом перевел взгляд на Дид; она сочувственно кивнула ему.

— Так пусть Гримшоу и Ходжкинс лопнут, — продолжал Харниш. — А вы, Ларри, позаботьтесь о себе и обо всех наших друзьях. Я вам скажу, что нужно сделать. Все пойдет как по маслу.

Никто не пострадает. Все, кто был верен мне, должны сполна получить свое. Немедленно выдать задержанное жалованье. Все суммы, которые я отобрал у водопровода, у трамвая и у переправы, возвратить. И вы лично тоже не пострадаете. Все компании, где у вас есть акции, уцелеют...

— Вы с ума сошли, Харниш! — крикнул Хиган. — Это же буйное помешательство. Что с вами стряслось? Белены объелись, что ли?

— Объелся, — с улыбкой ответил Харниш. — Вот дурь-то теперь и выходит из меня. Не хочу больше жить в городе, не хочу играть в бизнес. Брошу все и уйду туда, где солнце, воздух и зеленая травка. И Дид уйдет со мной. Так что вам повезло — можете первый поздравить меня.

— Черта с два — повезло! — вырвалось у Хигана. — Я отказываюсь потакать такому безумию.

— Не откажетесь, будьте покойны. Не то крах будет еще страшнее, и кое-кому несдобровать. У вас у самого миллион с хвостиком. Вы только слушайте меня и останетесь целехоньки. А я хочу все потерять, все, до последнего гроша. Такое у меня желание. И хотел бы я посмотреть, кто мешает мне поступить так, как я желаю. Понятно, Хиган, понятно?

— Что вы с ним сделали? — Хиган свирепо глянул на Дид.

— Стойте, Ларри! — В голосе Харниша зазвучали резкие нотки, на лице появилось выражение жестокости. — Мисс Мэсон — моя невеста. Пожалуйста, разговаривайте с ней сколько угодно, но я попрошу вас изменить тон. Иначе как бы вам нечаянно не попасть в больницу. К тому же она тут ни при чем. Она тоже говорит, что я сумасшедший.

Хиган только помотал головой и снова в горестном молчании уставился на Харниша.

— Конечно, будет назначено конкурсное управление, — продолжал Харниш, — но это ненадолго и ничему не помешает. Самое главное, что нужно сделать немедля, — это выплатить жалованье служащим за все время и спасти от краха всех моих кредиторов и все акционерные общества, которые поддержали меня. Кончайте с этими агентами из Нью-Джерси на счет покупки земли. Уступите им чуть-чуть, и они возьмут две-три тысячи акров. Самые отборные участки в Фэрмонте, — там есть такие, что пойдут по тысяче долларов за акр. Это будет большая подмога. А пятьсот акров за Фэрмонтом — те похуже, больше двухсот долларов с акра не возьмете.

Дид, которая едва прислушивалась к разговору мужчин, вдруг встала и, видимо, приняв внезапное решение, подошла к ним. Лицо ее было бледно, губы упрямо сжаты, и Харниш, взглянув на нее, вспомнил тот день, когда она в первый раз села на Боба.

— Погодите, — проговорила она. — Дайте мне слово сказать. Элам, если ты не откажешься от своей безумной затеи, я не выйду за тебя. Ни за что не выйду.

Хиган встрепенулся и бросил ей быстрый благодарный взгляд.

— Это мы еще посмотрим, — начал было Харниш.

— Подожди! — прервала она. — А если откажешься, я выйду за тебя.

— Давайте разберемся как следует. — Харниш говорил с нарочитым спокойствием и рассудительностью. — Значит, так: если я останусь при своем бизнесе, ты выйдешь за меня? Ты хочешь, чтобы я работал, как каторжный? И пил коктейли?

После каждого вопроса он делал паузу, а она отвечала кивком головы.

— И ты немедля выйдешь за меня?

— Да.

— Сегодня? Сейчас?

— Да.

Он на минуту задумался.

— Нет, маленькая женщина. Не согласен. Ничего хорошего из этого не будет, сама знаешь. Мне нужна ты, нужна вся. А для этого я должен отдать тебе всего себя. А что же я тебе отдам, если не выйду из игры? Что для тебя останется? Видишь ли, Дид, с тобой вдвоем на ранчо я буду знать, что я твой, а ты моя. Правда, я и так знаю, что ты моя. Можешь сколько угодно говорить «выйду», «не выйду» — все равно будешь моей женой. Ну, а вам, Ларри, пора идти. Я скоро буду у себя в гостинице. В контору я больше ни ногой, так что приносите все бумаги на подпись и прочее ко мне в номер. Можете в любое время звонить по телефону. Мое банкротство — дело решенное. Понятно? Я вылетел в трубу, меня больше нет.

Он встал, давая понять Хигану, что разговор окончен. Адвокат, окончательно сраженный, тоже поднялся, но не трогался с места и растерянно озирался.

— Безумие! Чистое безумие! — пробормотал он.

Харниш положил ему руку на плечо.

— Не унывайте, Ларри. Вы всегда толковали мне о чудесах человеческой природы, а когда я вам показал такое чудо, вы отворачиваетесь. Я лучше умею мечтать, чем вы, вот и все. И моя мечта наверняка сбудется. Такой великолепной мечты я еще не знал, и уж я добьюсь того, что она исполнится…

— Потеряв все, что вы имеете! — крикнул Хиган ему в лицо.

— Верно — потеряв все то, что мне не нужно. Но сто сорок уздечек я не отдам. А теперь забирайте Энвина и Гаррисона и отправляйтесь с ними в город. Я буду у себя, звоните мне в любое время.

Как только Хиган вышел, Харниш повернулся к Дид и взял ее за руку.

— Ну, маленькая женщина, можешь больше не ходить в контору. Считай, что ты уволена. И помни: я был твоим хозяином, и ты придешь ко мне за рекомендацией. И если ты будешь плохо вести себя, я тебе рекомендацию не дам. А пока что отдохни и подумай, что ты хочешь взять с собой, потому что нам придется обставить дом твоими вещами, во всяком случае, парадные комнаты.

— Нет, Элам, ни за что! Если ты не передумаешь, я никогда не буду твоей женой.

Она хотела вырвать свою руку, но он с отеческой лаской сжал ее пальцы.

— Скажи мне правду, по-честному: что ты предпочитаешь — меня и деньги или меня и ранчо?

— Но… — начала она.

— Никаких «но». Меня и деньги?

Она не ответила.

— Меня и ранчо?

Она опять не ответила, но и это не смутило его.

— Видишь ли, Дид, мне твой ответ известен, и больше говорить не о чем. Мы с тобой уйдем отсюда и будем жить в горах Сонома. Ты отбери, что взять с собой, а я на днях пришлю людей, и они все упакуют. И уж больше никто за нас работать не будет. Мы сами с тобой все распакуем и расставим по местам.

Она сделала еще одну, последнюю попытку.

— Элам, ну будь же благоразумен. Еще не поздно. Я могу позвонить в контору, и как только мистер Хиган приедет…

— Да я самый благоразумный из всех, — прервал он ее. — Посмотри на меня: я спокоен, и весел, и счастлив, а они все прыгают и кудахчут, как испуганные куры, которым вот-вот перережут горло.

— Я сейчас заплачу, может быть, хоть это поможет, — пригрозила она.

— Тогда мне придется обнимать тебя и целовать, пока ты не утешишься, — пригрозил он в ответ. — Ну, мне пора. Жаль, жаль, что ты продала Маб, а то мы отправили бы ее на ранчо. Да уж я достану тебе какую-нибудь кобылку.

Прощаясь с ним на крыльце, Дид сказала:

— Никаких людей ко мне не присылай. Им нечего будет упаковывать, потому что я за тебя не пойду.

— Да неужто? — сказал он и стал спускаться по ступенькам.

Глава двадцать четвертая

Прошло три дня, и Харниш поехал в Беркли в своем большом красном автомобиле — в последний раз, ибо назавтра машина переходила к новому владельцу. Трудные это были три дня: банкротство Харниша оказалось самым крупным в Калифорнии за все время кризиса. Все газеты кричали об этом событии, вызвавшем ярость даже тех финансистов, которые впоследствии убедились, что Харниш полностью оградил их интересы. По мере того как это обстоятельство становилось известно, в деловых кругах все шире распространялось мнение, что Харниш потерял рассудок. Все твердили в один голос, что так поступить мог только сумасшедший. Ни его многолетнее упорное пьянство, ни любовь к Дид не получили огласки, поэтому оставалось только предположить, что дикарь с Аляски внезапно помешался. В ответ на эту сплетню Харниш весело смеялся и еще подливал масла в огонь, отказываясь принимать репортеров.

Машина остановилась у крыльца, и Харниш, войдя в дом, приветствовал Дид со своей обычной стремительностью, заключив ее в объятия, раньше чем она успела слово вымолвить. Только после того, как она выскользнула из его рук и усадила его на стул, он наконец заговорил.

— Дело сделано, — объявил он. — Ты, небось, читала в газетах. У меня не осталось ничего, и я приехал узнать, в какой день ты хочешь перебраться в Глен Эллен. Надо поторапливаться: в Окленде уж больно дорога стала жизнь. В гостинице за номер и стол у меня заплачено только до конца недели, а оставаться дольше мне не по карману. Да и с завтрашнего дня я буду ездить на трамвае, а это тоже денег стоит.

Он умолк и выжидательно посмотрел на нее. На лице Дид отразились смущение и растерянность. Потом мало-помалу столь знакомая ему сияющая улыбка заиграла на ее губах, глаза заискрились, и, откинув голову, она, как бывало, залилась задорным мальчишеским смехом.

— Когда ты пришлешь людей упаковывать вещи? — спросила она и, когда он стиснул ее в медвежьем объятии, опять засмеялась, делая вид, что тщетно пытается вырваться из его рук.

— Элам, милый Элам, — прошептала она и, в первый раз сама поцеловав его, ласково взъерошила ему волосы.

— У тебя глаза отливают золотом, — сказал он. — Вот я гляжусь в них и вижу, как ты меня любишь.

— Они давно такие для тебя, Элам. Я думаю, что на нашем маленьком ранчо они всегда будут, как золото.

— И в волосах у тебя золото, какое-то огнистое золото. — Он повернул к себе ее лицо и, сжав его ладонями, долго смотрел ей в глаза. — В прошлый раз, когда ты говорила, что не выйдешь за меня, глаза у тебя все равно так и сверкали золотом.

Она кивнула головой и засмеялась.

— Ну, конечно, ты добился своего, — созналась она. — Но я не могла участвовать в твоей безумной затее. Ведь деньги были не мои, а твои. Но как я любила тебя, Элам, за то, что ты, словно расшалившийся ребенок, взял да и сломал свою тридцатимиллионную игрушку, когда она тебе надоела! Я говорила «нет», но я уже знала, что скажу «да». И, наверно, глаза мои все время были золотистые. Я только одного боялась

— как бы у тебя не застряло несколько миллионов. Потому что я ведь знала, что все равно выйду за тебя, милый, а я так мечтала, чтобы был только ты, и ранчо, и Боб, и твои пресловутые уздечки. Открыть тебе тайну? Как только ты уехал, я позвонила тому человеку, который купил Маб.

Она спрятала лицо у него на груди, потом опять посмотрела на него лучистым взглядом.

— Видишь ли, Элам, что бы ни говорили мои губы, сердцем я уже решилась… Я… я просто не могла отказать тебе. Но я горячо молилась, чтобы ты все потерял. И вот я стала разыскивать Маб. Но ведь тот человек перепродал ее и так и не мог мне сказать, куда она девалась. Понимаешь, мне хотелось поехать с тобой в Глен Эллен верхом на Маб, а ты на Бобе — в точности так, как мы ездили по Пиедмоитским горам.

Харнишу стоило больших усилий не сказать Дид, где ее любимица, но он устоял перед соблазном.

— Обещаю достать тебе кобылу, которую ты будешь любить не меньше Маб, — сказал он.

Но Дид покачала головой — с утратой Маб она отказывалась мириться.

— Знаешь, что мне пришло в голову? — сказал Харниш, торопясь ввести разговор в более безопасное русло. — Мы решили бросить городскую жизнь, и у тебя нет никакой родни, так чего ради мы станем венчаться в городе? Вот что я придумал: я поеду на ранчо, приберу там вокруг дома и отпущу сторожа. А ты приедешь через два дня утренним поездом. Я условлюсь со священником, он будет ждать нас. И вот что еще: уложи в чемодан свой костюм для верховой езды. После венчания ты переоденешься в гостинице. А я буду ждать тебя у входа с лошадьми, и мы сразу поедем осматривать ранчо. Я покажу тебе самые красивые места. Вот увидишь, как там хорошо! Ну, как будто все. Значит, я жду тебя послезавтра с утренним поездом.

— Ты просто вихрь какой-то! — краснея, сказала Дид.

— Да, сударыня, — наставительно ответил он. — Я всегда говорил, что время не ждет. Но надо сознаться, что мы заставили его ждать возмутительно долго. Мы могли уже давным-давно быть мужем и женой.

Два дня спустя Харниш дожидался Дид у дверей скромной гостиницы в деревушке Глен Эллен. Обряд венчания кончился, и Дид поднялась в номер, чтобы переодеться в костюм для верховой езды, пока Харниш приведет лошадей. Он держал под уздцы Боба и Маб, а Волк разлегся в тени водопойной колоды и лениво посматривал по сторонам. Под палящим калифорнийским солнцем на лице Харниша уже снова начал проступать былой смуглый румянец, но он вспыхнул еще ярче, когда Харниш устремил загоревшийся взор на Дид, которая появилась в дверях с хлыстом в руке, одетая в вельветовый костюм, столь знакомый по памятным прогулкам в Пиедмонте. Глаза их встретились, и на ее лице румянец тоже заиграл ярче. Потом она посмотрела на лошадей и увидела Маб. Но взгляд ее мгновенно опять обратился на Харниша.

— Ах, Элам! — Больше она ничего не прибавила, но имя его прозвучало в ее устах, как молитва, и эта молитва имела тысячу значений. Он пытался разыграть непонимание, но сердце его было слишком переполнено, и шутка не шла с языка. Она только назвала его по имени, и в это имя она вложила и нежный упрек, и признательность, и радость, и всю свою любовь.

Она подошла ближе, погладила кобылу, опять повернулась к Харнишу, посмотрела ему в лицо и, вздохнув от счастья, еще раз сказала:

— Ах, Элам! И все, что прозвучало в ее голосе, отразилось в ее глазах, и Харниш увидел в них глубину, которой не вместит ни мысль, ни слово, — увидел неизъяснимое таинство и волшебство земной любви.

И опять Харниш тщетно пытался ответить шуткой; минута была слишком торжественная, и шутливые слова, хотя бы и нежные, казались неуместными. Дид тоже молча взялась за поводья, оперлась ногой на подставленные руки Харниша и вскочила в седло. Харниш мигом очутился верхом на Бобе. Волк пустился вперед мелкой волчьей рысью, и оба всадника, окрыленные любовью, в ласковых лучах летнего солнца, на одинаковых скакунах гнедой масти, умчались в горы, навстречу своему медовому месяцу. Харниш опьянел от счастья, словно от хмельного вина. Он достиг наивысшей вершины жизни. Выше никто не мог бы взобраться и никогда не взбирался. Это его день, его праздник, его пора любви и обладания, обладания той, что так проникновенно сказала: «Ах, Элам!» — и посмотрела на него взглядом, в котором светилась вся ее душа.

Они поднялись в гору, и Харниш с радостью следил за тем, как просияло лицо Дид, когда перед ними открылся чудесный вид на окрестные долины и склоны. Он показал на густо поросшие лесом холмы по ту сторону волнистых лугов.

— Это наше, — заговорил он. — И это только начало. Погоди, увидишь большой каньон, там водятся еноты; а тут, в горах Сонома, — норки. И олени! Вон та гора прямо кишит оленями. И если нам очень приспичит, пожалуй, и пуму можно вспугнуть. И знаешь, там есть одна такая полянка… Нет, больше ни слова не скажу. Сама скоро увидишь.

Они свернули в ворота, где начиналась дорога на глинище, между скошенными лугами, и оба с наслаждением вдохнули ударивший им в лицо запах свежего сена. Как и в тот раз, когда Харниш впервые побывал здесь, жаворонки взлетали из-под копыт лошадей, оглашая воздух звонким пением, а когда начался лес, на испещренных цветами прогалинах их сменили дятлы и яркосиние сойки.

— Теперь мы на своей земле, — сказал Харниш, когда скошенные луга остались позади. — Она тянется через самую гористую часть. Вот погоди, увидишь.

Как и в первый раз, он свернул влево, не доезжая глинища: миновав родничок и перескочив через остатки забора, они стали пробираться лесом. Дид была вне себя от восхищения: у ключа, тихо журчащего среди стволов секвойи, росла новая дикая лилия на высоком стебле, вся осыпанная белыми, словно восковыми, цветамиколокольцами. Но Харниш не спешился, а поехал дальше — туда, где ручей пробил себе дорогу в холмах. Харниш здесь потрудился, — теперь через ручей вела проложенная им крутая, скользкая дорожка для верховой езды, и, переправившись на ту сторону, они углубились в густую тень под исполинскими секвойями, потом пересекли дубовую рощу. На опушке открылось пастбище в несколько акров; травы стояли высоко — по пояс.

— Наше, — сказал Харниш.

Дид наклонилась с седла, сорвала спелый колосок и погрызла зубами стебель.

— Сладкое горное сено! — воскликнула она. — Любимый корм Маб!

Все восхищало Дид, и возгласы радостного изумления то и дело срывались с ее губ.

— И ты ничего не говорил мне! — укоризненно сказала она, любуясь пастбищем и лесистыми склонами, которые спускались к широко раскинувшейся долине Сонома.

— Поедем, — сказал Харниш, и они, повернув лошадей, опять миновали тенистую рощу, переправились через ручей и опять увидели дикую лилию.

Здесь тоже стараниями Харниша была прорублена узенькая дорога; сильно петляя, она вилась вверх по крутому склону. Харниш и Дид с трудом продирались сквозь густую чащу, и лишь изредка сбоку или под ними открывались просветы в бескрайнем море листвы. И как далеко ни проникал их взгляд, он неизменно упирался в зеленую стену, и неизменно над головой простиралась сводчатая кровля леса, лишь кое-где пропускавшая дрожащие лучи солнца. А вокруг них, куда ни глянь, росли папоротники всех видов — крохотные, с золотистыми листочками, венерины волосы и огромные — высотой в шесть и восемь футов. Внизу виднелись узловатые стволы и сучья старых, мощных деревьев, а вверху, над головой, смыкались такие же могучие ветви.

Дид остановила лошадь, словно у нее дух захватило от окружающей ее красоты.

— Мы точно пловцы, — сказала она, — и мы попали в тихую зеленую заводь. Там, в вышине, небо и солнце, а здесь — заводь, и мы глубоко, на самом дне.

Они тронули лошадей, но Дид вдруг увидела среди папоротника цветок кандыка и опять осадила Маб.

Наконец, достигнув гребня горы, они выбрались из зеленой заводи и словно очутились в другом мире: теперь вокруг них стояли молодые земляничные деревца с бархатистыми стволами, и взгляд свободно блуждал по открытому, залитому солнцем склону, по волнующейся траве, по узеньким лужкам белых и голубых немофил, окаймляющим узенький ручеек. Дид от восторга даже захлопала в ладоши.

— Малость покрасивее, чем конторская мебель, — заметил Харниш.

— Малость покрасивее, — подтвердила она.

И Харниш, который знал за собой пристрастие к слову «малость», понял, что она нарочно, из любви к нему, повторила его словечко.

Перебравшись через ручей, они по каменистой коровьей тропе перевалили через невысокую гряду, поросшую мансанитой, и оказались в новой узкой долине, где тоже протекал ручеек, окаймленный цветами.

— Голову даю на отсечение, что мы сейчас вспугнем перепелку, — сказал Харниш.

И не успел он договорить, как послышался отрывистый, испуганный крик перепелов, вспорхнувших изпод носа Волка; весь выводок бросился врассыпную и, словно по волшебству, мгновенно скрылся из глаз.

Харниш показал Дид ястребиное гнездо, которое он нашел в расколотом молнией стволе секвойи; а она увидела гнездо лесной крысы, не замеченное им. Потом они поехали дорогой, по которой когда-то вывозили дрова, пересекли вырубку в двенадцать акров, где на красноватой вулканической почве рос виноград. И опять они ехали коровьей тропой, опять углублялись в лесную чащу и пересекали цветущие поляны и наконец, в последний раз спустившись под гору, очутились на краю большого каньона, где стоял фермерский домик, который они увидели только тогда, когда оказались в двух шагах от него.

Пока Харниш привязывал лошадей, Дид стояла на широкой веранде, тянувшейся вдоль всего фасада. Такой тишины она еще не знала. Это была сухая, жаркая, недвижная тишь калифорнийского дня. Весь мир казался погруженным в дремоту. Откуда-то доносилось сонное воркованье голубей. Волк, всласть напившийся из всех ручьев, попадавшихся по дороге, с блаженным вздохом улегся в прохладной тени веранды. Дид услышала приближающиеся шаги Харниша, и у нее пресеклось дыхание. Он взял ее за руку; поворачивая дверную ручку, он почувствовал, что она медлит, словно не решаясь войти. Тогда он обнял ее, дверь распахнулась, и они вместе переступили порог.

Глава двадцать пятая

Многие люди, родившиеся и выросшие в городе, бежали от городской жизни и, живя среди природы, находили свое счастье. Однако, прежде чем достигнуть этого счастья, они испытывали немало жестоких разочарований. Не то Харниш и Дид. Оба они родились в сельской глуши, и суровая, подчас нелегкая простота сельской жизни была им хорошо знакома. Они чувствовали себя, словно странники, после долгих скитаний наконец

возвратившиеся домой. Для них близость к природе не таила в себе никаких неожиданностей, она только приносила радость воспоминаний. Все то, что избалованным людям показалось бы грязным и низменным, представлялось им естественным и благотворным. Общение с природой не явилось для них чуждым, неизведанным делом. Поэтому они редко ошибались. Они уже прошли эту науку и теперь с радостью восстанавливали в памяти позабытые знания.

И еще они поняли, что тот, кому жизнь щедро расточала свои дары, легче довольствуется малым, чем тот, кто всегда был ею обделен. Не то чтобы Харниш и Дид чувствовали себя обделенными, но они научились находить большую радость и более глубокое удовлетворение в малом. Харниш, изведавший азарт в его самых грандиозных и фантастических проявлениях, убедился, что здесь, на склонах горы Сонома, продолжается все та же игра. И здесь, как всюду, человек должен трудиться, бороться против враждебных сил, преодолевать препятствия. Когда он, ради опыта, вывел нескольких голубей на продажу, он заметил, что с таким же увлечением пускает в оборот птенцов, как раньше — миллионы. Успех в малом — все равно успех, а само дело представлялось ему более разумным и более согласным со здравым смыслом.

Одичавшая домашняя кошка, добирающаяся до его голубей, была в своем роде не меньшей угрозой, чем финансист Чарльз Клинкнер, пытавшийся ограбить его на несколько миллионов. А ястребы, ласки и еноты — чем не Даусеты, Леттоны и Гугенхаммеры, напавшие на него из-за угла? С буйной растительностью, которая, словно волны прибоя, подступала к границам всех его просек и вырубок и зачастую в одну неделю затопляла их, тоже приходилось вести ожесточенную войну. Огород, разбитый на защищенной горами площадке, доставлял Харнишу много забот, так как давал меньше овощей, чем сулила жирная почва; и когда он догадался проложить черепичный желоб и добился успеха, огород стал для него источником постоянной радости. Каждый раз, как он там работал и его лопата легко входила в рыхлую, податливую землю, он с удовольствием вспоминал, что этим он обязан самому себе.

Много трудов стоил ему водопровод. Для того чтобы купить трубы, он решил расстаться с половиной своих уздечек, — на счастье, нашелся покупатель. Прокладывал он трубы сам, хотя не раз приходилось звать на помощь Дид, чтобы она придержала гаечный ключ. И когда наконец вода была подведена к ванне и раковинам, Харниш налюбоваться не мог на дело рук своих. В первый же вечер Дид, хватившись мужа, нашла его с лампой в руке, погруженным в созерцание. Он с нежностью проводил ладонью по гладким деревянным краям ванны и громко смеялся. Уличенный в тайной похвальбе собственной доблестью, он покраснел, как мальчишка.

Прокладка водопроводных труб и столярничание навели Харниша на мысль завести маленькую мастерскую, и он стал исподволь, со вкусом, подбирать себе! инструменты. Привыкнув в бытность свою миллионером безотлагательно покупать все, чего бы он ни пожелал, он теперь понял, как радостно приобретать желаемое ценой жесткой бережливости и долготерпения. Три месяца он выжидал, пока наконец решился на такое мотовство, как покупка автоматической отвертки. Это маленькое чудо техники приводило Харниша в неописуемый восторг, и, заметив это, Дид тут же приняла великое решение. Полгода она копила деньги, которые выручала с продажи яиц, — эти деньги, по уговору, принадлежали лично ей, — и в день рождения мужа подарила ему токарный станок необыкновенно простой конструкции, но со множеством разнообразнейших приспособлений. И она так же чистосердечно восторгалась станком, как он восторгался первым жеребенком Маб, составлявшим личную собственность Дид.

Прошел целый год, прежде чем Харниш сложил огромный камин, затмивший камин в домике Фергюсона по ту сторону долины. Все эти новшества требовали времени, а Дид и Харнишу спешить было некуда. Не в пример наивным горожанам, которые ищут сельской простоты, не имея о ней ни малейшего понятия, они не брали на себя слишком много. За деньгами они не

гнались: ранчо было свободно от долгов, а богатство не прельщало их. Жили они скромно, довольствуясь самой простой пищей; за аренду не нужно было платить. Поэтому они не утруждали себя сверх меры и все свободное время посвящали друг Другу, извлекая из сельской жизни те преимущества, которыми не умеет пользоваться исконный сельский житель. Многому научил их и пример Фергюсона. Трудно было представить себе человека менее прихотливого; все, что ему требовалось, он делал сам, своими руками, лишь изредка, когда не хватало денег на книги и журналы, нанимался в работники; и весь свой досуг тратил на то, что доставляло ему удовольствие. Он мог полдня просидеть в холодке с книгой в руках; а другой раз подымался на рассвете и уходил в горы.

Иногда он вместе с Харнишем и Дид охотился на оленя в глухих ущельях и на каменистых кручах горы Худ, но чаще Харниш и Дид ездили вдвоем. Прогулки верхом были их любимым развлечением. Они изучили каждую складку, каждый выступ окрестных гор, исследовали все скрытые ключи и укромные лощинки в горных кряжах, замыкающих долину. Не оставалось ни одной неведомой им дорожки или коровьей тропы; но больше всего они любили забираться в самые дебри, где приходилось чуть ли не ползком продвигаться по узким оленьим тропкам, а Боб и Маб следовали за ними, еле продираясь сквозь чащу.

С этих прогулок они привозили семена и луковички диких цветов и сажали их в излюбленных уголках своего ранчо. Вдоль тропинки, ведущей вниз, на дно большого каньона, где начиналась водопроводная труба, они развели папоротники. Но они не насиловали растения, а позволяли им свободно развиваться и только время от времени подсаживали новые разновидности, не вырывая их из привычного дикого состояния. Так же поступили они и с дикой сиренью, которую Харниш выписал из округа Мендосино: только в первый год они ухаживали за ней, а потом предоставили самой себе, и она жила вольно, как все цветы на ранчо. Собирали они семена калифорнийского мака и рассыпали их по своим владениям — оранжевые головки сверкали в траве лужаек, огнем горели вдоль изгороди и по краям просек.

Дид, питавшая пристрастие к рогозу, посеяла его вдоль ручья, пересекавшего лужок, и предоставила ему самостоятельно бороться с жерухой. Но когда Харниш обнаружил, что жерухе грозит полное уничтожение, он подвел один из ручейков к своим грядкам жерухи и объявил войну рогозу. У ключа под секвойями, где в самый первый день Дид залюбовалась цветком кандыка, росшим подле извилистой тропинки, она посадила еще много этих цветов. Открытый косогор над узенькой долиной был отведен под марипозы. Это была преимущественно заслуга Дид; но и Харниш, со своей стороны, разъезжал с топориком на луке седла и прореживал мансанитовую рощу на скалистом склоне, очищая ее от мертвых или отмирающих деревцев.

Ни Дид, ни Харниш не надрывались на работе. Да и трудно было назвать это работой. Они только мимоходом, время от времени, оказывали помощь природе. Все цветы и травы росли своими силами и не казались пришельцами из чужой среды. Ни он, ни она не пытались разводить цветы или растения, которым бы по праву не принадлежало место на ранчо. Но зато их и не ограждали от врагов; лошади и жеребята, коровы, телки паслись среди них, топтали копытами; одни растения выживали, другие — нет. Впрочем, большого вреда скотина не причиняла: ее было немного, и на ранчо для нее хватало места. Харниш мог бы пустить на свое пастбище с десяток лошадей, что приносило бы ему ежемесячно полтора доллара с головы. Но он этого не делал именно потому, что не хотел опустошения своих лугов.

Когда кладка огромного камина была закончена, Харниш и Дид справили новоселье, пригласив на него в качестве единственного гостя Фергюсона. Не раз, оседлав Боба, Харниш ездил к нему за советом, и торжественный обряд возжигания первого огня совершился в его присутствии. Они стояли перед камином в просторной гостиной: сняв перегородку между двумя комнатами,

Харниш сделал из двух одну: здесь находились все сокровища Дид — ее книги, картины и фотографии, пианино. Сидящая Венера, жаровня, чайник и фарфор. К звериным шкурам, привезенным Дид, уже прибавились новые — шкуры оленей, койотов и даже одной пумы, убитых Харнишем. Дубил он шкуры собственноручно по способу охотников на Западе, затрачивая на это много времени и усилий.

Харниш вручил Дид спичку, она зажгла ее и поднесла к сложенным в камине дровам. Сухие ветки мансаниты вспыхнули, и языки пламени с веселым треском забегали по сухой коре поленьев. Дид прижалась к мужу, и все трое, затаив дыхание, ждали с надеждой и страхом. Но вот Фергюсон, сияя улыбкой, протянул Харнишу руку и громогласно объявил:

— Тянет! Честное слово, тянет! Он горячо пожал Харнишу руку, тот ответил тем же, потом наклонился к Дид и поцеловал ее в губы. Сознание успешно завершенного, хоть и скромного труда переполняло их сердца не меньшей радостью, чем та, которую испытывает полководец, одержавший славную победу. В глазах Фергюсона появился подозрительно влажный блеск, а Дид еще крепче прижалась к мужу — главному виновнику торжества. Внезапно Харниш подхватил ее на руки и, покружившись с ней по комнате, посадил перед пианино.

— Давай, Дид! — закричал он. — Играй Славу! Славу!

И в то время как пламя все ярче разгоралось в камине, из-под пальцев Дид полились ликующие звуки Двенадцатой литургии.

Глава двадцать шестая

Харниш не давал обета воздержания, хотя месяцами не брал в рот хмельного после того, как решился на крах своего бизнеса. Очень скоро он приобрел достаточную власть над собой, чтобы безнаказанно выпить стакан мартини, не испытывая желания выпить второй. К тому же жизнь среди природы быстро исцелила его от потребности одурманивать себя. Его уже не тянуло к спиртному, и он даже забывал о его существовании. С другой стороны, когда ему случалось бывать в городе и хозяин лавки, где Харниш закупал припасы, предлагал ему выпить, он, чтобы доказать самому себе, что не боится соблазна, охотно принимал приглашение: «Ну что же, если это может доставить вам удовольствие, пожалуйста. Налейте стаканчик виски».

Но один стакан виски, выпиваемый время от времени, не вызывал желания напиться и не оказывал никакого действия, — Харниш слишком окреп и поздоровел, чтобы опьянеть от такого пустяка. Как он и предсказывал Дид, Время-не-ждет — городской житель и миллионер — скоропостижно скончался на ранчо, уступив место своему младшему брату, путешественнику с Аляски. Жирок уже не грозил затопить его, упругость мышц и вся былая индейская худощавость и проворство вернулись к нему, и под скулами опять появились небольшие впадины. Для Харниша это было самое наглядное свидетельство восстановленного здоровья. Он уже прославился на всю округу своей силой, ловкостью и выдержкой и тягаться с ним не могли даже самые дюжие фермеры долины Сонома. А раз в год, в день своего рождения, он, по старой памяти, приглашал к себе всех окрестных жителей, предлагая любого положить на обе лопатки. И многие соседи принимали его вызов, приводили жен и детей и на весь день располагались на ранчо.

Сначала, когда у Харниша бывала нужда в наличных деньгах, он, по примеру Фергюсона, нанимался на поденную работу; но вскоре он нашел более интересное и приятное занятие, которое к тому же отнимало меньше времени и не мешало ему трудиться на ранчо и ездить с женой в горы. Как-то раз местный кузнец шутки ради предложил Харнишу объездить

норовистого жеребенка, слывшего неисправимым, и Харниш с таким блеском выполнил это, что сразу завоевал славу отличного объездчика. С тех пор он с легкостью зарабатывал таким путем любую нужную ему сумму, да и сама работа нравилась ему.

В трех милях от Глен Эллен, в Калиенте, находился конный завод и скаковые конюшни одного сахарного короля; время от времени он посылал за Харнишем, а меньше чем через год предложил ему заведование конюшнями. Но Харниш только улыбнулся и отрицательно покачал головой. Объезжать лошадей он соглашался тоже далеко не всякий раз, когда его об этом просили. «Уж кто-кто, а я надрываться не стану», — заверял он Дид и брался за работу, только когда ему требовались деньги. Позже он отгородил угол пастбища и там иногда объезжал нескольких лошадей из самых норовистых.

— У меня есть наше ранчо и есть ты, — говорил он жене, — и я не променяю прогулку с тобой к горе Худ на сорок долларов. За сорок долларов не купишь ни захода солнца, ни любящей жены, ни холодной ключевой водицы — ничего, чем жизнь красна. Что мне сорок миллионов долларов, если ради них я должен хоть один-единственный раз не поехать с тобой к горе Худ?

Жизнь он вел самую здоровую и естественную. Ложился рано, спал, как младенец, вставал на рассвете. Он постоянно что-то делал, тысячи мелочей занимали его, но не требовали больших усилий, и поэтому он никогда не чувствовал усталости. Впрочем, когда ему с женой случалось проехать семьдесят или восемьдесят миль, не слезая с седла, они иногда признавались друг другу, что выбились из сил. Время от времени, если погода стояла ясная и в кармане бывало немного денег, они садились на лошадей, приторачивали седельные сумки и отправлялись в дальний путь, за пределы своей долины. Когда наступал вечер, они останавливались на первой попавшейся ферме или в деревушке, а наутро ехали дальше — без определенной цели, лишь бы ехать; и так день за днем, пока не кончались деньги, — тогда они поворачивали обратно. Поездки эти продолжались неделю, десять дней, иногда две недели, а однажды они проездили целых три. Они даже мечтали о том, чтобы в будущем, когда они разбогатеют до неприличия, проехать верхом в Восточный Орегон и посетить родину Харниша, а по дороге остановиться в округе Сискийу, на родине Дид. Предвкушая радости этого заманчивого приключения, они сто раз пережили в мечтах все его увлекательные подробности.

Однажды, когда они заехали на почту в Глен Эллен, чтобы отправить письмо, их окликнул кузнец.

— Послушайте, Харниш, — сказал он. — Вам кланялся один паренек по фамилии Слоссон. Он проехал на машине в Санта-Роса. Спрашивал, не живете ли вы здесь поблизости, но остальные ребята не хотели задерживаться. Так вот, он велел передать вам поклон и сказать, что он послушался вашего совета и ставит рекорд за рекордом.

Харниш уже давно рассказал Дид о своем состязании в баре отеля Парфенон.

— Слоссон? — повторил он. — Слоссон? Так это, должно быть, метатель молота. Он, мерзавец, дважды прижал мою руку. — Вдруг он повернулся к Дид. — Знаешь что? До Санта-Роса всего двенадцать миль, и лошади не устали.

Дид тотчас догадалась, что он задумал: об этом достаточно красноречиво говорили задорный огонек, блеснувший в его глазах, и мальчишеская смущенная усмешка. Она с улыбкой кивнула головой.

— Поедем прямиком через долину Беннет, — сказал он. — Так будет ближе.

Найти Слоссона в Санта-Роса оказалось нетрудно.

Вся компания остановилась в отеле Оберлин, и в конторе отеля Харниш столкнулся лицом к лицу с молодым чемпионом.

— Ну вот, сынок, — объявил Харниш, как только он познакомил Слоссона с Дид, — я приехал, чтобы еще раз потягаться с вами. Тут место подходящее.

Слоссон улыбнулся и принял вызов. Они стали друг против друга, оперлись локтями на конторку портье и переплели пальцы. Рука Слоссона мгновенно опустилась.

— Вы первый, кому это удалось, — сказал он. — Давайте еще раз попробуем.

— Пожалуйста, — ответил Харниш. — И не забывайте, что вы первый, кому удалось прижать мою руку. Вот почему я и пустился за вами вдогонку.

Опять они переплели пальцы, и опять рука Слоссона опустилась. Это был широкоплечий, крепкий молодой человек, на полголовы выше Харниша; он не скрывал своего огорчения и предложил померяться в третий раз. Он собрал все свои силы, и на одно мгновение исход борьбы казался гадательным. Побагровев от натуги, стиснув зубы, Слоссон сопротивлялся яростно, до хруста в костях, но Харниш все же одолел его. Долго задерживаемое дыхание с шумом вырвалось из груди Слоссона, мышцы ослабли, и рука бессильно опустилась.

— Нет, с вами мне не сладить, — сознался он. — Одна надежда, что вы не вздумаете заниматься метанием молота.

Харниш засмеялся и покачал головой.

— Мы можем договориться — каждый останется при своем деле: вы держитесь метания молота, а я буду прижимать руки.

Но Слоссон не хотел признавать окончательного поражения.

— Послушайте! — крикнул он, когда Харниш и Дид, уже сидя в седле, готовились тронуться в путь. — Вы разрешите мне заехать к вам через год? Я хотел бы еще раз сразиться с вами.

— Милости просим, сынок. В любое время я к вашим услугам. Но предупреждаю, придется вам малость потренироваться. Имейте в виду, что я теперь и пашу, и дрова колю, и лошадей объезжаю.

На обратном пути Дид то и дело слышала счастливый смех Харниша, который, словно мальчишка, радовался своей победе. Когда же они выбрались из долины Беннет и осадили лошадей на гребне горы, чтобы полюбоваться закатом, он подъехал вплотную к жене и обнял ее за талию.

— А все ты, маленькая женщина, — сказал он. — Ну скажи сама, разве не стоит отдать все богатство мира за такую руку, когда она обнимает такую жену!

Сколько бы радости ни приносила Харнишу его новая жизнь, самой большой радостью оставалась Дид. Как он неоднократно объяснял ей, он всю жизнь страшился любви. И что ж? Оказалось, что именно любовь — величайшее благо на земле. Харниш и Дид, казалось, были созданы друг для друга; поселившись на ранчо, они избрали наилучшую почву, где любовь их могла расцвести пышным цветом. Несмотря на склонность Дид к чтению и к музыке, она любила все здоровое, естественное и простое, а Харниш самой природой был предназначен для жизни под открытым небом.

Ничто в Дид так не пленяло Харниша, как ее руки — умелые руки, которые с такой быстротой стенографировали и печатали на машинке; руки, которые могли удержать могучего Боба, виртуозно порхать по клавишам, уверенно справляться с домашней работой; руки, которые становились чудом из чудес, когда они ласкали его и ерошили ему волосы. Но Харниш отнюдь не был рабом своей жены. Он жил независимой мужской жизнью, так же как она жила своей жизнью женщины. Каждый делал свое дело самостоятельно. Взаимное уважение и горячее сочувствие Друг к другу переплетало и связывало воедино все их труды. Он с таким же вниманием относился к ее стряпне и к ее музыке, с каким она следила за его огородничеством. И Харниш, твердо решивший, что он не надорвется на работе, заботился о том, чтобы и Дид избегла этой участи.

Так, например, он строго-настрого запретил ей обременять себя приемом гостей. А гости у них бывали довольно часто, особенно в жаркую летнюю пору; по большей части приезжали ее городские друзья, и жили они в палатках, сами убирали их и сами готовили для себя еду. Вероятно, такой порядок был возможен только в Калифорнии, где все приучены к лагерной жизни. Но Харниш и слышать не хотел о том, чтобы его жена превратилась в кухарку, горничную и официантку только потому, что у нее нет штата прислуги. Впрочем, Харниш не возражал против общих ужинов в просторной гостиной, во время которых Дид пускала в ход сверкающую медную жаровню, а он каждому из гостей поручал какую-нибудь работу и неуклонно следил за ее выполнением. Для единичных гостей, остающихся только на одну ночь, правила были другие. Исключение делалось и для брата Дид, который вернулся из Германии и уже опять ездил верхом. Во время каникул он жил у них на правах третьего члена семьи, и в его обязанности входила топка камина, уборка и мытье посуды.

Харниш постоянно думал о том, как бы облегчить Дид работу, и ее брат посоветовал использовать воду, которая на ранчо имелась в избытке и пропадала зря. Пришлось Харнишу объездить несколько лишних лошадей, чтобы добыть деньги на необходимый материал, а его шурину потратить трехнедельные каникулы — и вдвоем они соорудили водяное колесо. Сначала колесо только приводило в движение пилу, токарный станок и точило, потом Харниш присоединил к нему маслобойку; но самое большое торжество наступило в тот день, когда он, обняв Дид, повел ее к колесу и показал соединенную с ним стиральную машину, которая в самом деле работала и в самом деле стирала белье.

Дид и Фергюсон ценой долгой и терпеливой борьбы мало-помалу привили Харнишу вкус к поэзии, и теперь нередко случалось, что, небрежно сидя в седле, шагом спускаясь по лесистым тропам, испещренным солнечными бликами, он вслух читал наизусть «Томлинсона» Киплинга или, оттачивая топор, под жужжание наждачного колеса распевал «Песню о мече» Хенли. Однако обоим наставникам так и не удалось окончательно обратить его в свою веру. Поэзия Браунинга, кроме стихов «Фра Филиппе Липпи» и «Калибан и Сетебос», ничего не говорила ему, а Джордж Мередит просто приводил его в отчаяние. Зато он по собственному почину выучился играть на скрипке и упражнялся с таким усердием, что в короткий срок добился больших успехов; много счастливых вечеров провел он с Дид, разыгрывая с ней дуэты.

Итак, успех во всем сопутствовал этой удачно подобранной супружеской чете. Скуки они не знали. Каждое утро начинался новый чудесный день, каждый вечер наступали тихие прохладные сумерки; и неизменно тысяча забот осаждала его, и эти заботы она делила с ним. Яснее прежнего он понял, насколько все на свете относительно. В новой игре, затеянной им, маленькие радости и огорчения волновали и радовали его с не меньшей силой, чем перипетии чудовищно азартной игры, которую он вел прежде, когда обладал могуществом и властью и полконтинента сотрясалось от его убийственных ударов. Сломить сопротивление непокорного жеребца, твердой волей и твердой рукой, рискуя жизнью или увечьем, заставить его служить человеку — Харнишу казалось не менее блестящей победой. А главное — карточный стол, за

которым велась эта новая игра, был чистый. Ни лжи, ни обмана, ни лицемерия. Та, прежняя, игра утверждала грязь, разложение и смерть, эта — чистоту, здоровье и жизнь. И Харниш не имел других желаний, кроме как вместе с Дид следить за сменой дней и времен года из своего домика на краю глубокого ущелья; скакать по горам ясным морозным угрюм или в палящий летний зной или укрыться в большой, уютной гостиной, где ярко горели дрова в сложенном его руками камине, меж тем как снаружи весь мир содрогался и стонал от юго-восточного ветра.

Только однажды Дид спросила его, не жалеет ли он о прошлом, и в ответ он схватил ее в объятия и прижался губами к ее губам. Минуту спустя он пояснил свой ответ словами:

— Маленькая женщина, хоть я и отдал ради тебя тридцать миллионов, так дешево я еще не покупал ничего, в чем имел бы такую крайнюю нужду.

— Немного погодя он прибавил: — Да, об одном я жалею, и как еще жалею! Чего бы я ни дал, чтобы сызнова добиваться твоей любви! Хотелось бы мне порыскать по Пиедмонтским горам, надеясь встретить тебя. Хотелось бы мне в первый раз увидеть твою комнату в Беркли. И — что уж говорить

— я до смерти жалею, что не могу еще разок обнять тебя, как в тот день, когда ты под дождем и ветром плакала у меня на груди.

Глава двадцать седьмая

Но настал такой год, когда в апрельский день Дид сидела в кресле на веранде и шила какие-то — очень маленькие предметы одежды, а Харниш читал ей вслух. Время было за полдень, и солнце ярко светило на зазеленевший по-весеннему мир. По оросительным канавкам огорода струйками текла вода, и Харниш иногда откладывал книгу, сбегал со ступенек и передвигал шланг. Кроме того, чтобы подразнить Дид, он проявлял повышенный интерес к тому, что она шила, на что она отвечала счастливой улыбкой; но когда его нежные шутки становились слишком нескромными, она краснела от смущения или чуть обиженно надувала губы.

С веранды им хорошо был виден окружающий мир.

Перед ними изогнутая, точно турецкая сабля, лежала Лунная долина с разбросанными по ней фермерскими домами, с пастбищами, полями и виноградниками. Долину замыкал горный кряж, где Харнишу и Дид знакома была каждая складка и каждый выступ; белые отвалы заброшенной шахты, на которые падали отвесные солнечные лучи, сверкали, точно алмазы. На переднем плане этой картины, в загоне возле сарая, Маб с трогательной заботой следила за жеребенком, который, пошатываясь на дрожащих ногах, терся около нее В мерцающем от зноя воздухе разливалась дремотная лень. С лесистого косогора позади дома доносился крик перепелок, сзывающих птенцов. Тихо ворковали голуби, а из зеленых недр каньона поднимался горестный стон дикой горлицы. Куры, расхаживающие перед крыльцом, внезапно закудахтали и бросились врассыпную, а по земле скользнула тень ястреба, высоко парившего в небе.

Быть может, именно это пробудило в Волке давние охотничьи воспоминания, — как бы то ни было, но Харниш и Дид заметили, что в загоне поднялось какое-то волнение: там заново разыгрывалась ныне безобидная, а некогда кровавая сцена из древней, как мир, трагедии. Припав к земле, вытянув морду, молча и бесшумно, словно призрак, собака, как будто забыв, что она приручена человеком, выслеживала соблазнительную дичь — жеребенка, которого Маб столь недавно произвела на свет. И кобыла, тоже во власти первобытного инстинкта, вся дрожа от страха и тревоги, кружила между своим детенышем и грозным хищником, во все времена нагонявшим ужас на ее предков. Один раз она повернулась, чтобы лягнуть Волка, но

больше старалась ударить его передней ногой или наскакивала на него, прижав уши и оскалив зубы, в надежде перегрызть ему хребет. А Волк, повесив уши и еще больше припадая к земле, отползал прочь, но тут же, сделав круг, подбирался к добыче с другой стороны, и кобыла опять начинала волноваться. Наконец Харниш, по просьбе Дид, прикрикнул на собаку; услышав низкий, угрожающий голос, она тотчас покорно отказалась от охоты и с виноватым видом ушла за сарай.

Несколько минут спустя Харниш, прервав чтение, чтобы передвинуть шланг, обнаружил, что вода перестала течь. Он достал из мастерской молоток и гаечный ключ и, вскинув на плечо кирку и заступ, вернулся к веранде.

— Придется мне сойти вниз и откопать трубу, — сказал он Дид. — Всю зиму я боялся оползня. Видно, трубу завалило.

— Только, смотри, не читай дальше без меня, — крикнул он, уходя, и, обогнув дом, начал спускаться по тропинке, которая вела на дно каньона.

На полпути Харниш увидел оползень. Он был невелик — всего-то несколько тонн земли и раскрошенного камня. Но они двинулись с высоты пятидесяти футов, и трубопровод, не выдержав тяжести, разошелся на стыке. Прежде чем приступить к работе, Харниш посмотрел вверх, на путь, проделанный оползнем, посмотрел наметанным глазом рудокопа. И вдруг взгляд его остановился, зрачки расширились.

— Вот те на! — сказал он вслух.

Он водил взглядом по неровной поверхности крутого склона, сначала вдоль, потом поперек. В этом месте, если не считать травы и сорняков, да редких искривленных деревцев мансаниты, склон каньона был голый. Харниш заметил признаки частого перемещения почвы, вызванного тем, что сильные ливни смывали выветренную почву через край ущелья.

— Самая заправская жила, лучше не бывает, — объявил он вполголоса.

И как час назад в Волке проснулся древний охотничий инстинкт, так и в Харнише с новой силой ожил страстный охотник за золотом. Бросив ключ и молоток, он с киркой и лопатой вскарабкался по оползню к тому месту, где виднелся смутно очерченный, прикрытый землей выход коренной породы. Он был едва заметен, но опыт Харниша подсказал ему, что скрывается под слоем земли. Он принялся то здесь, то там пробивать киркой крошившийся камень и отваливать лопатой мешавшую ему землю. Несколько раз он брал породу в руки и разглядывал ее. Попадались куски такие мягкие, что он легко разламывал их пальцами. Он поднялся выше футов на десять и опять заработал киркой и лопатой. И на этот раз, очистив кусок породы и присмотревшись к нему, он вдруг выпрямился и судорожно перевел дыхание. Потом, словно олень у водопоя, опасающийся врагов, он быстро глянул вокруг — не видит ли его посторонний глаз. Посмеиваясь над собственной глупостью, он снова принялся рассматривать кусок породы. Косой луч солнца упал на него, и он весь засверкал крупицами чистого золота.

— Под самым верховиком, — с благоговейным трепетом пробормотал Харниш, вгоняя кирку в податливую почву.

Он весь преобразился. Никогда, сколько бы он ни выпил коктейлей, у него так не пылали щеки, не горели глаза. Давняя страсть золотоискательства, которой он подчинялся столько лет своей жизни, опять овладела им. Лихорадочное возбуждение усиливалось с каждой минутой. Он работал, как одержимый, задыхаясь от усталости; пот ручьями стекал с его лица и капал на землю. Он исследовал поверхность оползня от одного края до другого и стал возвращаться

обратно. Дойдя до середины, он начал спускаться, вскапывая красную вулканическую почву, намытую сверху, с выветрившегося склона, и обнаружил кварц, кварц с золотыми прожилками, который крошился у него под руками.

Иногда кучи земли сползали сверху и засыпали вырытые им ямы, и тогда он начинал копать сызнова. Один раз, не удержавшись на ногах, он скатился вниз на пятьдесят футов, но тут же вскочил и опять полез наверх, даже не передохнув. Он наткнулся на пласт, где кварц оказался податливым, почти как глина, и здесь золота было особенно много. Подлинная сокровищница! Харниш проследил жилу на сто футов вверх и вниз от оползня. Он даже вскарабкался на край каньона, чтобы поглядеть, нет ли там выхода месторождения. Но это после, после, — и опять кинулся к своей находке.

Он работал все так же исступленно, до полного изнеможения, пока нестерпимая боль в спине не заставила его остановиться. Он выпрямился, держа в руке поблескивающий золотом кусок кварца. Когда он работал согнувшись, пот капал с его лба на землю, теперь он заливал ему глаза. Харниш вытер лицо рукой и опять принялся разглядывать найденное им золото. Никаких сомнений — тридцать тысяч долларов на тонну, пятьдесят тысяч, — нет, больше, гораздо больше! Тяжело переводя дух, смахивая капли пота с ресниц, он, как зачарованный, смотрел на желтый металл, и в его воображении мгновенно возникла заманчивая картина. Он уже видел подъездные пути, проложенные по долине и нагорным пастбищам, насыпи, мост через каньон, — видел так ясно, словно они были у него перед глазами. Промывочную он поставит по ту сторону каньона, — и вот уже бесконечная цепь ковшей, подвешенных к канату, переправляет кварцевую руду через каньон и доставляет ее в толчею. А здесь уже вырос весь рудник — наземные строения, шахты, штольни, забои, подъемные машины; слышится грохот взрывов, а из-за каньона доносится оглушительный стук пестов. Рука Харниша, сжимавшая кусок кварца, задрожала, он ощутил судорожное подергивание и сосущую пустоту под ложечкой — и вдруг понял, что ему смертельно хочется выпить — виски, коктейль, все равно что, лишь бы выпить. И в ту же минуту, когда в нем проснулось неудержимое желание одурманить себя, до него сверху, сквозь зеленую чащу каньона, донесся далекий, едва уловимый голос Дид:

— Цып, цып, цып, цып, цып! Цып, цып, цып! Как? Уже? Сколько же прошло времени? Значит, она уже не шьет на веранде, она кормит кур и сейчас будет готовить ужин. День кончался. Неужели он пробыл здесь так долго?

Снова послышался ее голос:

— Цып, цып, цып, цып, цып! Цып, цып, цып! Так она всегда сзывала кур — сначала пять раз, потом три раза. Он давно это приметил. Харниш улыбнулся, думая о жене, но улыбка медленно сползла с его лица, и оно исказилось от страха. Он почувствовал, что чуть не потерял Дид. Ни разу не вспомнил он о ней в долгие часы лихорадочных поисков; все это время она поистине была потеряна для него.

Он выронил кусок кварца, спустился с оползня и кинулся бежать вверх по тропинке. Выйдя на опушку, он замедлил шаг и почти ползком, крадучись, подобрался к большому дереву и посмотрел из-за него в сторону дома. Дид пригоршнями бросала курам зерно и весело смеялась, глядя на их суматошную возню.

Чем дольше Харниш смотрел на жену, тем спокойнее становилось его лицо; он повернулся и сбежал вниз по тропинке. Опять он вскарабкался на оползень, но на этот раз он поднялся выше; и опять он, как одержимый, работал киркой и лопатой, но цель у него была другая. Он слой за слоем подкапывал красноватую землю и сбрасывал ее вниз, тщательно засыпая

разрытые места, пряча от дневного света найденное им богатство. Он даже пошел в лесную чащу, набрал охапку прошлогодних листьев и раскидал их. Но он скоро бросил эту затею и все сыпал и сыпал землю, пока от выступающих краев жилы не осталось и следа.

Потом он починил трубу, собрал свои инструменты и стал подыматься по тропинке. Он шел медленно, чувствуя бесконечную усталость, как человек, избежавший страшной опасности. Он убрал инструменты, напился воды из починенного водопровода и сел на скамью перед открытой дверью в кухню. Там хозяйничала Дид, и он с огромным облегчением прислушивался к ее шагам. Он жадно глотал душистый горный воздух, словно водолаз, только что поднявшийся со дна морского. Он впивался взглядом в облака, в синеву неба, в зелень долины, как будто все это он вдыхал вместе с воздухом.

Дид не знала, что он вернулся, и время от времени он поворачивал голову и украдкой взглядывал на нее — на ее умелые руки, на отливающие бронзой каштановые волосы, в которых вспыхивали огоньки, когда на них из открытого окна падал солнечный луч; он видел ее отяжелевшую фигуру будущей матери, — и сердце сжималось у него от не испытанной доселе сладостной боли и нежности. Он услышал ее шаги у самой двери, но не оглянулся и упорно продолжал смотреть на долину. Дид подошла к нему, и он затрепетал от счастья, как всегда, когда она ласково ерошила ему волосы.

— А я и не заметила, как ты пришел, — сказала она. — Ну что, серьезное повреждение?

— Да, довольно сильный оползень, — ответил он, все еще не поворачивая головы. — Хуже, чем я ожидал. Но я уже придумал. Знаешь, что я сделаю? Я посажу там эвкалипты. Они будут держать его. Я так густо посажу их, что даже голодный заяц не продерется. А когда они пустят корни, никакая сила не сдвинет эту землю с места.

— Неужели это так опасно?

— Да нет, не очень. — Он помотал головой. — Но я не желаю, чтобы какой-то несчастный оползень издевался надо мной, вот и все. Я так припечатаю его, что он миллион лет не тронется с места. И когда в последний раз затрубит труба и гора Сонома и все другие горы рассыплются прахом, этот оползень никуда не денется, так и будет держаться за корни.

Он обнял Дид и посадил ее к себе на колени.

— Скажи, маленькая женщина, ты, наверно, скучаешь в нашей глуши? Ни театра, ни концертов, ничего такого. Тебе никогда не приходит на ум, что хорошо бы все это бросить и вернуться в город?

Он с такой тревогой ждал ее ответа, что боялся смотреть ей в глаза; но она только засмеялась и покачала головой, и у него отлегло от сердца. И еще он с радостью подумал о том, что смех ее по-прежнему звучит молодо и по-мальчишески задорно.

— Слушай! — заговорил он с внезапной горячностью. — И близко не подходи к оползню, пока я не засажу его деревьями и они не пустят корни. Это очень, очень опасно, а я и подумать не могу, чтобы теперь потерять тебя.

Он притянул к себе ее голову и поцеловал в губы долгим, страстным поцелуем.

— Как ты меня любишь! — шепнула она с гордостью за него и за себя.

— Взгляни-ка, Дид. — Он выпустил ее из объятий и широким взмахом руки обвел долину и

окрестные горы. — Лунная долина — это хорошее название, очень хорошее. Знаешь, когда я вижу все это и думаю о тебе и о том, как все это мне дорого, у меня комок подступает к горлу и в душе такое творится, что я не умею сказать словами, и я начинаю понимать Браунинга и всех твоих замысловатых поэтов. Посмотри на гору Худ — видишь, где солнце светит на нее? Вот в этом самом месте мы нашли ключ.

— Да, и в тот вечер ты подоил коров только в десять часов, — сказала она, смеясь. — И если ты сейчас не отпустишь меня, то мы и сегодня будем ужинать не раньше, чем тогда.

Они встали со скамьи, и Харниш снял ведерко с гвоздя возле, двери. Он еще помедлил немного, любуясь красотой долины.

— Хорошо! — сказал он. — Ничего не скажешь.

— Ничего не скажешь! — повторила она и повернулась к двери, радостно улыбаясь ему, и своим мыслям, и всему миру.

И Харниш, как тот старик, который однажды повстречался ему, стал спускаться под гору в лучах пламенеющего заката, держа в руке ведерко для молока.

Спасибо, что читаете вместе с «Азбукой веры».

Другие материалы раздела – azbyka.ru/fiction

Поддержать портал – azbyka.ru/kak-pomoch